

4/1501  
B 15



**ХУАН ВАЛЕРА  
ИЛЛЮЗИИ  
ДОКТОРА  
ФАУСТИНО**

504008

И (исп)  
В 15

JUAN VALERA  
LAS ILUSIONES DEL DOCTOR  
FAUSTINO

Вступительная статья  
и примечания  
Н. Зюковой

Художник  
М. Майофис

7-3-4  
170-70

## ХУАН ВАЛЕРА И ЕГО РОМАН «ИЛЛЮЗИИ ДОКТОРА ФАУСТИНО»

«Это письмо Вам передаст Хуан Валера — советник испанского посольства, — писал Проспер Мериме своему другу, известному русскому литератору и библиофилу Сергею Соболевскому. — Он поэт и человек большого ума».

Испанский дипломат Хуан Валера (1824—1905), с которым Соболевский встретился в Петербурге осенью 1856 года, был писателем, философом, знатоком мировой литературы. Хуан Валера провел в России полгода. Его «Русские впечатления» изложены в письмах, которые он посылал в Мадрид своему приятелю дону Леопольду Куэто и которые были впоследствии опубликованы. Валера родился в Андалусии — на юге Испании, — в Россию воспринял как страну экзотическую. Его поразила и особенный свет русской зимы, «непохожий ни на свет солнца, ни на свет луны», и архитектура московского Кремля, которая напомнила ему мавританские дворцы Гранады, и многое другое.

По роду своих занятий Хуан Валера должен был часто бывать при дворе, и круг его знакомых, естественно, был ограничен. «Придворное общество, — замечает писатель в одном из писем, — везде одинаково». Недостаток непосредственных впечатлений компенсировался любознательностью ученого. В письмах Хуана Валеры из России можно найти не только последние дипломатические новости и юмористические зарисовки петербургского быта, но и целые научные трактаты, например — обзор развития русской литературы от летописей до Пушкина и Гоголя, историю раскольниковства в России, описание художественных коллекций Эрмитажа или испанских рукописей, хранившихся в Румянцевском музее.

Стиль писем из России в какой-то мере отражает общий характер творчества и литературные интересы Хуана Валеры в 50-е годы. В те годы испанские читатели почти не знали Валеру-беллетриста и очень хорошо знали Валеру — автора многочисленных рецензий на спектакли мадридских театров и статей о поэзии романтизма в Испании, о бразильской литературе.

Основательная общая культура, прекрасное знание античности и эпохи Возрождения, многочисленные путешествия воспитали

у Хуана Валеры широту взглядов и оценок. Как дипломат он много лет провел за границей, жил в Неаполе, Париже, Вашингтоне и Рио-де-Жанейро и, естественно, не мог не понимать важности связей между культурами разных народов.

Для испанского писателя середины XIX века эти качества имели совершенно особое значение.

В истории испанской литературы 50-е годы XIX века были временем становления жанра реалистического романа.

Реалистической прозе XIX века в Испании предшествовала региональная проза: повести и романы из жизни *бискайских* крестьян, рыбаков *Сантандера*, *андалусийских* торреро заполнили книжный рынок. Региональный роман (в Испании его называют «*костумбристским*», от испанского *costumbres* — нравы, обычаи) дал несколько крупных имен, но в целом оставался на уровне простого бытописательства. Необходимость пойти по пути более глубоких художественных обобщений была очевидной для многих испанских писателей. И когда в начале 70-х годов Хуан Валера обращается к художественной прозе, его романы, несмотря на то, что действие их всегда происходит в Андалусии, оказываются гораздо шире и многостороннее, чем произведения, принадлежащие авторам-костумбристам.

Создание романов стало для Хуана Валеры закономерным продолжением его прежней деятельности критика и публициста. К своему литературному творчеству он относился прежде всего как просветитель, заинтересованный в духовном воспитании читателя. «Романы более других литературных жанров влияют на образ мысли нации и ее мироощущение», — писал Хуан Валера в 1885 году в «Заметках о новом искусстве сочинять романы».

В 1874 году был опубликован первый роман Х. Валеры «Пепита Хименес», а затем выходят в свет «Иллюзии доктора Фаустино» (1875), «Командор Мендоса» (1877), «Донья Лус» (1879), «Хуанита Длинная» (1896), «Морсамор» (1899) и другие.

Драматические истории, которые происходят с персонажами Хуана Валеры, меньше всего могут быть объяснены местными нравами. Конфликты в этих романах возникают даже не в результате столкновения характеров, а в результате столкновения разных типов мировоззрения. Таким образом, Хуан Валера преодолевает костумбризм ради обобщения самого высокого типа — философского обобщения.

Философские позиции Хуана Валеры сближают его с испанскими гуманистами эпохи Возрождения. В политике Валера — оптимистически настроенный либерал старой школы, твердо убежденный в том, что общество эволюционирует по пути прогресса, в искусстве он — поклонник прекрасного. «Я люблю прекрасное», — не устает повторять



Хуан Валера в своих критических статьях и философских сочинениях, именно поэтому его раздражает поэзия испанских романтиков, их меланхолия и преувеличенные страсти, и по этой же причине уже в конце 80-х годов он вступил в спор с теми испанскими писателями, которые пытались пропагандировать в Испании принципы натуралистической школы Эмиля Золя.

Хуан Валера понимает прекрасное так, как понимали его мыслители эпохи Ренессанса, для которых прекрасное всегда было гармоническим сочетанием телесного и духовного начал. Это определяет содержание многих романов писателя.

Первый из них — «Пепита Хименес» — рассказывает поучительную историю о том, «как мистик превратился в не мистика». Дон Луис Вартас собирался стать священником, но влюбился в красавицу Пепиту Хименес и женился на ней. Отказ от служения церкви в представлении Валеры не является грехопадением, он только означает замену одного идеала другим. Дон Луис считал, что прекрасное заключается в аскетическом служении богу, оказалось, что оно заключается в служении любви и любимой. Может быть, этот идеал не столь совершенен, рассуждает Хуан Валера, зато он больше соответствует характеру дона Луиса и его наклонностям.

Моральный урок, который Валера хочет преподнести читателю, — это не только отрицание аскетизма, как принято считать, но и отрицание теории «врожденных идей», априорного знания. Человек познает окружающее и самого себя только в результате определенного жизненного опыта. Только собственным опытом можно проверить истинность идеала.

«Знание ложно, если оно не проверено практикой» — эту идею Хуан Валера утверждает и в своем следующем романе «Иллюзии доктора Фаустино» («Las ilusiones del doctor Faustino»). Этот роман совсем не похож на другие произведения Валеры 70-х годов. И «Командор Мендоса» и «Донья Лус» принадлежат к жанру семейного романа и развивают поставленную в «Пепите Хименес» проблему трагического столкновения религиозного аскетизма и естественных человеческих чувств. «Иллюзии доктора Фаустино» — не семейный роман, его художественный строй гораздо сложнее. Этого не поняли и многие современники Хуана Валеры, и некоторые позднейшие исследователи его творчества, которые нашли, что роман этот «длинный, странный и неправдоподобный». Но ведь автор мог и не стремиться к поверхностному правдоподобию, он хотел написать роман философского плана, в котором нашли бы отражение некоторые проблемы, истолкованные ранее писателями других стран.

Уже само название романа о многом говорило образованному испанскому читателю. Оно напоминало об «утраченных иллюзиях» в книгах Бальзака и Флобера и о легендарном докторе Фаусте.

В послесловии автор сообщал читателям, что их догадки совсем не лишены смысла: роман был задуман как еще один испанский вариант «истории молодого человека XIX века», а его главный герой — как испанская равновидность универсального типа доктора Фауста. Надо сказать, что дон Хуан Валера хорошо знал Гёте, перевел на испанский язык несколько сцен из его знаменитой трагедии, и стилизация «под Фауста» не представляла для него никаких трудностей. «Доктор Фаустино, — пишет Валера, — персонаж, имеющий символический и аллегорический смысл. Как личность он представляет все современное поколение: это доктор Фауст в миниатюре, но без магии, без дьявола и без прочих сверхъестественных сил, к помощи которых прибегает гётевский Фауст». Таково философское содержание образа главного героя романа: он — средний, «естественный» человек, который ищет свой путь среди многочисленных объяснений мира, предлагаемых старыми и новыми философами. Но книгу Хуана Валеры нельзя безоговорочно отнести к произведениям философского жанра. Это роман философский и роман социальный одновременно. Доктор Фаустино — это не только философский символ, но обобщенный характер испанского аристократа второй половины XIX века, и направление его философских поисков во многом определяется его происхождением, а не чем-нибудь другим.

Дон Фаустино Лопес де Мендоса принадлежит к старинному дворянскому роду. Среди его предков есть христианские рыцари, освобождавшие в свое время Андалусию от мавров, есть фроньеры и безбожники. Старый замок Лопесов де Мендоса хранит память об экстравагантных браках прежних владельцев, легенды о привидениях и спрятанных сокровищах. Но все это уже в прошлом. Традиционные титулы «потомственного коменданта крепости Вильябермеха», «командора ордена Сантьяго», унаследованные доном Фаустино от отца, лишены всякого смысла. Местные жители, которые дали доктору прозвище «достопадный пролетарий», были гораздо ближе к истине.

История аристократического дома Лопесов де Мендоса — свидетельство агонии испанского дворянства. Этот надолго затянувшийся процесс начался еще в XVI веке. Дон Кихот был нищим идалго. Дон Фаустино стал нищим кабальеро. «Церковь, флот и королевская служба» были доступны дворянству во времена Сервантеса, возможности дона Фаустино еще более ограничены. В XIX веке традиционная этика позволяет аристократу посвятить себя только литературе, философии или праву. Аристократическое происхождение и воспитание определяют тот круг априорных идей, с которыми дон Фаустино начинает свой жизненный путь и которые автор романа называет иллюзиями. «Его душой, — пишет Хуан Валера, — владеет тщеславие ученого, честолюбие политика, кичливость ари-

стократа». Иными словами говоря, «иллюзии» доктора Фаустино — это ни на чем не основанная уверенность испанского аристократа в том, что дворянское происхождение само по себе дает ему право рассчитывать на высокое положение в обществе.

Социальная мотивировка поведения главного героя присутствует в романе, но не занимает в нем центрального места. Гораздо больше писателя интересует психология доктора Фаустино и вопрос о том, почему ему так долго удавалось сохранить свои совершенно беспочвенные идеи. Оказалось, что дон Фаустино был человеком сентиментальным, человеком с чрезмерно развитым воображением и порывами к идеальному. Такое мироощущение в XIX веке называли романтическим, и сам Хуан Валера еще в 50-е годы набросал в одной из своих критических статей юмористический портрет поэта-романтика. «...Его жизнь, — утверждает писатель, — всегда необычна... Весь мир должен смотреть на него как на апостола, который пришел на землю с особой миссией. Но чернь этого не понимает, и поэт несчастлив... В любви романтик стремится к идеальному совершенству, которое никогда не встречается на этой грешной земле, но при этом безумно любит какую-нибудь женщину, потом разочаровывается в ней и оплакивает свои утраченные иллюзии...» В авторской характеристике доктора Фаустино много общего с этим пародийным портретом. Романтическое мироощущение, в то время очень распространенное среди испанской молодежи, раздражало Хуана Валеру по разным причинам. Во-первых, оно нарушало его представление о гармонической личности, во-вторых, оно, по глубокому убеждению писателя, задерживало развитие испанской нации.

Итак, дон Фаустино — Фауст романтического склада, и, как романтик, он прежде всего стремится к идеальной любви. «Доктор любил некий идеал, — говорится в романе, — хотя и не был уверен, что этот идеал существует. Он вообще ни в чем не был уверен». Рассуждения героя о любви заполняют многие страницы романа, и нетрудно заметить, что «истинная любовь» в представлении Фаустино не просто эмоция, а особая категория мировоззрения. «Что бы я ни сделал ради того, что достойно любви, — думает Фаустино. — Если бы я верил, что родина, народ, нация, частью которой я являюсь, достойны моей любви, какие героические подвиги я совершил бы для еще большего их возвеличения». За «истинную страстную любовь» Фаустино готов продать душу дьяволу.

В таком отношении героя к любви соединились отголоски рыцарских нравов, учение испанских мистиков о божественной любви и ренессансная философия неоплатонизма. Развивая мысль Платона о том, что «через эротическое знание человек приходит к постижению прекрасного» («Пир»), испанский философ-неоплатоник Леон Эбрео, автор «Диалогов о любви» (1502), создал особую науку

филографию («любвеописание»), в которой любовь отождествляется с истинной и добром и служит основой мироздания. «Любовь — причина существования мира и всего того, что есть в мире», — пишет Леон Эбрео.

Герой Валеры не раз испытывал чувство любви, но априорное представление об идеальном заставило его сравнивать реальность с идеалом, и это сравнение всегда было не в пользу реальности. Дон Фаустино понял, что любовь к Констансии была небескорыстной, потому что Констансия не только красива, но и богата, а любовь к Росите — чувственной и эгонстической, и решил продолжать свои поиски.

В своей философской и пародийной по отношению к романтизму книге Хуан Валера сделал то, чего никогда не допускала романтическая эстетика. Он дал возможность идеалу осуществиться. Доктор Фаустино встретил Марию — Вечную Подругу. Характер Марии очень точно соответствует стандарту романтической героини, она словно сошла со страниц легенд испанских поэтов-романтиков Бекера (1836—1870) и Хосе Соррилья (1817—1893). У Марии «высокая стройная фигура, лицо, полное скорби и печали», таинственное прошлое, способность любить страстно и бескорыстно и полная отрешенность от реального времени и пространства. «Я любила тебя вечно в тысячах меняющихся земных существований, ты душа моей души... я сущность твоей души», — говорит Мария. Воспитанный на романтической литературе, Фаустино не мог даже желать для себя лучшего идеала, и Вечная Подруга стала «его верой, его поэзией, квинтэссенцией его собственной души». К соединению с Марией Фаустино стремится на всем протяжении книги, союз с ней должен завершить духовное развитие героя. Мария придет к нему тогда, «когда очистится его душа, когда рассеются иллюзии, которые ослепляют и смущают Фаустино». Таким образом, брак с Марией отодвигается на неопределенное время, и жизнь подвергает доктора Фаустино разнообразным испытаниям. Одно из таких испытаний — встреча с благородным разбойником Хоселито Сухим. Хоселито Сухой — преступник-философ, который оправдывает преступление, ссылаясь на то, что общество вообще устроено несправедливо. Уроки Хоселито («порвите с прошлым, объявите всем беспощадную войну») — один из первых в испанской литературе откликов на известные теории о возможности преступления в гуманных целях и о правах «необыкновенной личности». Все эти вопросы долгое время обсуждались на страницах европейских газет и журналов. Отражение этих дебатов — в размышлениях Раскольникова в романе Достоевского, поучения Вотрена в бальзаковской «Человеческой комедии» и известный разговор двух студентов в романе

Бальзака «Отец Горсио»: «Ты читал Руссо?» — обращается Эжен де Растиньяк к своему приятелю Бьяншону.

«— Да.

— Помнишь то место, где он спрашивает, как бы его читатель поступил, если бы мог, не выезжая из Парижа, одним усилием воли убить в Китае какого-нибудь старого мандарина и благодаря этому сделаться богатым?

— Да.

— Слушай, если бы тебе доказали, что такая вещь вполне возможна, и тебе остается только кивнуть головой, ты кивнул бы?

— А твой мандарин очень стар? Хотя, стар он или молод, здоров или в параличе, говоря честно... нет, черт возьми...»

Разговор Растиньяка и Бьяншона имеет некоторую аналогию со спорами, которые происходят между Фаустино и Хоселито Сухим. Хуан Валера познакомил испанского читателя с тем, о чем спорили в Европе, и, так же как и Бальзак, поставил моральный принцип выше принципа пользы.

Процесс духовного развития дон Фаустино делится на две части: сначала созерцание и размышления, потом практическая деятельность — переезд в Мадрид, попытки осуществить честолюбивые планы, стать известным поэтом, сделать политическую карьеру. Практическая деятельность доказала полную несостоятельность «иллюзий» Фаустино, его априорных представлений о самом себе и своих способностях. В Мадриде герой романа лишился всякого романтического ореола, стал одним из тех бесчисленных неудачников, которые приезжают в столицу в поисках славы или денег, и жалкой игрушкой «тридцатилетней женщины» Констансии.

Дон Фаустино лишился иллюзий и получил за это награду. Он стал мужем Марии. В философском плане соединение с Вечной Другой можно рассматривать как идеальное состояние, что-то вроде вознесения в рай. В этом идеальном состоянии дон Фаустино, как и Фауст в трагедии Гёте, порывает с реальным временем. Но прозрения Фауста дают ему возможность проникнуть в будущее, а взгляд героя Хуана Валеры обращен в прошлое: он видит себя средневековым рыцарем, который воевал в Перу и влюбился в индейскую принцессу.

Идиллия доктора Фаустино продолжается недолго. Влечение к Констансии оказывается более сильным, чем любовь к Вечной Другой. Дон Фаустино понял, что он недостойн своего идеала, и покончил жизнь самоубийством. «Если я буду существовать как личность, как индивид, — размышляет дон Фаустино перед смертью, — то вместе со мной пребудет и мой эгоизм, который есть сущность моей личности».



Так развенчивается в романе романтическая концепция идеального героя и идеальной любви.

В сущности, роман «Иллюзии доктора Фаустино», как и многие другие «истории молодого человека XIX века», — это исследование главной болезни века — безволия и неумения действовать. Хуан Валера пытается обнаружить истоки этой болезни и находит их в романтическом мировоззрении, которое принимает игру воображения за реальность.

Дон Хуан Валера был оптимистом, поэтому история дона Фаустино выглядит в его романе как трагическое исключение, не нарушающее общей гармонии мира. Здоровый, гармонический характер олицетворяет в книге Хуан Фернандес из Вильябермехи, которого земляки прозвали доном Хуаном Свежим. Этот персонаж выступает в роли рассказчика во многих романах Валеры. В «Иллюзиях доктора Фаустино» он не только рассказчик, но и резонер. Хуан Свежий — андалусец и патриот своей земли, один из тех людей, что до старости сохранили здравый смысл, энергию, юмор, желание «увидеть мир». Точка зрения Хуана Свежего основывается на своеобразном «позитивистском» отношении к жизни, он верит только в то, что «подтверждено опытом и проверено наукой», и, следовательно, не одобряет необоснованных претензий Фаустино. Но «благословенная Андалусия» и люди, похожие на Хуана Свежего, сочетающие старинные добродетели и философскую мудрость, — это тоже только иллюзия, но уже не дон Фаустино, а самого дон Хуана Валеры.

Н. Зюкова



ИЛЛЮЗИИ  
ДОКТОРА  
ФАУСТИНО

## ВСТУПЛЕНИЕ,

В КОТОРОМ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ВИЛЬЯБЕРМЕХЕ, О ДОНЕ  
ХУАНЕ СВЕЖЕМ И ОБ ИЛЛЮЗИЯХ ВООБЩЕ

Мой старый приятель дон Мигель де лос Сантос Альварес, оптимист по складу ума и характера, трезвый наблюдатель и проницательный философ, не без остроумия утверждает, что люди, достигая старости, столько же теряют в одном, сколько приобретают в другом, и поэтому у них нет причин тревожиться и огорчаться.

«Обычно думают, — поясняет он свою мысль, — что старый человек лысеет из-за недостатка жизненных соков: дескать, волосы перестают питаться и выпадают. Однако наблюдения говорят о другом: именно в тот период, когда наступает облысение, у людей начинают расти волосы — к тому же крепкие, как щетина, — в носу и в ушах, а брови становятся такими густыми и кустистыми, что затеняют почти всю верхнюю часть лица. Эта закономерность особенно ясно проявляется у женщин. Поредение волос на голове компенсируется у них обильной растительностью на подбородке и над верхней губой, придавая им сходство с графиней Трифальди и с Освобожденной Святой. Первая из них, как известно, обросла бородой по умыслу злого волшебника, а вторая — по божественному промыслу, ибо борода помогла ей обмануть насильников и сохранить невинность. Во всех остальных случаях обрастание бородой не имеет столь веских причин и может быть отнесено к капризам природы».

Эти примеры показывают, что соки не исчезают из организма и не теряются: они только меняют циркуляцию. Во всем остальном — точно так же. В молодости я, например, более строго судил людей, чем теперь, когда я старею. Это и понятно: тогда я не успел еще совершить столько грехов, сколько у меня накопилось их нынче. Поэтому с эгоизмом молодости я сурово судил других и был снисходителен к себе. Теперь иначе: ворох собственных грехов сделал меня в тысячу раз снисходительнее

и терпимее к другим в надежде, что и другие будут платить мне тем же.

Я осуждал многое и среди прочего — страсть некоторых поэтов и писателей к воспеванию затворничества, умеренности, сельского уединения, привязанности к родным местам, порицая их стремление бежать светской суеты, желание вернуться к родным пенатам и тихо-мирно коротать там свою жизнь, пользуясь всеобщим уважением. Эти люди казались мне просто лицемерами, кем-то вроде ростовщика Альфио.

Меня повергали в бешенство стихи Мартинеса де ла Росы:

О Дарро, тихая река  
На золотистом ложе ила,  
Призывам внималась ли моим?  
Мне б даже смерть была легка,  
Когда бы знал — ты уловила  
Крик, вверенный брегам святым<sup>1</sup>,

«К чему все эти охи и вздохи? — думал я. — Не проще ли оставить посольство в Париже, освободить председательское кресло в совете министров, махнуть рукой на парламентскую карьеру, да и поехать к тенистым рощам Хенералифе и Сакро-Монте, укрыться в уединенной усадьбе и любоваться тихим Дарро и прозрачными струйками Фуэнте-дель-Авельяно?»

Значительно позже я понял, что Мартинес де ла Роса не напрасно вздыхал по своей Гранаде. В дальнейшем я заболел тем же недугом, если это можно назвать недугом. Признаюсь, мне давно уже хочется вернуться в родные места и зажить там *ut prisca gens mortalium*<sup>2</sup> — заняться хозяйством, пахать на волах отцовскую землю, как некогда это делал Цинциннат и другие знаменитые люди древности. Я всегда говорил, что готов многое отдать за эту самую тихую жизнь и уподобиться мудрецам древности, но, признаюсь, ровно ничего не делаю, чтобы осуществить свое желание, хотя зависит это только от меня самого.

Однако я понимаю, что это непросто сделать даже очень смелому и решительному человеку. Я искренно сочувствую тем, кто в городской сутолоке мечтает о деревен-

<sup>1</sup> Здесь и далее перевод стихов И. Смирнова.

<sup>2</sup> Как древний род человеческий (лат.).

ском покое; так посочувствуйте же и мне и поймите, сколь глубоко сидит в моей душе нежная привязанность к тихому, безвестному уголку земли, где мой отец растил виноград и пестовал фруктовые деревья, следя за тем, чтобы они возрастали, набирались сил и приносили обильные плоды.

Моя деревня находится в той же провинции и недалеко от того селения, где родились знакомые читателям Луис де Варгас и Пелита Хименес. Но речь теперь пойдет не о моей деревне, а о другой. Она тоже находится близко от нас, и я часто туда наезжаю, ибо есть там у меня немного земли, которая дает небольшой, но постоянный доход — примерно по полдуро в день. Эта деревушка еще меньше и еще беднее, чем моя, окрестности ее не так милы и приятны, хотя ее обитатели думают иначе и считают, что это едва ли не лучшее место на земле.

Селение, название которого я не хочу открывать до поры до времени, расположено на склоне голого холма и со всех сторон окружено горами. Даже забравшись на колокольню, вы ничего не увидите оттуда, кроме высоких гор. В окрестностях деревни почти нет садов, но соседние склоны покрыты виноградниками, оливковыми рощами, хлебными полями; в долине журчат ручьи, по берегам растут красивые тополя, и вся эта земля кажется ее трудолюбивым сыновьям плодородной, благословенной землей. Не умея объяснить, откуда берется такая щедрость, земледельцы приписывают ее благоволению святой троицы, трон которой будто бы находится прямо над их головами. Верят они и в святого покровителя деревушки, считая, что он ревностно и напористо посредничает за них перед богом и обеспечивает им благоденствие и процветание. Словом, и красота и богатства края — это, по их мнению, дары божьи и проявление его особой милости к обитателям здешних мест.

Фигура святого покровителя сделана из серебра и невелика ростом — не выше тридцати сантиметров. Но не все меряется на вершки и локти. Жители соседней деревни предложили однажды за эту малюсенькую фигурку — такие благочестивые сделки не редкость в наших местах — целый воз других святых разных размеров и рангов, и все же обмен не состоялся. Святой с лихвой оплатил эту любовь своих духовных сыновей. Потерпев неудачу с обменом и видя, что добром святого не заполучишь, соседи выкрали его ночью, но он обманул бдительность похитителей, покинул новое местожительство и уже на следующее утро



снова стоял в своей нише. С тех пор ниша забрана решеткой из толстых железных прутьев, но не из-за боязни лишиться какого-то пустячного серебра, а из желания сохранить при себе верного покровителя, избавляющего деревню от всяких бед и напастей.

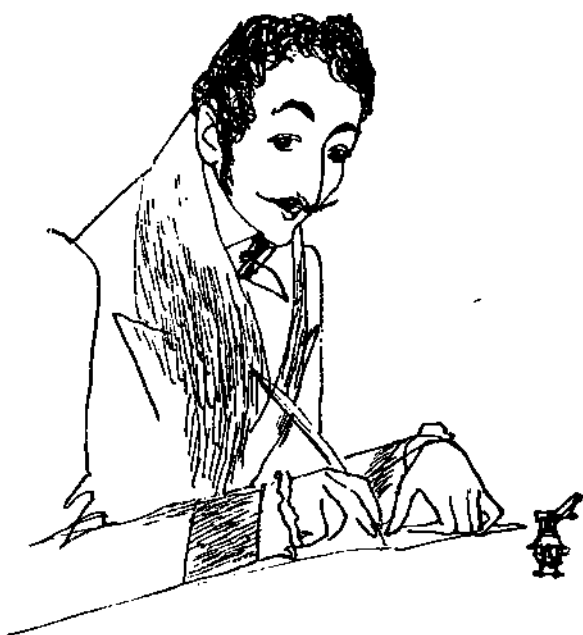
Надо признать, что дух критицизма, свойственный нашему веку, не миновал деревушку и умерил энтузиазм ее обитателей к местному чудотворцу. Но я еще помню, с каким восторгом, с какой любовью и благодарностью носили люди его изображение во время процессий, как истступленно кричали: «Да здравствует наш покровитель!», как горячо обсуждали его достоинства: «Не гляди, что сам с огурец: чудеса творит за всех чертей, вместе взятых». Это было наивно-простодушным выражением той мысли, что в одном их святом заключалась чудотворная мощность в тысячи дьявольских сил, подобно тому как машина — если позволительно сравнивать духовное с механическим и светское с духовным, — несмотря на малые размеры, вмещает тысячи сил лошадиных.

Находятся однако люди (это жители соседних деревень), которые утверждают, что обладатели чудотворного изображения порой обращаются с ним крайне бесцеремонно: когда долго нет дождя, они волокут святого к источнику Пилар-де-Абахо и устраивают ему ныряние и купание. Рассказывают, что дождь льется либо тут же сразу, либо несколькими часами позже. Сам я этого никогда не видел, не верю в принудительное купание и считаю все это выдумкой и сплетней. Андалусийцы — люди завистливые и к тому же большие шутники: могут придумать что угодно.

К сожалению, рассказ о нырянии святого не первая шутка-навет на жителей деревушки, о которой идет речь. Так как большинство тамошних жителей рыжеволосы и так как до недавнего времени там был богатый монастырь псов господних доминиканцев во главе с рыжеволосым отцом Бермехо, то всех жителей деревни стали называть псами рыжего отца Бермехо. Во время ярмарок и престольных праздников из-за этого часто возникали ссоры: парни дрались камнями, кулаками, кольями, а у мужчин дело доходило до ножей.

Случай, о котором я рассказываю, не единственный в Андалусии; едва ли можно найти селение, по поводу которого не ходила бы какая-нибудь обидная шутка. Деревню Висо, например, называют родиной дымовых

504008



труб именно потому, что никто их там в глаза не видел. Или спрашивают местных жителей, знают ли они, что такое кедровые орехи, хотя всем известно, что, кроме этих самых орехов, там ничего не растет. Про Валенсуэлу и Поркуну рассказывают всякие анекдоты в связи с тем, что там нет дров и крестьянам приходится жечь не очень ароматное топливо. Зная, что жители Пальма-дель-Рио потребляют много апельсинов и что каждый обязательно ест их на завтрак, соседи не без ехидства у них спрашивают: «Как же вы обходитесь без апельсинов? Что же вы едите на завтрак?». Смеются и над крестьянами из Тосины, утверждая, что они служат мессу под гитару, зная, что там нет органа. Чтобы позлить жителя Фуэнтес-де-Андалусия, его деревню как бы по ошибке называют Фуэнтес-де-ла-Балаболка.

Вряд ли стоит приводить другие примеры. Важно, что жители деревни, о которой я рассказываю, страдают от насмешек не больше, чем жители других селений Андалусии.

Возвратимся к истории нашей деревушки, пренебрежем ядовитыми шутками и будем считать отца Бермехо родо-

начальником, главой и отцом тамошних жителей; чтобы как-то обозначить это селение, выделить из множества подобных, дадим ему имя Вильябермеха, сохранив в тайне настоящее название, на что есть свои причины, а жителей будем именовать бермехинцами.

В данном случае я следую примеру ученых историков древности, ибо возвожу название маленькой современной деревни к имени патриарха точно так же, как это делалось на заре человеческой истории, в те славные поэтические и героические времена, когда жили настоящие патриархи: от Персея происходит название персов, Эллин дал имя эллинам, или грекам, Абар — евреям, Яфет — яфетидам и так далее, вплоть до отца Бермеха, к которому восходит название бермехинцев.

Из всего этого вовсе не следует, что отец Бермеха был реальной исторической личностью. Изначально имя это, вероятно, обозначало целый народ. Именно так толкуют современные историки данные о патриархах, упоминаемых в первых главах Книги Бытия. К примеру, Тувалкаин для них это не отдельный человек, который жил несколько веков и был ковачом всех орудий из меди и железа, а весь род человеческий в переходный период от камня к металлу.

История знает немало случаев, когда тому или иному народу, из неприязни к нему или в виде насмешки, жаловали в родоначальники какого-нибудь злодея или чудовище. Египтяне, например, считали, что евреи родились в пустыне от отвратительного Тифона, бога зла, в то время, когда он удирал верхом на ослице от Гора и от своего убиенного брата Осириса, о ту пору воскресшего. Ту же недоброжелательность можно усмотреть и в истории или в мифе об отце Бермеха и о бермехинцах, но за неимением ничего лучшего позволю себе называть селение, о котором я рассказываю, Вильябермехой и его обитателей — бермехинцами. Считаю нужным еще раз клятвенно заверить читателей, что у меня не было ни малейшего намерения обидеть моих полукомпатриотов. Я всех их очень люблю. Кроме того, есть среди них человек, которого мне лестно считать своим лучшим другом, чьим умом, характером и приятными манерами я не устаю восхищаться.

У себя на родине он известен под именем-прозвищем дон Хуан Свежий. Мы тоже будем его так называть, и думаем, он на нас не обидится. Дон Хуан Свежий — настоящий философ.

В детстве его звали просто Хуанильо. Он рано покинул Вильябермеху и вернулся туда уже в солидном возрасте и с изрядной суммой денег в кармане. Из почтения его стали величать доном, а поскольку он был свежеспеченный дон, прибавили прозвище Свежий.

Его по праву считают влиятельным лицом, но он не желает вмешиваться в политику, не интересуется выборами, поэтому он не стал местным касиком и не возглавляет никакой партии. Вильябермеха, в отличие от других городов и сел Андалусии, так сказать, бескасикна и безглавна.

Возвращение сего славного мужа в такое захолустье можно считать высшей формой проявления любви к родине или — что не менее верно — проявлением крайней неосмотрительности.

В любом другом месте он сошел бы за настоящего дворянина, тогда как здесь среди его двоюродных братьев и племянников числились мясник, альгвасил, полдюжины бывших каторжников и прочая мелкая сошка. Его это ни капельки не смущает. Напротив, он даже гордится разношерстной компанией своих родичей и любит подчеркивать, что предки его — не какие-то жалкие батраки и поденщики, ковырявшиеся в земле, а люди крепкие, благородные, непокорные; в них проявились лучшие черты воинов-бермехинцев: мятежный дух и готовность к подвигу, что подтвердилось во время войны с маврами. Члены семьи Свежих — назовем их так — не желали копаться в земле, они родились, чтобы носить тогу или держать в руках оружие. Эти благородные желания не удалось удовлетворить полностью, но все же один Свежий облачился в плащ альгвасила, а другой заделался мясником, многие тоже вышли на большую дорогу: одни — чтобы возить контрабанду, другие — движимые рыцарским стремлением бороться за более справедливое распределение даров и благ слепой фортуны.

Вот какие похвальные вещи рассказывает дон Хуан о своих родственниках. Правда, он хитрец каких мало, поэтому не ручаюсь, насколько все это серьезно.

Ему теперь далеко за шестьдесят, но он могуч, как дуб, и строен, как гвадарамское веретено; зубы у него в полном порядке, шевелюра в сохранности: седых волос не видно — может быть, потому, что он рыжий, как все бермехинцы; он прекрасно держится в седле и стреляет

из ружья с такой меткостью, что ему позавидовал бы Вильгельм Телль.

По здешним понятиям он живет роскошно. Его дом стоит на самой площади и разделен на две половины: одна отведена под службы, здесь — давяльня, винный погреб, житница, маслобойка, перегонный куб, каретный сарай, конюшня; другая половина — жилая, с удобными апартаментами, внутренним двориком, выложенным изразцами, с фонтаном, цветниками, мраморными колоннами и — как это ни удивительно — с богатой и хорошо подобранной библиотекой. И библиотека, надо сказать, служит не только для украшения: дон Хуан много читает и много знает.

О жизни дона Хуана и о происхождении его богатства я могу сообщить только то небольшое, что он сам мне рассказал, уступив моим просьбам. Мой приятель не любит говорить о себе.

Он родился в самом начале века и отца своего не знал. Похоже, что мать больше не выходила замуж, на этот счет он никогда не распространяется. Семи лет от роду он вносил уже свою лепту в домашний бюджет и действовал весьма изобретательно: собирал для продажи съедобный чертополох, спаржу, дикий артишок, продавал или посредничал в продаже дроздов, угрей, лягушек. Где-то между десятью и пятнадцатью годами занялся выращиванием, сбором и продажей оливок и даже пас свиней. В этой последней должности и познакомился с ним его дядюшка, знаменитый священник Фернандес — слава и гордость Вильябермехи.

К тому времени, когда кончилась война за независимость и на престоле уже восседал милостью божьей король Фердинанд VII, упомянутый нами священник почивал на лаврах: он сложил оружие и полномочия предводителя отряда патриотов — французы называли их бандитами, — активно действовавшего в течение пяти-шести лет в горах Ронды и в провинциях Кордова и Малага.

Отец Фернандес был самым развеселым, задиристым и удалым священником, какого когда-либо знала Андалусия. Он ловко играл на гитаре, неподражаемо пел канью и фанданго, был, что называется, в теле и обладал увесистыми кулаками. Никто не мог с ним сравниться ни в метании барры, ни в кулачном бою, ни в ловкости, с которой он, приложив рот к краешку огромного кувшина, умел отпить вина на полпальца, а то и на целый палец, и даже



не покачнуться. Он хорошо говорил на цыганском наречии, был приятным собеседником и знал тысячи забавных анекдотов.

Не нужно думать, что это был какой-то невежественный пол-заблудыга. Напротив, это был настоящий Вириат в сутане. За разбойничьей внешностью скрывался ревностный католик, исправный священник, гуманист, богослов и весьма просвещенный философ. По-латыни он говорил так же свободно, как по-испански, хотя и с шепелявым «с» на андалусийский манер; был яростен в спорах, ловко нападал и блестяще защищался, несмотря на свою приверженность к Фоме Аквинскому и любовь к схоластике, прекрасно знал историю философии от древних мыслителей до Декарта, Кондильяка, современных сенсуалистов и французских материалистов, которых не очень жаловал.

По окончании войны священник Фернандес — он не был тогда еще священником, хотя все его так величали, — удалился в Арчидону, где давал уроки латинского языка и философии слушателям духовной семинарии.

Епископ города Малаги во время одной из своих инспекционных поездок посетил семинарию, но не обратил никакого внимания на Фернандеса, хотя и был когда-то его однокашником. Фернандес не обиделся, объяснив это не небрежением, а великими заботами епископа. Но, будучи человеком веселым и мастером на выдумки, Фернандес решил сыграть шутку с бывшим своим соучеником и заодно добиться аудиенции. Когда епископ выехал в карете из Арчидоны, Фернандес уже поджидал его в Пеньяде-лос-Энаморадос. Так называлось местечко на пути следования епископа. Священник облачился в добротное крестьянское платье и наложил фальшивую бороду. В помощники себе взял бывшего беглого каторжника, которого некогда обратил своими наставлениями на путь истинный и спас от виселицы. Отставной каторжник подвизался теперь в качестве ангела-хранителя: он взял на себя миссию сопровождать безоружных и робких путешественников и защищать их от дорожных неприятностей и опасностей.

Однако теперь оба они — и священник и ангел-хранитель, — восседая на лошадях, с ружьями за спиной, могли насмерть перепугать кого угодно.

Они неожиданно появились перед каретой его преосвященства и вмиг обезоружили двух телохранителей. Затем ангел-хранитель вежливо попросил епископа выйти из

кареты. Святой отец был крайне раздражен, но повиновался и вместе с секретарем вышел из кареты. Каково же было его изумление и радость, когда в незнакомце, снявшем бороду, он узнал старого школьного товарища, и совсем успокоился, увидев, что тот обращается с ним вежливо и предупредительно, и поняв, что от него домогаются только возобновления дружеских отношений и аудиенции.

Священник Фернандес провел епископа до импровизированного походного шатра, специально воздвигнутого у дороги, где их ждало угощение, состоявшее из ароматного коричневого ликера, бисквитов, миндального печенья и знаменитых лохинских крендельков.

Священник Фернандес был так учтив, проявил себя таким блестящим собеседником, наговорил столько интересного из области философии и теологии, что епископ был очарован и от первоначального страха у него не осталось и следа.

Вскоре Фернандес при содействии епископа стал священником в Малаге, в приходе Перчель, где получил буйную паству, давно нуждавшуюся в пасторе, способном отвести прихожан от дурных намерений и поступков.

Будучи уже в сане малаганского священника, Фернандес прибыл однажды в Вильябермежу навестить родню и подышать деревенским воздухом. Племянник-свинопас показался ему смысленным и способным юношей, и он забрал его с собой в Малагу. И хорошо сделал: племянник легко овладел всем багажом знаний, которым владел он сам. Ему дались не только телесные упражнения, но и духовные, то есть и науки и литература. Священник был так восхищен быстротой передачи знаний, так обрадован способностям своего родича, что решил сделать из него еще одного священнослужителя, полагая, что он скоро доберется до сана епископа. Однако дон Хуан не имел такого призвания и отговаривался тем, что бог не призывает его на эту стезю.

Им владела страсть к путешествиям и приключениям на суше и на море. По протекции дядюшки он поступил в морское училище и через четыре года вышел оттуда дельным старшим офицером. Он долго плавал и пережил столько приключений, что если бы написал книгу, то ее прочли бы с не меньшим интересом, чем историю Синдбада-морехода. Упомяну только, что когда он прибыл в Лиму, слава о нем гремела повсюду, и его назначили капитаном на превосходное судно филиппинской компа-

нии, совершавшее рейсы с ценным грузом в Калькутту. В то время на островах и архипелагах Океании развелось множество пиратов. Команда была разноплеменная и не заслуживала доверия: матросы были малайцы, повара и конопатчики — китайцы, боцман — француз, второй помощник — англичанин и всего-навсего пять-шесть испанцев. На этой плавающей Вавилонской башне дон Хуан совершил три благополучных рейса к берегам Ганга. Пока корабль разгружался и снова грузился, готовясь в обратный путь, он жил там как набоб: совершал прогулки в роскошном паланкине, охотился на тигров, восседая на спине огромного слона, ему прислуживали красивые девушки, ублажали баядерки, а купцы этой сказочной страны, жемчужины далекого Востока, наперебой приглашали его в свои роскошные дома.

Получая большое жалованье, он имел еще право на провоз личного груза и так преуспел в коммерции, что по возвращении в Лиму из третьего рейса стал миллионером.

Когда Перу обрело независимость, дон Хуан, как и многие другие испанцы, вынужден был покинуть страну, но в Европу не вернулся, осел в Рио-де-Жанейро и открыл там торговое дело. Однако жизнь на чужбине ему надоела, он прибыл в Европу, совершил путешествие по Германии, Франции, Италии и Англии. Любовь к родине позвала его в Вильябермеху, где я имел честь познакомиться с ним и общаться.

Здесь он купил несколько ферм, оливковых рощ, виноградников и стал заправским земледельцем. От прежнего морского волка ничего не осталось: он почти не вспоминает о своих морских путешествиях и приключениях.

Всю жизнь он прожил холостяком, и нет оснований беспокоиться, что совершит теперь рискованный шаг и женится.

Дон Хуан Свежий стал кумиром своей многочисленной родни, ее добрым гением, хотя сам не был чувствительным человеком. Я никогда не слышал от него никаких признаний и излияний о его сердечных делах в Америке, Индии или еще где-нибудь. Единственный человек, о котором он часто отзывался с нежной любовью и благодарностью, был священник Фернандес. Дядюшка умер в великой бедности, так как роздал нищему все, что имел, и был бы причислен к лику святых, если бы умел соблюдать так называемые условности, но поскольку он любил рассказывать малопрстойные анекдоты, воевал и устраивал

проделки вроде той, которую он совершил с епископом, или еще похлеще, то о канонизации не могло быть и речи.

Несмотря на обожание, которое дон Хуан испытывал к своему дядюшке, он не последовал его примеру: не стал ревностным католиком и добрым христианином. Дон Хуан был позитивистом и доверял только тому, что воспринимал органами чувств, а также и математическим истинам. Он утверждал, что за пределами опыта нет знания, и отрицал самую возможность познания. Однако он испытывал некоторую склонность к чистым спекуляциям и метафизическим системам, относя их к сфере поэтического творчества. Философские учения, полагал он, суть те же романы, в которых персонажи: дух, материя, я, не-я, бог, космос, конечное и бесконечное, — порождение смелой и богатой фантазии, действуют и поступают по прихоти их создателя.

Вместе с тем дон Хуан не был ни безбожником, ни богохульником. Его отрицание науки о духовном и сверхъестественном не лишало его веры. Он прекрасно понимал, что человек на крыльях веры может подняться в высшую сферу, недоступную разуму, где душа, озаренная интуицией, раскроет ему свои сокровенные тайны.

Приезжая в Вильябермеху, я всякий раз совершал с доном Хуаном длительные прогулки. На обратном пути мы обычно останавливались у каменного креста, воздвигнутого на высоком постаменте у самого входа в деревню. Здесь его называют Крус-де-лос-Аррьерос.

Иногда в наших прогулках принимал участие молодой человек лет тридцати, по имени Серафинито. Он был круглый сирота, жил одиноко, имел порядочный, по местным понятиям, достаток, отличался молчаливостью, флегматичностью и добрым нравом.

Дон Хуан Свежий уверял, что от Крус-де-лос-Аррьерос открывается панорама, красивее которой он ничего не знает. Я улыбался и внимательно смотрел на него: уж не шутит ли он? Но лицо его было серьезно — никаких признаков иронии. Думаю, что это был обман зрения, вызванный любовью к родным местам.

В один из погожих сентябрьских дней дон Хуан, Серафинито и я сидели у подножия каменного креста. Солнце уже скрылось за грядой холмов, образующих линию западного горизонта, и окрасило небо в золотые и пурпурные цвета. На долину легла тень, но колокольня и скалы, вышившиеся позади селения, чудесно светились,

отражая от своей полированной поверхности косые солнечные лучи. Только легкие розовые облачка нарушали безмятежную голубизну неба и тихо плыли куда-то, гонимые ласковым ветром. В более темной части небосвода, высоко над горизонтом уже вставала бледная луна и мерцали одинокие звезды. В дальней стороне долины виднелась лента дороги, а за нею взгляд упирался в горную грядку. Повсюду царил мир и покой.

Большую часть здешней земли занимают оливковые рощи и виноградники; только дикие скалы, увенчивающие холмы, остаются невозделанными. Зеленые заборы из ежевики и агавы отделяют друг от друга земельные наделы и усадьбы. Только на самых влажных и плодородных участках в этих живых изгородях можно видеть жимолость, гранатовые деревья и кусты шиповника. В местах, защищенных от зимней стужи, растет и плодоносит смоква.

Урожай с полей был уже снят, и на черной земле желтели островки жнивья, кустики чертополоха. Под жарким солнцем жухлая трава стала сухой, как порошок. Кое-где виднелись языки пламени; огонь бежал причудливой змейкой, оставляя позади себя черный след и клубы дыма.

Огромные пространства, занятые виноградниками, еще зеленели свежей, яркой листвой. Шел сбор винограда. По бесчисленным дорогам и тропам сюда двинулись арбы и телеги, чтобы забрать последний груз и отвезти его в винодельни, где утром он пойдет уже под пресс. Сборщики покидали плантацию и группами расходились по домам. То здесь, то там вспыхивала веселая песня; вдали слышался чей-то тоскующий голос: может быть, это погонщик мулов жаловался на одиночество, возвращаясь с караваном выючных животных, или поденщик, стосковавшийся по дому.

Берега ручьев, орошающих долину, поросли раkitой, серебристым тополем, черным олеандром, камышом и дикой мятой. Садов здесь не много, и все они крохотные: площадь самого большого из них не превышает шестидесяти акров. Зато земля хорошо возделывается: на ней выросли гигантские ореховые деревья, пышные смоковницы, дающие самый сладкий в мире инжир, и множество других плодоносящих растений.

Самый полноводный ручей в округе протекает в четверти лиги от Вильябермехи, и девушки, которые стирали там белье, теперь тоже шли домой, неся корзины на



голове, шли весело, задорно: движения их были свободны и изящны; короткие юбки из дешевого перкаля или еще более дешевой антекерской фланели плотно облегали сильные, красивые бедра.

Дон Хуан, словно зачарованный, наблюдал всю эту картину и, видимо, еще более укрепился в мысли, что и Вильябермеха и ее окрестности — лучший уголок на земле. Волнение его возросло, когда он заметил облачко пыли на главной дороге. Воспоминания о лучших днях жизни нахлынули на него... Вскоре послышалось хрюканье всех регистров, от тенорового до басового, и тут же появилось розовое стадо свиней, ведомое шустрым мальчуганом лет пятнадцати. Каждый бермехинец имел в этом стаде дорогое его сердцу существо: пройдет время, и он сделает себе самому и своей семье вкусный подарок в виде ветчины, сала, колбас, сосисок, шпика и многих других продуктов; все это будет храниться в кладовых до случая, достойного быть отмеченным.

Мальчуган умело командовал своим войском и поддерживал образцовую дисциплину. Ни одна свинья не решилась бы самовольно отлучиться от стада. Но как только войско достигало первых домов, парнишка дудкой подавал сигнал, и животные разбежались рысью и галопом по улицам и проулкам; достигнув хозяйского дома, они опрометью пронеслись через двор, опрокидывая кувшины и бочки, и как вкопанные останавливались в хлеву, где их ждало уже вкусное пойло.

Когда дон Хуан справился с волнением, я не мог удержаться и сказал:

— Откровенно признаюсь — меня восхищает ваша любовь к Вильябермехе. Я понимаю: это ваша родина, и она вам нравится. Блеску и шуму Мадрида и Парижа вы предпочли сельское уединение и счастливы этим. И все-таки мне непонятно, как может человек, исколесивший весь мир, повидавший то, что другим бермехинцам и во сне не снилось, утверждать, что красивее Вильябермехи нет ничего на свете.

— Что же тут непонятного? — отвечал дон Хуан. — Когда я утверждаю, что Вильябермеха — лучшее место на земле, я просто хочу этим сказать, что таким оно мне представляется. Действительно, во время моих путешествий я видел бухту Рио-де-Жанейро с ее плодороднейшими берегами и островками, покрытыми вечнозеленой растительностью, и гигантские горы, окружающие ее, и вековые

леса, апельсиновые и лимонные рощи, которые красиво ее обрамляют; я жил на плодородных берегах Ганга и Брампутры, украшенных пагодами, дворцами и садами; я любовался улыбчивым Неаполитанским заливом, где все напоминает о красоте и величии древнего мира. Все это я видел собственными глазами и все же остался истинным бермехинцем, для которого и сама Вильябермеха и ее окрестности кажутся самым прекрасным, самым богатым, самым плодородным местом на земле. Вы скажете, что горизонт здесь не слишком обширен. Тем лучше: я могу вообразить себе за этим горизонтом все, что пожелаю; если же я пожелаю вообразить нечто великое и бесконечное, то достаточно воздеть глаза к небу — и смотри себе в небесную бездну: воздух здесь чист и прозрачен, и облака не скрывают от взора даже самую далекую звезду. Пространство земли, которое охватывает мой глаз, тоже невелико, но зато я знаю здесь каждую пядь и могу заселить его воспоминаниями и событиями в тысячу раз более интересными и близкими моему сердцу, чем приключения Рамы и Кришны в Индии или Энея и Улисса в Неаполе. Разве это не чудесно, если я могу сказать: «Все оливки, растущие на том склоне, посадил я сам; виноградник тоже создан моим трудом; тот дом под красной черепичной крышей — это дом моего друга Серафинито, и я знаю, сколько галлонов вина ежегодно получает он на своей ферме; тот участок белесой земли принадлежит вам, а белесая она потому, что содержит много извести; тот сад некогда арендовала моя мать, и я провел там лучшие годы моей жизни». Видите заросли камыша на берегу ручья?

— Вижу, — отвечал я.

— Так вот, именно там я впервые понял, что такое красота искусства, порыв вдохновения, и впервые испытал полное, бескорыстное, бесконечное, ни с чем не сравнимое наслаждение.

— Что же там произошло? — спросил Серафинито.

— Тростник этот — точно такой же, каким я видел его в начале века, когда мне было лет десять или того меньше. Я был совсем невежествен: не умел ни читать, ни писать и вообще ничего не знал и не понимал. Я представлял себе небо в форме стеклянного полушария — вроде половинки апельсина, что ли, к нему прибиты гвоздики, а шляпки их — это звезды; по стеклянной поверхности катятся луна, солнце и большие планеты, движут их ангелы или какие-то таинственные духи. Лоно земли казалось

беспредельным, чем-то вроде огромной пещеры, бездонной пропасти, населенной чертями и преступниками. Выше стеклянной сферы я воображал себе другую бесконечность — царство света и вечной благодати, где живут святые, ангелы, девственницы и играет музыка, и бог и все, кто при нем, ее слушают. Я был убежден, — впрочем, как и все бермехинцы, — что высшая точка небесного свода находится над Вильябермехой и там — трон святой троицы. Поэтому и небесная музыка слышалась здесь лучше, чем в других местах. Так говорили мои земляки. И я забирался в заросли тростника, погружался в предвечернюю тишину, напрягал слух, надеясь услышать эту музыку, — благо исполняли ее где-то совсем недалеко. Волнение мое было так велико, нервы так напряжены, что порой мне казалось, будто я ее слышу. Я очень любил музыку, и если бы не моя страсть к путешествиям и морским приключениям — кто знает, может быть, из меня получился бы превосходный музыкант. И вот однажды я срезал несколько тростиннок, проделал в них дырочки, попробовал одну дудку, попробовал другую и наконец добился чистого звучания: получилась настоящая флейта с сильным, красивым звуком, и я играл на ней все известные мне мотивы. Мне казалось, что многое я сам слышу впервые, что я сочинил эту музыку сам. Может быть, это было смутным воспоминанием о той музыке, которая доносилась до меня из небесных высей. Жителям нашего местечка очень нравилась и моя флейта и то, как я на ней играю, а моя мать буквально зацеловывала меня после каждого исполнения. Вот и судите теперь: есть ли на свете что-либо прекраснее нашей Вильябермехи?

Серафинито ничего на это не возражал, ибо любил Вильябермеху больше, чем сам дон Хуан. Я попытался было что-то сказать, но дон Хуан Свежий приводил все новые и новые доводы и говорил с таким поэтическим вдохновением, которого я в нем не предполагал. Тогда я повел разговор в другом направлении.

— Не буду с вами спорить, так как считаю ваши доводы убедительными, хотя и несколько софистичными. Но позволю себе спросить: откуда у вас, у трезвого позитивиста, столько чувствительности, поэтических иллюзий. Мне это кажется странным.

— Опускаю ваше замечание о чувствительности, — отвечал дон Хуан. — Я никогда не считал себя сухарем, но и чувствительным меня никак не назовешь. Однако

я совершенно не согласен с вами, когда вы приписываете мне какие-то иллюзии. У меня не было, нет и не будет никаких иллюзий. Так что мне не приходилось и не придется оплакивать их потерю. Иллюзии мне отвратительны.

— То есть как это нет иллюзий? Разве ваша любовь к родным местам не иллюзия?

— Эта любовь поκειται не на иллюзиях, а на реальности. Обсуждать это — значит вернуться к прежнему спору, а я не хочу спорить. Но я хочу доказать вам, что у меня нет иллюзий, что они — зло и что не иметь их — благо.

— Но тогда, — вставил Серафинито, — поэт говорит чепуху, утверждая:

Мечты невоплощенные —  
То листья, унесенные  
С дерева сердца.

— Нет, это не чепуха: поэт прав, если я его верно понял. Но ведь правда и то, что нам до смерти надоели бесконечные жалобы по поводу утраченных иллюзий. Может быть, они и «листья с дерева сердца», но никак не спелые плоды и даже не цветы, которые могут оздоровить воздух.

— Что же вы понимаете под иллюзиями? — спросил я.

— Иллюзия есть некая идея, рожденная воображением, не имеющая никакой реальной ценности. Иллюзия — это ложь, заблуждение. Утратить иллюзии — значит то же, что обрести истину. Обретение же истины, то есть высшее достижение, к которому стремится наш ум, не должно оплакиваться.

— Мне кажется, вы сами себе противоречите. Вы только что рассказывали, как вам жаль было расставаться с наивным неведением, ибо оно, это неведение, как раз и породило в вашей детской душе поэтические образы неба и земли.

— Разумеется, я не вижу небо и землю такими, как тогда, в детстве. Но почему вы думаете, что образы эти стали менее поэтичными теперь? Поэзия совместима не только с неведением: она еще больше совместима с глубокими знаниями, накопленными всеми университетами и академиями мира. Только благодаря науке я узнал, что есть иллюзия, что значит утратить ее или избавиться от нее. Именно наука доказала мне никчемность и лживость всякой иллюзии. И, напротив, она не доказала мне, что

утрату пустых и лживых иллюзий следует оплакивать. Некогда поэт сказал: «Древо знания не есть древо жизни», но я думаю как раз обратное: древо жизни есть древо истинного знания.

— Мне не совсем ясна ваша мысль.

— Попробую ее уточнить. Скажите, не считаете ли вы, что образ, возникающий у нас с вами в результате опытного познания, является более емким, возвышенным и прекрасным, чем тот, который возникал у людей в прошлом?

— Пожалуй, это верно. Но вы говорите только об опытном познании. Беда в том, что, познавая нечто путем опыта, человек утрачивает способность воображения и лишается веры, и об этом нельзя не пожалеть.

— Я вижу, вы согласны с тем, что нынешнее познание стоит больше вчерашнего. Отсюда следует, что чем больше накапливается знаний о предмете, тем более прекрасным, возвышенным и благородным является нам образ этого предмета как частицы всего сущего.

— Но не должно исчезнуть и то, что добывается нашим воображением, — возразил я.

— Правильно. Воображению всегда есть работа. Теперь я понимаю, что небо — это бесконечное пространство, а звезды отделены друг от друга огромными расстояниями, но и за теми пределами, которых достигает глаз или телескоп, я могу вообразить все, что мне захочется, и поверить во что угодно.

— Но вы должны признать, что и воображение и вера простираются очень далеко и слишком далеко уходят от земли.

— Вы ошибаетесь и в этом; я не согласен с вами. Воображение и вера нужны не только для запредельности. Ведь то, что я вижу, наблюдаю, устанавливаю опытным путем, касается внешнего, поверхностного. Я вижу явление и что-то знаю о нем, но как увидеть и познать потаенную сущность явлений и самих предметов? Русалки и сифиды не так глупы и просты, чтобы какой-то химик взял их голыми руками, посадил в реторты и колбы и разложил на воду и воздух. Вряд ли найдется такой совершенный микроскоп, который может раскрыть таинство оплодотворения тычинки любвеобильной пыльцой. Какими законами физики или математики можно объяснить, почему привидение, дух, дьявол без всякой посторонней помощи лезут вам в душу и тревожат ее? Кто доказал, что они

не существуют? Кто измерил пределы человеческого восприятия? Кто осмелится сказать: «За этой чертой ничто не может быть познано»? Никто не доказал, что нет или не может быть людей, которые видят, чувствуют другие сокровенные существования, общаются и советуются с ними. А разве можно до конца понять сущность нашего с вами общения? Мы облакаем нашу мысль в чувственную форму, то есть передаем друг другу мысль не непосредственно, а при помощи условного материального знака. Он репрезентирует эту мысль, и название ему — «слово». Следовательно, слово есть звук, то есть физическое колебание воздуха, которое воздействует на наш орган слуха. Но почему же мы все-таки понимаем друг друга? Этого мы не знаем теперь и вряд ли когда-нибудь узнаем. Люди постоянно толкуют о сверхъестественном и естественном с таким видом, будто уже великолепно поняли различие между ними, установили четкую границу, все размежевали, обозначили и все постигли. Но, друг мой, границы между сверхъестественным и естественным нет, или, во всяком случае, она стерта. Ставить вехи и знаки, чертить демаркационные линии и проводить границу можно только между познанным и непознанным. Но, согласитесь, это совсем другое дело. Поэтому было бы ошибкой называть время классической древности эпохой веры, а наше время — эпохой разума. Нельзя противопоставлять разум вере. Царство веры беспредельно и вечно, и его могущество не может быть поколеблено завоеваниями и экспансией маленького царства разума. Некоторые иллюзии — по существу их нельзя назвать иллюзиями — не могут быть убиты наукой. Однако самая великая и трудно вытравимая иллюзия как раз состоит в убеждении, что наука обязательно должна убить то, что познается нами благодаря фантазии и вере и что фантазия и вера суть иллюзии. Это иллюзия всемогущества науки, иллюзия научного тщеславия. Эту иллюзию я считаю самой вредной из всех иллюзий, хотя, может быть, она не самая жульническая.

— Как это понять? — спросил Серафинито. — Выходит, что иллюзия — это просто плутня?

— Почти всегда, — подтвердил дон Хуан.

— Вы рассуждаете так, — вставил я, — потому что приводите примеры только дурных иллюзий и не упоминаете о хороших.

— Согласен, но, повторяю, никто не доказал мне, что так называемые хорошие иллюзии, рожденные верой, вы-

соким религиозным чувством или проницательной фантазией, действительно являются иллюзиями. А это значит, что иллюзии всегда дурны, иначе они не иллюзии. Я как раз и воюю против настоящих иллюзий и утверждаю, что у меня их никогда не было, а если бы были, то я расстался бы с ними без всякого сожаления.

— Дайте примеры дурных или, как вы говорите, настоящих иллюзий.

— Сколько угодно. Представьте себе, что в Мадриде живет молодая женщина. Она элегантна, немного кокетлива, не очень богата, ей двадцать пять лет, и она не замужем. Иллюзии этой барышни состоят в том, что, выбрав себе в мужа человека богатого, знатного, доброго, терпимого и щедрого, она сможет жить на широкую ногу, тратить много денег и т. д. и т. п. Но иллюзиям не суждено было осуществиться, и теперь девица поминутно жалуется, что настоящей любви нет, что миновали времена Ромео и Джульетты, что мы живем в прозаический век и что она утратила иллюзии. Возьмем для примера замужнюю даму. Муж ее крупный чиновник; он ласков, приветлив, хороший семьянин, нежный, любящий супруг. Среди его приятелей есть чиновник помельче. Жалованье у него не очень большое, он часто остается за штатом, но умеет так устроить дела, что при всех своих долгах и неурядицах у него есть ложа в театре, он часто тратится на наряды и украшения для своей жены, возит ее в Биарриц. У нашей дамы были иллюзии, что и ее муж может создать ей такую жизнь, но, увидев, что иллюзии не осуществились, она их утрачивает. И теперь она поносит все и вся, утверждая, что идеалов нет, что все мужья — глупцы и чудовища, что в наш испорченный век супружество лишено всякой поэзии и что времена Филемона и Бавкиды никогда не вернутся. Повариха нанимается на службу. Хозяйка требует у нее ежедневного отчета о покупках, интересуется ценами, просит быть экономной. Повариха тоже утрачивает свои иллюзии и начинает говорить, что теперь нет щедрых, великодушных, благородных господ, что мы живем в мелочный, мерзкий, плебейский век. В Мадрид приезжает юноша. Он строен, красив, остроумен, одет с иголочки и ежедневно прогуливается по Кастельяна. Однако ни маркизы, ни герцогини в него не влюбляются, богатые наследницы его отвергают. Интерес к нему проявляет только дочь хозяйки гостиницы, где он квартирует. Молодой человек тоже утрачивает

иллюзии и заключает, что женщины в наш век горделивы, заносчивы, бессердечны. Оказывается, все утрачивают иллюзии: жалкий стихоплет, возомнивший себя поэтом, — потому что никто не читает его стихов, честолюбивый журналист — потому что не стал министром, драматург — потому что освистали его пьесу, врач — потому что потерял клиентуру, адвокат — потому что никто не поручает ему вести дела, враль — потому что никто не верит его вранью, и даже игрок в лотерею — потому что не выигрывает. Они без конца твердят о том, что коррупция в наш век достигла чудовищных размеров, что идеалы исчезли, что всех поразило безверие и что всем распоряжается слепая, несправедливая судьба.

— Судя по вашим примерам, иллюзии могут обретать и утрачивать только бездельники, глупцы и несчастливцы.

— Именно. У них больше иллюзий, чем у других, знает и теряют они больше, чем другие. Я не отрицаю, конечно, что есть много достойных людей, которые сами создают себе иллюзии, а потом оплакивают их утрату. То, что они создают иллюзии и оплакивают их, не означает отсутствия у них благородства, но свидетельствует об отсутствии здравого смысла и твердого характера.

— Поясните это примерами, — попросил Серафинито.

— Пожалуйста. Живет с мужем бедная, но добродетельная и добропорядочная дама. Она во всем себе отказывает и стойко переносит все лишения и невзгоды, обрушивающиеся на нее и ее мужа. Но проходят годы, и она видит, что за ее добродетельность к ней не стали относиться с большим уважением, никто не трубит о ее добропорядочности, никто не преподносит ей в подарок драгоценностей, не покупает ложу в театре, не дарит карету. Словом, она видит, что Лукреции из нее не получилось и по-прежнему никто ее в грош не ставит. Тогда она начинает сердиться и жаловаться, что утратила иллюзии, что общество — это грязный вертеп, где только дурные женщины имеют кареты, одеваются в шелка, украшают себя бриллиантами и жемчугами. Иллюзии этой сеньоры состояли в том, что она верила, будто ее добродетель обязательно должна принести ей моральные и материальные блага. Однако добродетель, преследующая выгоду, не может считаться истинной добродетелью, и человек, проявляющий ее в своекорыстных целях, способен совершить еще более дурные поступки. Эта другая форма



иллюзионизма — ужасная болезнь, которая поражает иногда умы благородные и возвышенные, хотя и недостаточно трезвые и стойкие. Она страшна тем, что ведет к перерождению самых благородных свойств души и характера, заставляя человека во всем видеть корыстную цель и воспринимать прекрасное и возвышенное только с утилитарной точки зрения. Если человек добродетелен и умен, если он занимается наукой, поэзией, то все это может принести ему некоторую пользу, но чистая утилитарность не должна быть для него конечной целью. Более того — тот, кто сознательно стремится извлечь пользу из своей добродетели, научных знаний, поэтических занятий, перестает быть ученым, поэтом и добродетельным человеком. Для низменных целей используют низменные средства. Благородные средства служат только для достижения высоких целей.

— Но разве труд, настойчивость, упорство, бережливость, являясь весьма похвальными добродетелями, не могут быть направлены на достижение материальных благ?

— Несомненно. Иногда — индивиду и всегда — всему обществу в целом они приносят материальные блага. Но я говорю о добродетелях более высокого свойства, о духовных добродетелях, которые можно легко себе приписать, не обладая ими. Иллюзии этого рода имеют две особенности: первая состоит в том, что сначала люди приписывают себе добродетели, а вторая — в том, что они стараются набить им цену и повысить их акции.

— В общем, вы утверждаете, — перебил его Серафинито, — примерно то же, что утверждает известная поговорка: «Честь и корысть в один мешок не кладут».

— То, что я утверждаю, не имеет ничего общего с этой поговоркой. Честный человек может извлекать профит, и даже немалый, из тысячи честных занятий. Я, например, имел большую выгоду от моих занятий и не считаю, что приобрел состояние нечестным путем. Я утверждаю только, что есть такие добродетельные умы и характеры и дела человеческие такого величия, что с ними несовместимо понятие выгоды, они не требуют оплаты, вознаграждения. Я осуждаю иллюзии тех людей, которые обладают или думают, что обладают, этими свойствами, думают, что вершат великие дела, и требуют за это плату, и приходят в отчаяние, когда ее не получают. У людей этого сорта, пораженных иллюзиями, существует наивное представление о мироустройстве и о божественном

провидении: они считают, что бог всегда обязан поощрять добро и наказывать зло и вообще заботиться, чтобы нам было хорошо. У них бесконечные претензии к богу, они готовы взыскивать с него за все. Зачем ты меня создал? Почему я должен умереть? Почему я старею? Почему у меня болит зуб? Почему меня кусает эта муха, да еще и жужжит? Почему у куропаток так много костей? Почему в окороке так много жира и так мало мяса?

— Ну, ну, — начал я смеясь, — из всего сказанного я заключаю, что моего друга дона Хуана тревожат какие-то неприятные воспоминания о человеке, у которого были иллюзии и который их утратил. Поэтому мой друг так резко осуждает всякие иллюзии вообще.

— Вы правы: я действительно пережил нечто неприятное, очень неприятное. Будьте прокляты, иллюзии! Несчастный доктор Фаустино!

Едва он произнес это имя, Серафинито, который до этого сидел понурив голову, расплакался как дитя.

Это еще больше подогрело мое любопытство, и я спросил дона Хуана, кто такой доктор Фаустино и почему он вызвал столь печальные воспоминания.

Дон Хуан обещал мне рассказать историю Фаустино и исполнил свое обещание, когда Серафинито ушел: он не хотел расстраивать молодого человека.

Я записал рассказ дона Хуана Свежего, несколько его обработав на свой лад. И теперь передаю его читателям. Само собой разумеется, я не собираюсь развивать тезис, направленный против иллюзий.

Мнения дона Хуана и мои на этот счет расходятся, но это не имеет отношения к делу.

Закончив вступление, я покидаю сцену, где я подвизался некоторое время как помощная фигура, и ограничусь теперь ролью рассказчика.

## I

### СЛАВНЫЙ ДОМ ЛОПЕСОВ ДЕ МЕНДОСА

Вильябермеха, как мы уже сообщали, в течение более двух столетий была пограничной деревней: она граничила с мавританскими владениями.

Еще и теперь там высится замок, вернее, крепость, которая некогда принадлежала местному владельческому

князю, главному лицу в местечке. И почерневшие от времени толстые стены, сложенные из грубого камня, и прямоугольные стенные зубцы, и круглые башни с бойницами — все это сохранилось. Сводчатая галерея соединяет старинный замок с церковью более новой постройки: она возводилась уже после войн с маврами. В эпоху жестоких сражений за Гранаду молитвы возносились, вероятно, в замке либо под открытым небом. О возведении храма впервые подумали уже после отвоевания Гранады, а построили его сыны достославного святого Доминика.

Именно с этих пор воинственное племя бермехинцев стало все больше и больше склонять свою шею под теократическим ярмом братьев монахов, что и породило, вероятно, шутовскую историю происхождения бермехинцев от рыжеволосого отца Бермехо.

В эпоху абсолютизма селение воителей-идадьго растеряло воинственный дух, обмещанилось и демократизовалось. Князь отбыл ко двору, и с тех пор никто его больше здесь не видел. Никто даже не вспоминал о нем ни добрым, ни дурным словом. Всеми делами аренды и ренты занялся управляющий князя.

К началу нынешнего века в Вильябермехе едва ли насчитывалось, кроме князя-невидимки, три-четыре дворянских семейства. Остальное население составлял плебс, начисто забывший о славе героических предков. К концу тридцатых годов, то есть ко времени, когда начинается наша история, представители местного дворянства смешались с простым людом и стали прозябать в бедности либо эмигрировали кто куда в поисках лучшей доли. В местечке осталась только семья Лопесов де Мендоса, потомственных комендантов крепости со времен Аламаров и короля дона Фердинанда Святого.

Родовой дом Лопесов де Мендоса еще и теперь красив. Он примыкает к крепостной стене; простой и изящный фасад — произведение пятнадцатого столетия — облицован тесаным камнем, а главный вход и балконная дверь второго этажа украшены колоннами из белого мрамора. Над балконом красуется замысловатый герб славного рода Мендоса, искусно высеченный тоже из белого мрамора.

Дом, однако, пришел в некоторый упадок, хотя и не столь заметный, как семья Мендоса, и являет ныне бесспорные и печальные признаки стесненного положения его владельцев. Во многих окнах недостает стекол; массивные двери с затейливой резьбой и бронзовыми украшениями



находятся в плачевном состоянии; фасад кое-где выщерблен; желтые цветы торчат из щербин — все это очень портит общее впечатление. Местами образовались широкие и глубокие трещины; вместимость их так велика, что там нашли себе приют не только отвратительные ящерицы всех видов, но угнездились, выросли и окрепли безобразные и пугливые летучие мыши, проросли и развились кусты дикой смовы и всяких сорных трав. Вся эта паразитарная зелень особенно буйно распускается весной и придает фасаду вид вертикального сада. Навес черепичной крыши очень широк, так что между стеной дома и крепостной стеной образуется огромное пространство, где вольготно чувствуют себя ласточки и лепят свои непритязательные жилища. Третий этаж занят под кладовые и житницы, но поскольку зерно давно уже туда не поступает, там поселились совы, филины-меланхолики и умеренные в еде крысы-аскеты.

Даже самые бедные жители селения три-четыре раза в году белят свои дома, отчего они делаются ослепительно чистыми и блестят, словно снег на солнце. По сравнению

с ними родовой дом Мендоса выглядит совсем иначе: даже золотые лучи солнца не могут оживить его камни, почерневшие от времени, от непогоды и от нерадивости владельцев. К тому же дом семьи Мендоса расположен в уединенном, безлюдном месте, на отшибе, и прячется за крепостью, тогда как белые веселые домики зажиточных обывателей составляют улицы селения, выходят на площадь, где имеется четырехструйный фонтан, где растут тополя и постоянно толкутся мужчины, женщины, дети, проезжают телеги, повозки, движутся лошади, ослы и мулы.

Еще совсем недавно на окраине селения начали строить — и не достроили — новое кладбище; всех обыкновенных усопших стали хоронить возле церкви, как раз против дома Лопесов де Мендоса. В церковной же ограде хоронят только монахов и членов семьи Мендоса, которые имеют там подземный склеп и великолепную часовню с запрестольным образом из золоченого дерева, выполненным с затейливостью и пышностью, свойственными стилю чурригереско. В нише этой часовни хранится фигурка Иисуса Назарейского, несущего на спине крест. Иисус облачен в бархатную тунику, отороченную золотым шитьем. Главным хранителем этого образа всегда был наследник майората из семьи Мендоса. После святого покровителя Вильябермехи скульптура Иисуса — самая любимая и самая чудотворная. Мастер, который делал в свое время это изображение, не отличался ни большой изобретательностью, ни высокой техникой исполнения, однако образ и по сие время обладает огромной силой воздействия. Особенно на женщин. При помощи специально прилаженной веревки, которой распоряжался пономарь, сын божий Иисус мог отвести руку от креста и с балкона консистории благословить собравшихся на площади богомольцев. Это делалось один-два раза в году по большим праздникам.

Теперь, если мы вспомним о родовом доме Мендоса, станет ясно, как мрачно он выглядел из-за соседства с запущенным кладбищем и с полуразвалившейся церковью, в ограде которой, собственно говоря, тоже было кладбище.

Мы сказали уже, что род Мендоса пришел в не меньший упадок, чем сам дом.

Прошлая судьба этой семьи и нынешнее ее положение, а также взаимоотношения ее членов с другими бермехинцами сложились несколько необычно. С того самого времени, когда здесь появились монахи-доминиканцы и селе-

ние было, так сказать, отдано на откуп монашеской братии, семья Мендоса была единственной, которая вела с ними войну и делала все возможное, чтобы сохранить в Вильябермехе светский уклад жизни. Ожесточенная борьба кончилась поражением Лопесов де Мендоса, и это при том, что среди них были мужи выдающихся способностей и отваги.

Никто из бермехинцев не относился враждебно к членам семьи Мендоса, поскольку не было такого случая, чтобы Лопесы де Мендоса хоть кого-нибудь обидели. Никто не завидовал им, ибо они были бедны и всегда в долгу, как в шелку. Но все-таки о них рассказывали вещи весьма обидные.

Об одном Мендосе, жившем еще во времена мавров, рассказывали какую-то скандальную любовную историю с пленной мавританкой-колдуньей. О другом Мендосе, не менее знаменитом, говорили, что во время пребывания его в Индиях он женился не то на еврейке, не то на перуанской принцессе — здесь мнения расходились, — хотя, по правде сказать, противоречия тут нет, ибо для здешних обывателей названием «еврей» (или «мавр») обозначается нехрист вообще, и некрещеного ребенка величают евреем, а то и мавром.

Но все бермехинцы были согласны в том, что сначала пленная мавританка, а потом перуанка или еврейка внесли в кровь Мендоса заквас безбожия. Но эта же самая еврейка или перуанка принесла своему мужу в приданое огромную сумму денег, на которые был построен родовой дом, куплены земельные участки и фермы, впоследствии заложенные и перезаложенные.

Обыватели уверяли также, что эта самая еврейка или перуанка привезла с собой из заморских дворцов уйму жемчуга и бриллиантов, которые хранились в тайнике, устроенном в стене дома. Впрочем, версия эта никем и никогда не подтверждалась, хотя время от времени, когда кому-нибудь из жителей Вильябермехи удавалось внезапно разбогатеть, высказывались предположения, что этот человек обнаружил часть клада и, обманув бдительность заморской принцессы, хранившей его, присвоил себе или просто принудил принцессу отдать драгоценности при помощи каких-то дьявольских ухищрений.

Шепотом поговаривали о том, что на чердаке дома чутили не каждый день появлялось привидение в образе знаменитого командора Мендосы, того самого, который

побывал во Франции во время Великой революции. У него много было всяких трагических и таинственных приключений, в последние годы он вел несправедливую жизнь и за это вынужден теперь блуждать как неприкаянная душа, в белом одеянии и с красным крестом на груди, как и полагается рыцарю ордена Сантьяго. Многие утверждали, однако, что крест этот был без нижней перекладки: поскольку командор не заслужил милости божьей, он не имел права носить в загробной жизни исправный крест. Некоторые вообще считали, что на груди его был изображен не крест без перекладки, а самая что ни на есть настоящая кровавая жаба.

Местные либералы объявляли все это суеверным вздором, придуманным монахами с целью дискредитировать род Мендоса, члены которого принадлежали к либеральной партии едва ли не со времени императора Карла V, а один из них даже принимал участие в восстании коммунаров. Дон Франсиско Лопес де Мендоса, умерший в 1830 году, придерживался, следуя примеру предков, самых либеральных взглядов, за что подвергался гонениям с 1823 года и до самой смерти.

Некоторые лица из числа самых яростных антилибералов вроде нотариуса утверждали, что Лопес де Мендоса всегда вела себя буйно и враждовала с властью в течение всех трех столетий, и если их ныне терпят, то это из-за прошлых заслуг в войнах с маврами и из-за их нынешнего плачевного положения. Многие члены этой семьи уходили на службу к королю, рыскали по свету в поисках приключений, иногда совершали даже что-нибудь героическое, потом возвращались в родное селение с приличным состоянием и обязательно привозили с собой какую-нибудь иностранку в качестве законной жены. Любовь к беспокойной жизни оказывалась сильнее чувства враждебности к политическому устройству, и службу свою они несли превосходно, но в делах, требовавших спокойной хозяйской рассудительности, поступали опрометчиво, и, таким образом, вместе с падением мощи Испании, потерявшей Фландрию, Индии и Италию, семья Мендоса все больше и больше теряла доходы, расстраивала свои дела, дошла до предела и оказалась в самом незавидном положении.

Уже дон Франсиско, о котором мы упоминали, наделал кучу долгов, заложил многие фермы, а в период с 1820 по 1823 год продал и часть майората.

Его наследник, нынешний владелец майората, умудрился промотать весь оставшийся капитал, и на доходы уже нечего было рассчитывать.

Лица, враждебно настроенные к семье Мендоса, хотя и не до конца, но все же понимали и другим давали понять, что либеральный дух этого семейства был проявлением духа средневекового анархизма, весьма похожего на современный, что беззаботность и отсутствие благочиния, характерные для Лопесов де Мендоса, особенно заметно проявились по возвращении командора Мендосы из революционной Франции. Членам этого семейства оказалось чуждым то, что так высоко ценится в современную эпоху: умение вести дела, расчетливая практичность, направленная на увеличение своего состояния, то есть то, что ныне зовут индустриализмом.

Местные нувориши зло смеялись над непрактичностью членов семьи Мендоса, но простой люд как раз за это их и любил. Демократическая закваска обывателей и даже подобие вольнодумных идей, привитых им монахами, не породили враждебности ни к семье Мендоса, у которой ничего не было, кроме долгов, ни к самому князю, чей управляющий обходился по-божески и с народом и с местными Мендоса. Великодушный князь обретался в Мадриде, служил при дворе и полностью погряз в интригах. Весь праведный гнев бермехинцы обращали против новоявленных богачей, против тех, кто нажился на процентах за ссуды, на торговле вином, маслом, зерном. Они не принимали в расчет то обстоятельство, что многие из поносимых ими нуворишей своим состоянием улучшали общее благосостояние народа и нации. Очевидно, сказалось укоренившееся предубеждение, замешенное на зависти и подогретое впоследствии идеями, пришедшими из-за рубежа, которое состояло в том, что богатство, достигнутое одним человеком, не увеличивает общественного блага и весь процесс личного обогащения сводится либо к простому перераспределению этого богатства, либо к разбазариванию общественных накоплений. Старая пословица: «Богачи на небе — ослы, бедняки на небе — господа» пользовалась большой популярностью среди бермехинцев. Они произносили ее тоном угрозы, желая сказать этим, что предосудительная деятельность богачей будет строго взыскана на небе, если только здесь, на земле, не объявится какой-нибудь храбрый рыцарь и не упредит божьей кары.



Само собой разумеется, что так рассуждали не лучшие представители бермехинцев. В большинстве своем жители Вильябермехи — люди доброжелательные и разумные, спокойно и без всякой зависти наблюдающие возвышение нуворишей, тем более что способ, которым обогатились многие из них самих, не отличался нравственной чистотой.

Нувориши благосклонно относились к семье Мендоса, и на то были свои причины. Современная цивилизация, несмотря на многие социальные неурядицы, оказала благотворное влияние на все стороны жизни, и некоторые достижения культуры распространились во всех слоях населения. В семьях погонщиков мулов и поденщиков, которым удалось сколотить деньги и выстроить приличный дом, стала наблюдаться тяга к аристократизму: люди с гордостью начали вспоминать о том, что они происходят от храбрых военачальников, потянулись к церковным записям в надежде доказать, что род их по прямой мужской линии через серию законных браков восходит к какому-нибудь воину, пришедшему сюда вместе с первыми Мендоса, чтобы охранять замок и совершать разорительные набеги на мавританские владения. Отсюда рождалось ощущение всеобщего равенства и собственного достоинства, что не противоречило тому любовно-почтительному отношению, которое бермехинцы проявляли к дому Мендоса — живому монументу общей былой славы.

Вдова дона Франсиско донья Ана, хотя и была пришлой, жила в окружении самого заботливого внимания. Несмотря на возраст — ей было шестьдесят лет — и стесненное материальное положение, почтенная дама умело блюла высокую честь господского дома. Верховая лошадь ее покойного супруга содержалась в полном порядке в своей конюшне, где она и умерла от старости. В приемном зале заботливо хранились масляные портреты наиболее прославленных Лопесов де Мендоса; одни были изображены в блестящих доспехах, другие — со щитами из лосиной кожи, с пером в руках или с командорским жезлом; галерея придавала залу вид художественного салона. Старые слуги не увольнялись. И, наконец, ни одна из охотничьих собак не была продана: все таксы, спаньели и борзые умирали естественной смертью, от старости, причем многие из них дали удивительные примеры собачьего долголетия.

Как раз собаки, и в первую очередь спаньели, явились причиной, вызвавшей прилив дружеского расположения к семье Мендоса. Спаньели — большие лакомки и воришки, и тем более, если они содержатся на половинном или урезанном рационе. Вследствие этого спаньели Лопесов де Мендоса прославились в селении своей вороватостью и дерзкими набегами. Ни один хозяин не мог гарантировать безопасность хранящихся у него колбас, сосисок, ветчины, сала или мяса и никогда не мог на них рассчитывать. Несмотря на это собачьи проказы встречались снисходительными улыбками, и никаких жестких мер, чтобы пресечь их, не предпринималось. Доказательством тому может служить история, приключившаяся однажды с матерью лавочника, сеньорой лет под шестьдесят, которая слегла в постель от нестерпимых болей в желудке. На живот ей положили несколько коричневых бисквитов, смоченных в вине: в Андалусии часто применяют их в качестве домашнего лечебного средства. Запах бисквитов привлек спаньелей, а между тем больная была одна в комнате. И напрасно она отбивалась от них обеими руками. Не обращая внимания на протесты, спаньели бесстыдно стянули с нее одеяло и, вытащив без зазрения совести бисквиты из стол укромого места, полакомились сладким, ароматным компрессом. Соседи не успели помешать спаньялям принять это целебное снадобье внутрь. Зато могли лицезреть почтенную матрону в неподобающем и нескромном виде.

Надо сказать, что, несмотря на эти и другие проявления симпатии к донье Ане, симпатия эта несколько ослабевала из-за невольного, почти фатального недостатка нашей беспредельно вежливой сеньоры, который состоял в том, что при ее раздражительности, сдержанности и холодности трудно было входить с нею в близкие, доверительные отношения. Донья Ана сиднем сидела в своем доме-крепости, изредка принимала гостей, одаривая визитеров утонченным обхождением по всем правилам этикета.

Ее нельзя было упрекнуть в черствости или резкости, но в дружеские отношения она ни с кем не вступала, держалась замкнуто и недоступно.

В отместку за это некоторые дамы распространили злостные слухи о том, будто донья Ана была ведьмой, причем не какой-нибудь ведьмой-плебейкой с натираниями и полетами на шабаш, но ведьмой-аристократкой, которая

принимает в своей гостиниой чертей и неприкаянных душ высокого полета из благородных, в том числе и представителей рода Мендоса, вроде пленной мавританки или командорской жены перуанки, с которыми она водит компанию.

## II

### НА ЧТО Я ГОДЕН?

Пусть читатель не пугается названия этой главы: ни о каких богопротивных вещах я говорить не собираюсь. Я прекрасно понимаю, что в сложной и впечатляющей машине мироздания нет ни одной детали, которая не служила бы для какой-нибудь цели: все имеет свое назначение, все подчиняется совершенному порядку и всеобщей гармонии; чтобы убедиться в этом, достаточно сказать: мы видим потому, что у нас есть глаза, мы бегаем потому, что у нас есть ноги, или наоборот: потому что мы видим, у нас есть глаза, потому что мы бегаем, у нас выросли ноги и все остальное, что необходимо для бега. Даже такое понимание связи вещей и явлений дает достаточное представление о величии ниспосланных провидением законов. В доказательство можно привести следующий пример. Представим себе дух часовщика. Один понаделал массу колесиков, каждому определил назначение и цель, подогнал одно к другому, отрегулировал их ход, завел механизм, и он стал показывать время, отбивая каждый час. Другой взял кусочек металла и вложил в него идею движения и намерение показывать и отбивать время; эта идея и намерение возбудили все частички, из которых состоит металл, сделали их нечувствительными ни к вибрациям, ни к встряскам, заставили их расположиться относительно друг друга таким образом, чтобы они показывали время стрелками, боем, а то и музыкой или криком кукушки. Какой же часовщик лучше?

Заложенное в атомах неодолимое и неистребимое стремление принять такой порядок, который породил бы живые существа, умеющие бегать и видеть, либо находит туманное и таинственное толкование в одном из самых неясных учений самой метафизической религии, либо объясняется наличием некой идеи, развитие которой порождает мир, волю и разум высшего порядка, не менее великие, чем воля и разум отдельного индивида; они же дают нам

глаза, чтобы видеть, и ноги, чтобы бегать. Повторяю: наличие разума и воли, возникших от идеи, по существу снимает тезис о том, что глаза появились, чтобы видеть, ноги, чтобы бегать, а крылья, чтобы летать: напротив, мы должны верить, что в материи изначально заложено страстное желание летать, которое дает птицам крылья, желание бегать, которое дает нам ноги, желание видеть, которое дает нам глаза.

К счастью, чтобы ответить на вопрос «зачем все это нужно?», нам не придется залезать в такие дебри. Вопрос этот часто задавала себе донья Ана, имея в виду своего единственного сына, наследника майората. Тот же вопрос задавал себе сын: «Зачем я нужен? На что годен?» — и не находил ответа.

Не думайте, что он был хром, глух, немощен или глуп, этот самый наследник майората. Его духовные и физические силы были в полном порядке. Он был крепок, силен, здоров, и ему едва исполнилось двадцать семь лет. Однако ни донья Ана, ни ее сын не могли отделаться от навязчивого вопроса о том, зачем он нужен, и по-прежнему не находили ответа.

Чтобы читателю все это стало более понятно, начну немного издаleка.

Донья Ана была дочерью знатного дворянина из горного города Ронды. Достаточно сказать, что она принадлежала к знаменитому роду Эскаланте. Среди ее славных предков был один из основателей общества верховой езды. Героические подвиги членов этого общества, их великие заслуги в войне за наследство, в обороне Гибралтара, в сражениях за Росельон, в войнах за независимость стяжали славу и членам семьи доньи Аны; заслуги их в этих деяниях были неоспоримы.

Хотя донья Ана родилась и выросла в далекой горной Ронде, она получила утонченное воспитание не только по испанским понятиям, но, если хотите, и по понятиям европейским.

Учителем доньи Аны стал скромный французский священник из тех, что в числе многих эмигрировали из революционной Франции. Он преподавал ей свой родной язык, кое-что из истории, географии и литературы и сделал из нее чудо учености. Во всяком случае, по сравнению с другими испанскими женщинами той эпохи.

Однако вся эта ученая премудрость оказалась малопригодной для какой-либо деятельности, и когда ей исполни-

лось двадцать девять лет и возникла реальная угроза остаться старой девой, она уступила настояниям отца и братьев, страстно желавших пристроить ее, или, лучше сказать, избавиться от нее, и послушно вышла замуж за дона Франсиско Лопеса де Мендосу, который знатностью рода не уступал Эскаланте, был наследником майората, потомственным комендантом замка и крепости Вильябермехи, командором ордена Сантьяго и членом клуба верховой езды, как отец и все ее братья. Некоторые авторы утверждают, что Мендосы и Эскаланте уже до этого брака состояли в каком-то родстве, но для нашей истории это несущественно, и я опускаю подробности.

Донья Ана мужественно пошла навстречу судьбе, и, хотя бывала в Севилье и подолгу жила в Малаге и в Кадисе, она дала себя заживо похоронить в Вильябермехе. При этом — ни единой жалобы, ни малейшего намека на ту жертву, которую она принесла. Дон Франсиско, несмотря на свое дворянство, был груб, невежествен и вспыльчив. Терпением и кротостью донье Ане удалось немного обуздать его, отесать и цивилизовать. Между нами говоря, донья Ана не питала к своему мужу любви, если под любовью понимать некое возвышенное, поэтическое чувство, но зато ею владело высокое чувство долга, и она блюла честь мужа с истинно патрицианским достоинством. Словом, это была образцовая супруга. Однако два существенных обстоятельства заставляют несколько умерить наши похвалы чете Мендоса. Первое заключалось в том, что гордость доньи Аны, хотя и скрытая за внешней вежливостью, не позволяла ей относиться с должным уважением даже к своим родственникам, не говоря уже о прочих бермехинцах. Второе состояло в том, что дон Франсиско бешено ревновал свою жену, отличался подозрительностью и был, что называется, всегда начеку. Можно быть уверенным, что если бы дон Франсиско хоть что-нибудь заметил за нею, то месть была бы пострашнее, чем месть кальдеронского Тетрарки или шекспировского Отелло.

Если донья Ана не заслуживала особой похвалы как любящая жена, то она заслуживала ее без всяких скидок и оговорок за то чувство привязанности, которое рождается постоянным общением, за ту доверительность отношений, которая возникает при совместной жизни, за ту нежную дружбу, добровольное подчинение мужу, которое она испытывала и проявляла в его присутствии, ухаживая за ним, когда он болел, утешая, когда был расстроен,

умеряя гнев, когда был раздражен, разделяя его радость, когда он радовался.

Скука, эта прилипчивая, ужасная и коварная болезнь, часто поражающая женщин, была ей незнакома, ибо она хорошо умела занять свое время. Хотя она была воспитана на чтении Расина, Корнеля и Буало, ее привлекали и восхищали испанские поэты-концептисты, и в первую очередь Гонгора, Кальдерон и даже Монторо и Херардо Лобо. Ее любимыми прозаическими произведениями были «История Испании» Марианы, сочинения преподобного Палафокса, «Всеобщее критическое обозрение» и «Ученые письма» Фейхоо.

Она всегда была занята делом: если не читала, то шила или вышивала, занималась домом, где чистота и порядок скрашивали убогость обстановки и рассеивали впечатление тоскливого запустения.

После смерти дона Франсиско на ее долю выпала не легкая обязанность — воспитание единственного сына. Пока отец был жив, обучение велось по трем дисциплинам: верховая езда, стрельба из мушкета и прочие телесные упражнения. Когда дон Франсиско умер, мальчику было двенадцать лет, а он уже достаточно преуспел во всех этих занятиях.

Управляющим дома был старый слуга Респета. За величайшую уважительность, с которой он относился ко всему, что касалось до его хозяев и которой он требовал от других, его стали называть Уважай-Респета, и его сына — Уважай-Респетилья, хотя он не проявлял достаточного уважения к хозяйскому добру и не старался привить его другим. Респетилья был на шесть-семь лет старше наследника майората и в одном лице сочетал роль наперсника, оруженосца, слуги, няньки и наставника своего господина. Он научил наследника майората играть в орлянку, в карты, в лунку, бренчать на гитаре, петь душещипательные и веселые песни и рассказывать анекдоты. Донья Ана, в свою очередь, преподавала сыну историю. Больше всего его увлекала история Греции и Рима. Когда он не играл в карты или в орлянку, то мечтал: он воображал себя Сципионом, Милькиадом, Гаем Гракхом или Эпаминондом, о которых знал по испанскому переводу книги мосье Роллена.

После смерти мужа донья Ана ваяла сына под свой надзор, не желая уступать воспитание своего отпрыска Респетилье. Однако было уже поздно отстранять Респетилью и выкорчевывать из ума и сердца славного наслед-

ника майората все пороки и скверные привычки, свойственные деревенским сорванцам. Донья Ана вынуждена была довольствоваться попытками привить, скажем так, деревенскому сорванцу знания и чувства, которые сделали бы из него просвещенного человека и образцового кабалеро.

Так как дон Франсиско, несмотря на свою кастовую спешивость, был «черным», то есть принадлежал к отчаянным либералам, не любил Носача — так он называл Фердинанда VII, — он не мог спокойно думать о том, чтобы отдать мальчика в военное училище и готовить к придворной службе. Донья Ана полностью разделяла мнение своего благоверного, ибо обожала сына и не хотела с ним расставаться. Полагая также, что ему будет вполне достаточно доходов от майората, она не видела причины, почему он должен служить, тем более — думала она — что ни Эпаминонд, ни Гай Гракх, ни братья Сципионы никогда не были кадетами. Карьера военного казалась ей слишком прозябчивой, а погоня за каким-то генеральским чином — даже смешной; герои древности были ораторами, политиками, воинами, крупными помещиками: они то опоясывались мечом, то брались за перо, то облачались в тогу, то надевали кольчугу и шлем. Таким хотела видеть донья Ана своего сына и, хотя он был у нее один, считала, что он стоит двух, и воображала себя Корнелией.

Мечтая таким образом, донья Ана все же понимала пользу, которая могла происходить от какого-нибудь занятия, и по зрелом размышлении остановилась на карьере адвоката, но не за тем, однако, чтобы сын зарабатывал на хлеб составлением прошений, а затем, чтобы он изучил законы и мог изменить законодательство, если это потребовалось бы в интересах родины.

Наследник майората с помощью местного учителя так хорошо изучил латынь, что мог свободно переводить жизнеописания Корнелия Непота. Затем он поступил в соборную семинарию в главном городе своей провинции, где изучал философию у отца Гевары и всегда получал отличные отметки. Наконец он поступил в Гранадский университет по факультету права, где ему жилось весьма вольготно, так как в связи с разразившейся карлистской войной здесь не было больших строгостей. По этой причине большую часть университетского года наследник майората проводил в Вильябермехе. Потом пришли экзамены, кото-

рые он благодаря снисходительности профессоров хорошо выдержал.

Во время поездок наследника в Гранаду его сопровождал Респетиаль, и жили они там на широкую ногу. Иногда наследник приезжал в город на своей лошадке и держал ее там, чтобы иногда можно было покрасоваться перед публикой. Надо сказать, что в то время жизнь в Гранаде была очень дешевой, недаром Гранаду называли грошовым городом: за двадцать реалов в день можно было иметь комнату, стол, постель и полную службу, вплоть до ухода за лошастью.

Но и при таких расходах его считали расточительным, ибо студенты за полный пансион обычно платили не больше шести-семи реалов в день. За шесть реалов опрятная, миловидная хозяйка предоставляла завтрак, обед, ужин, постель, свет, воду и тысячу других удобств.

Наконец отпрыск славного рода Мендоса окончил университет, получил диплом лиценциата, а затем и доктора *in utroque*<sup>1</sup>. Донья Ана справила ему роскошную мантию и смастерила чудесную кисточку для шапочки.

Лучший гранадский миниатюрист за шесть дуэро написал на белом мраморе портрет наследника майората в мантии и в шапочке. Когда наследник, став доктором, вернулся в объятия матери, то привез ей в подарок портрет, вставленный в рамку черного дерева с бронзовыми украшениями. С того времени, как наследник майората, которого звали Фаустино, сделался еще и доктором, его стали величать доктором Фаустино.

Фаустино получил степень доктора в 1840 году. Он вернулся домой, начиненный иллюзиями и горя желанием отправиться в Мадрид, чтобы воплотить их в жизнь. К несчастью, его ученые познания были весьма расплывчатые, так же как и его иллюзии. Доктор знал много и ничего не знал толком. Он знал все, кроме законов, хотя они-то и должны были составлять основу его учености.

Ученая степень была чистой фикцией. «Зачем она нужна?» — спрашивали мать и сын. Не мог же он, дон Фаустино Лопес де Мендоса-и-Эскаланте, потомственный комендант крепости, командор ордена Сантьяго, член клуба верховой езды, потомок вереницы героев, приехать в Мадрид и пойти практикантом к какому-нибудь адвокату. Донья Ана и сам доктор признавали, что адвокатура —

<sup>1</sup> Обоих прав (лат.).



почтенное занятие; они знали, что Цицерон и Катон были римскими законоведами. Словом, никаких основательных доводов против профессии адвоката у них не было, но вместе с тем барская спесь, оказавшаяся сильнее разума, буквально кричала: «Дон Фаустино не будет адвокатом!». Кроме того, дон Фаустино чувствовал в себе достаточно сил и знаний, чтобы изобрести новые законы, но у него не хватало терпения, чтобы изучить во всех деталях и подробностях законы, составленные другими.

«Может быть, все же поехать в Мадрид и найти там какое-нибудь занятие?» — спрашивал себя дон Фаустино. Но к лицу ли служба знатному дворянину, командору ордена Сантьяго, да еще и доктору? Степень доктора мать и сын очень высоко ценили. Не стыдно ли домогаться должности с жалованием самое большое десять тысяч реалов? Ведь тогда он растворится в толпе плебеев или даже окажется ниже тех самых голодранцев, которые, не будучи ни докторами, ни комендантами, ни командорами, могут получать больше его и занимать более высокий чиновничий пост. Может быть, вступить на административную стезю по министерству юстиции? Но чего он там добьется даже при протекции министра и ценой унижений перед ним? Должности прокурора, или — в лучшем случае — председателя суда? Нет, это не для него. Он согласился бы на должность советника — не меньше. Но тогда нужно отправляться в провинцию. А коли так, то лучше уж оставаться в своей деревне, где у него родовой дом, рядом с замком, комендантом которого он является, где имя его почитается, где люди с уважением взирают на его гербы, где он мог бы стать — если бы судьбы мира не изменились столь резко — полным властелином, чиня над спонси подданными суд и расправу, раздавая им милости и награды.

Может быть, заняться литературой? У него есть к этому наклонности. Но можно ли в Испании жить литературным трудом? В этом отношении дон Фаустино разделял мнение Альфери — писателя, почти равного ему по происхождению. Поэт, изображающий идеальную красоту в чувственных формах, ученый, открывающий людям истину, не могут думать о вознаграждении и не должны искать покровителей среди вельмож или домогаться признания черни. Домогаясь покровительства, они неизбежно попадут в сервильную зависимость, будут профанировать искусство, позорить высокое звание художника и превратятся

в низких льстецов, подлаживающихся к вельможам и к толпе. Подумал он и о том, что, унижаясь и подлаживаясь под вкусы толпы и меценатов, он, конечно, обретет читателей, и они станут ему платить за то, что он пишет. Из этого двусмысленного положения он выйдет так: будет писать для грядущих поколений и не станет подделываться под сиюминутные требования, вкусы, моды или капризы. Но так как от грядущих поколений платы не дождешься, то он соглашался с Алфьери в том, что хлеб насущный можно добывать механической работой, а писать надо не для экономических выгод, но для бессмертия.

Не раз ему приходила в голову идея сделать журнал-листом. Он считал, что это будет хорошей школой, которая позволит ему разом стать и государственным деятелем и писателем. Но ведь ему придется потакать прихотям своеговольного издателя, который непременно окажется грубияном, неучем и невеждой. И кроме того, неужели он, комендант замка и крепости, рыцарь ордена Сантьяго, отпрыск древнего рода, имеющий тысячу заслуг и званий, позволит какому-то шарлатану, у которого завелись деньжата, подкупить его за двадцать — тридцать дуру в месяц и заставить писать то, что подходит какой-то газетенке? Но прежде чем он будет принят в редакцию, ему придется пройти испытательный срок (доктор приходил в ужас и вздрагивал при одной этой мысли), корпя над переводами, разбором иностранной корреспонденции, вырезывая дурацкими ножницами дрянные статейки из чужих газет, подклеивая вырезки при помощи полос от почтовых блоков и собственной слюны. Нет, занятие журналистикой не для доктора Фаустино.

Над всем этим мать и сын раздумывали несколько месяцев, судили и рядили, кем мог бы стать доктор, чему он должен посвятить себя, на что годен, и не находили решения. Однако оба сходились на том, что доктор Фаустино все может — лиха беда начало. Но для начала нужны деньги. Эти дорожные деньги для первых шагов к славе, для того, чтобы подняться над толпой и обнаружить перед всем миром свои таланты, как раз и трудно было раздобыть.

Ехать в Мадрид без средств было рискованно. Не мог же доктор полагаться только на бога и надеяться на то, что в редакции газеты, в министерстве или в конторе адвоката ему помогут деньгами, пока он не выбьется в люди.

Имение семьи Мендоса давно было расстроено. Дон Франсиско своей бесхозяйственностью совсем его разорил.

Хотя дон Франсиско любил и уважал донью Ану, рыцарские страсти, а может быть, и мужское тщеславие повлекли его в любовные отношения с некой нимфой по прозвищу Бусинка, а позже с другой нимфой, по прозвищу Гитара. Ни Гитара, ни Бусинка не ходили в браслетах, не носили жемчугов и бриллиантов, не шили платьев у дорогих портных, не разъезжали в каретах, но у каждой из них была куча родственников — дяди, тети, братья, сестры, племянники, и все они тянули из имения вино, масло, колбасы, мясо, зерно. Кроме того, Бусинка и Гитара довольно хорошо одевались по местным понятиям. Все это, конечно, поглощало много средств.

Дорого обходились и прихоти дона Фаустино во время его пребывания в Гранаде, где он имел постоянное место в театре, играл и проигрывал в карты, заказывал себе не только фраки и сюртуки, но сшил у лучших портных несколько щегольских нарядов и две униформы: костюм для верховой езды и форму офицера конных копеечников национальной милиции. Офицерская форма стоила безумных денег, ибо была очень замысловата и живописна. Чтобы раздобыть средства, пришлось изворачиваться.

Когда готовилась экспедиция Гомеса в Гранаду и были стянуты части национальной милиции, командующий сделал дона Фаустино своим флигель-адъютантом; таким образом, к униформе прибавилась полевая сумка, свисавшая на блестящих ремнях. Сумка была сделана из коричневой лакированной кожи и блестела как зеркало. Бесчисленные шнуры и масса золотых позументов выглядели весьма эффектно и стоили дорого. Польский кивер с ослепительно белым плюмажем, устрашающего вида сабля и копье на плечевом ремне тоже стоили немалых денег.

Дон Фаустино не мог не знать, что костюм для верховой езды, оба щегольских платья, состоящих из куртки с многочисленными украшениями и кафтана, сияющего всеми цветами радуги, башмаков из телячьей кожи, изготовленных искусными мастерами-арестантами Малаги, штанов с золотыми застешками работы кордовских умельцев, не были в большом ходу в то время и производили странное впечатление на мадридцев, но он должен был также знать, что на эти наряды истрачена уйма денег, а он читал у какого-то экономиста, а если не читал, то мог бы и сам сообразить, дойти своим умом, что деньги необходимы

человеку с того самого момента, когда человек начинает жить в обществе.

У дона Фаустино эта нужда в деньгах увеличилась с того момента, как он стал готовиться к переезду в Мадрид, где жить было труднее, чем в провинции. Там имело значение, как и в чем будет появляться в свете наследник майората дон Фаустино Лопес де Мендоса. Тем более что в аристократические салоны его будут вводить как своего родственника маркизы, графини, подруги и родные его матери.

Мать и сын подумывали иногда, не поехать ли дону Фаустино в Мадрид инкогнито: скрыться под чужим именем, а потом, когда у него заведутся деньги или он сделает блестящую карьеру, отличаться чем-нибудь, что-нибудь сочинит и опубликует, он сможет объявить свое настоящее имя. Однако эта дерзкая идея была оставлена, как неосуществимая.

Ехать в Мадрид под своим именем было не меньшей дерзостью, но нужно было дерзать. Вино, главное богатство имения, стоило дешево: песета за арробу. При таких доходах трудно быть комильфо. При самой строгой экономии расходы в столице составят огромную сумму в восемьдесят дуо ежемесячно. Восемьдесят дуо — это значит четыреста песет, то есть четыре бочонка вина, а в год — сорок восемь бочонков, или около пяти тысяч арроб, — целое море первосортного вина, весь годовой урожай, причем урожай хороший. Если все это будет истрачено в Мадриде, то из чего же платить налоги? Как рассчитываться с рабочими? Как погасить огромные проценты по закладу недвижимого имущества? *Hic opus, hic labor est*<sup>1</sup>, как сказал Вергилий.

И все же дон Фаустино не отказался от поездки в Мадрид: он готов был пуститься в плавание по бурному морю и одолеть все трудности, твердо веря, что завоюет — хотя и не знал, как это сделает, — славу, богатство и всеобщее признание. Мысль о том, что многие добивались успеха с еще более скромными средствами, подстегивала его самолюбие. Ни один из видов амбиции не был ему чужд, и он чувствовал себя как бык, искусанный оводами.

В ораторском искусстве он надеялся превзойти простака из Афин Демосфена, ибо сам в совершенстве владел всеми красотами стиля, которые так ценятся в наш век риторики.

---

<sup>1</sup> Здесь работа, здесь и труд (лат.).

И действительно, никто так ловко не умел подражать своему университетскому учителю — лучшему оратору Гранады — в составлении судебных речей. Выступления учителя по процедурным вопросам гражданского и уголовного права были насыщены умопомрачительными по красоте и образности оборотами. Судите сами: «Господа, — говорил он, — обычное гражданское право — это кристально чистый ручеек, берущий начало в благодатном гроте права любой личности. Он тихо несет свои воды по прелестной долине, покрывая ее изумрудной эмалью, и счастливо достигает своей цели, оплодотворяя древо абсолютного права. Напротив, исполнительное производство — это бурный поток, который, срываясь с высокой вершины неумолимых судебных действий, все сметает на своем пути и низвергается в глубокий ров, опоясывающий, защищающий и делающий неприступной крепость священной собственности». Выступая в судебных заседаниях, он был особенно красноречив. Дидактические цели не могли умерить его порыв, прервать полет, и он устремлялся в заоблачные выси, ловко комбинируя образность с патетикой. Об одном своем клиенте, когда-то богатом человеке, ставшем по необходимости парикмахером, он высказался так: «Этот несчастный, видя, как тонет его состояние, вынужден был ухватиться за черенок бритвы». Эта фраза вызвала аплодисменты публики и даже слезы. Хотя дон Фаустино не был склонен по природе своего ума к подобным метафорам и красивостям, все же чувствовал, что если постарается, то сможет затмить своего учителя.

Поэзия была больше всего по душе дону Фаустино. Он жил в эпоху романтизма и был яростным романтиком. Все его стихи были пронизаны отчаянием и личными мотивами, то есть говорил он только о себе. Наш поэт не сочинил ни одной поэмы, ни одной драмы, но был способен настрочить целые тома Фантазий, Размышлений, Стенаний, Восточных мотивов и Фрагментов. По его словам, форма мало его заботила, главное для него было мысль и страсть, но все же он напридумывал много редких и неожиданных рифм, смело комбинировал размеры: иногда в одном стихотворении у него чередовались односложные, двухсложные, трехсложные и даже двадцатисложные размеры, потом он снова возвращался к односложным и т. д., отчего стихи получались разноречивыми, со странной, замысловатой архитектурой. Однако, обладая критической жилкой и будучи строгим к себе, он обращал критику

и против себя. Конечно, он считал себя способным стать сверхпоэтом, поэтом-гением — тут и говорить нечего, — но все же критический разбор собственных стихов давался ему легче, чем проникновение в потемки собственной души. К чести бедняги доктора нужно сказать, что он сильно сомневался в достоинствах уже созданных им стихотворений.

Несмотря на приверженность к романтизму, в нем сидел этакий нудный, педантичный классицист вроде Моратина Младшего, который жужжал ему прямо в ухо и сбивал с толку: «Ах, друг мой Пипи! Лучше уж быть официантом в кафе, чем дрянным поэтом». Может показаться невероятным, но наш доктор ни в грош не ставил свои вирши и не спешил их публиковать, не будучи уверенным в их достоинствах и надеясь, что создаст когда-нибудь настоящие стихи.

Только одна строка, которую он часто повторял про себя, была достойна его таланта: «Я чувствую, как в голове моей зажегся хаос!». Страшное признание! Фраза эта отражала ужасный хаос докторских идей и мыслей.

Иногда ему казалось, что он ровно ничего не знает, ничему не научился и вообще ни на что не годен: не мыслитель и не практик. Но чаще он думал иначе: думал, что все познал, все понял. Однако это его не радовало, а скорее угнетало.

Неужто я все познал, и книги больше ничему меня не научат? Неужели все, что я читаю, вздор? Может быть, между знанием и незнанием нет разницы? Может быть, все, что я знаю, это только отзвук, эхо, проявление того, что уже заложено в моем сознании? Значит, писатель всего только переиначивает по своей методе существующую концепцию мира. Выходит, я знал эту концепцию до того, как прочел о ней в книгах. Но я как раз жажду узнать то, чего не могу найти в книгах.

Всякий раз, когда мысли принимали подобный оборот и ему казалось, что он уже наполнен до краев, перенасыщен знаниями и они ему обрыдли, его охватывало страстное желание общаться с высшими существами, знающими больше простых смертных, и уже с их помощью проникнуть в тайны видимого и невидимого мира.

Доктор Фаустино считал себя таким благородным и важным, что не мог объяснить, почему духи относились к нему столь пренебрежительно, и чувствовал себя оскорбленным. Однако духи действительно не откликались на его

заклинания и не общались с ним. Можно было подумать, что доктор помешался. Но нет: он не был безумцем, хотя часто пребывал в состоянии крайнего возбуждения.

Отрешившись от беспочвенных спекуляций, он снова возвращался на землю и начисто забывал о всякой чертовщине, ибо не верил, что найдется какой-нибудь другой дьявол-простофиля вроде Мефистофеля, который просто так, задаром предоставит деньги, удовольствия, славу, богатство и любовь ему, Фаустино, почти тезке знаменитого Фауста. Он хотел достигнуть всего этого сам, не надеясь ни на черта, ни на дьявола, ни на науку, ни на поэзию, а рассчитывая только на житейскую изворотливость. В глубине души он презирал ее, но в то же время его угнетало сомнение: хватит ли у него этой изворотливости?

Чтобы избавиться от этого сомнения и поверить в свои силы, ему нужно было поехать в Мадрид; оставаться дольше в Вильябермехе было невозможно. Доктор часто разговаривал об этом с матерью.

— Какие же у тебя планы? — спрашивала почтенная сеньора.

— Никаких.

— Хочешь заняться адвокатурой?

— Ни за что.

— Может быть, выгоднее избрать карьеру журналиста или поступить на службу?

— Тоже не годится.

— А поэты зарабатывают что-нибудь?

— Не знаю, могу ли я стать настоящим поэтом, но даже лучшие поэты зарабатывают мало либо совсем ничего не зарабатывают.

— Впрочем, чтобы заниматься поэзией или прозой и составить себе имя, можно и не уезжать отсюда. Не так ли?

— Разумеется, — соглашался доктор.

— Тогда оставайся здесь, не покидай меня одну. Я так тебя люблю.

И доктор уступал уговорам и просьбам матери. Он понимал, что в Мадриде весь его капитал испарится за каких-нибудь полгода и тогда хоть милостыню проси. Думая об этом, он опускал голову и печально улыбался.

Оставшись один, Фаустино спрашивал себя: «На что я годеи?» и приходил к заключению, что, кажется, он ни на что не годеи.

Мать, оставшись наедине с собой, рассуждала примерно так: «Мой сын прекрасен телом и душой, он мил, любезен, у него большие способности (это я говорю не потому, что он мой сын), но он такой странный, такой фантазер. На что он годен? Боюсь, только на то, чтобы терзаться сомнениями».

### III

#### ПЛАН ДОНЬИ АНЫ

Прошел год после того, как Фаустино получил степень доктора. Год прошел в мечтах о Мадриде, но он все не ехал, ибо средств по-прежнему не было. Целый год был заполнен диалогами и монологами вроде тех, что мы приводили в предыдущей главе.

Мантия, шапочка с кисточкой и прочие знаки докторского отличия, роскошная униформа офицера копейщиков и не менее роскошный костюм члена клуба верховой езды томились в шкафу, где им грозила опасность быть траченными молю. В том же положении пребывали сюртуки и фраки; щегольские наряды висели втуне, ибо доктору некуда было ходить, незачем наряжаться. Будучи человеком опрятным, он проявлял, однако, полное небрежение к одежде и ходил в платье, которое мало приличествовало доктору и аристократу: он носил куртку, широкополую шляпу, а зимой еще и плащ.

К беднякам он относился мягко, сострадательно, любезно, и мелкий люд отвечал ему на это своей любовью. Зато местные богатеи ненавидели его и позволяли себе насмехаться над ним. Он не наносил им визитов, не посещал казино, ни одна хорошенькая девушка не слышала из его уст любовного признания.

Больше всех его ненавидели дочери нотариуса — две девицы, мнившие себя красавицами и аристократками. Выражаясь по-местному, они много о себе понимали. Их отец, дон Хуан Крисостомо Гутьеррес, был очень богат, ибо, получая недурное жалованье, промышлял ростовщичеством. Обе дочери, Росита и Рамонсита, выглядели настоящими принцессами. Они выписывали себе дорогие наряды не только из Малаги, но и из Мадрида. На людях они вели себя так важно, с таким апломбом, что когда в селении обосновался наряд гражданской жандармерии, то обыватели за немением лучшего образца для сравнения — кто же



может быть более импозантным и почитаемым, чем жандарм? — дали обеим дочерям общее прозвище Жандарм-девицы, под которым они известны и по сию пору.

Жандарм-девицы безудержно злословили по поводу несчастного доктора: называли его достославным Пролетарием и доном Нищим, а ввиду того, что от его адвокатского звания не было проку — Холодным Адвокатом.

Доктор никогда не появлялся на прогулках, которые совершались на площади, а предпочитал шататься в одиночестве по безлюдным дорогам и тропинкам. Особенно он любил забираться на холм Аталайю, где находились развалины древней сторожевой башни. Оттуда открывался прекрасный вид на поля, тянувшиеся до самого горизонта. Каменистый холм был почти лишен растительности, если не считать чахлах кустиков дрока, розмарина и тмина. В расселинах камней кое-где пробивались дикие ирисы, какие-то темно-лиловые цветы с одним-единственным лепестком — их называют здесь светильниками — и спаржа. Это дало повод Жандарм-девицам для нового прозвища: они стали величать доктора граф Спаржа Аталайский.

Нашлись люди, которые поведали ему об этом, но доктор был неуязвим и даже не удостоил насмешниц ни улыбкой, ни ответной шуткой. Он был целиком поглощен своими невеселыми думами и заботами — философского свойства и чисто практического.

Его философские размышления сводились к тому, что он познал все, что человеческое знание — пустяк, что почти он хоть миллион книг — ничего не изменится. Он мечтал о том, чтобы обрести спокойствие духа. Но этого можно было достигнуть в любом месте: в Вильябермехе, в Париже, в Лондоне. Таким образом, мысль о поездке в Мадрид сама собой отпадала.

Однако, поскольку он этого не достиг, то все желания, томления, вожеления, свойственные молодому человеку в двадцать с небольшим лет, завладели его сердцем и побуждали ехать в Мадрид. Жажда любви, удовольствий, честолюбивые мечты, стремление прославиться, стать знаменитостью, снискать благосклонность и любовь прекрасных дам, блестящие салоны, где он привлекает всеобщее внимание, таинственные будуары, двери которых завешаны роскошными фламандскими коврами, аплодисменты, которыми публика встречает его великолепные стихи и речи, достойные его гранадского учителя, восхищение кавалеров и дам при виде того, как он гарцует в Прадо на горячем



скакуне, — эти и тысячи других картин проносились в его голове и выбивали из привычной колеи. Унизительная бедность рушила воздушные замки. И доктор чувствовал себя несчастнее самого принца Сихисмундо. Действительно, видеть себя запертым в Вильябермехе из-за постыдной бедности было еще более унижительно, чем оказаться в клетке по злой воле отца-тирана. Уединившись у себя в доме или спрятавшись от людей на холме, в зарослях спаржи, дарованных ему дочерьми нотариуса, он читал, вникал в смысла и упивался горечью прекрасных децим:

Хочу испытть, о небо...

«Как жаль, — думала донья Ана, — что мой сын не может подавить в себе честолюбивые желания и навсегда остаться подле меня. Разве будут его любить больше, чем я? Разве станут его так же уважать и почитать, как уважают и почитают его наши верные старые слуги и эти несчастные, но честные поденщики? Ну, где еще он

услышит такие ласково-почтительные и искренние слова: «Да хранит вас бог, хозяин», «Благослови вас бог за вашу доброту, сеньорито». И его доброе «с богом, друзья мои» завоеует ему здесь большую любовь, чем все речи, стихи и романсы, которые он сочинит в Мадриде. Правда, чего ему здесь не хватает?» Так рассуждала донья Ана и посвоему была права. Родовой дом только снаружи выглядел мрачной развалиной, зато внутри было просторно и удобно. Донья Ана располагалась во втором этаже, доктор жил совершенно отдельно — в нижнем.

Здесь был просторный зал; вдоль стен стояли старинные кресла орехового дерева, обитые тисненой кожей и украшенные бронзой; на стенах висели золоченые канделябры, портреты славных предков, писанное маслом родовое древо; посередине располагалась жаровня из блестящей латуни и стол, уставленный ароматницами, кувшинами и китайскими вазами. Другой зал предназначался для гимнастических упражнений. На полу лежал мат, с потолка свисала трапеция, в одном углу можно было видеть учебные сабли, рапиры, провололочные маски, панцири, латные рукавицы, в другом — охотничьи сапоги, гири для выжимания.

Третий зал был отведен под библиотеку и кабинет для занятий. Несколько шкафов крашеного дерева были заставлены книгами разного содержания и происхождения. Те, что привез с собой из Франции продавшийся дьяволу командор Мендоса, неприкаянная душа которого обрелась на чердаке, были нечестивыми: Вольтер, энциклопедисты и прочие. Те, что служили для образования и воспитания доньи Аны, приобретенные большей частью у французского священника, были своеобразным противоядием вольнодумным книгам командора Мендосы. Тут можно было найти благочестивые сочинения Бержье и других защитников церкви, произведения Фенелона, Массильона и Боссюэ. Отдельно хранились книги по юриспруденции и огромное количество томов испанских авторов, от знаменитых «Посланий» епископа из Мондоньедо до великолепных стихов священника Фруимского, и, наконец, книги по медицине, химии, физике и другим естественным наукам, которые доктор купил у вдовы ученого медика, умершего от холеры в 1834 году.

В спальне у доктора стояла еще одна полка; здесь были любимые поэты: от Гомера до Сорриальи, Эспронседы и Ароласа.

В нижнем этаже была комната, где доктор проводил большую часть времени, особенно зимой. Она называлась нижней господской кухней, но не потому, что в ней что-то готовили, а потому, что там стоял огромный камин с пирамидообразным кожухом. Камин был так велик, что в него можно было одновременно запихнуть целое бревно, множество жмыха и несколько охапок сухой виноградной лозы, что часто и делал доктор. Стенки сильно выступали вперед, и по обеим сторонам камина удобно размещались кресла с подлокотниками. В одном из них доктор проводил долгие часы за чтением или просто размышляя. Тут же был стенной шкаф, дверца которого откидывалась сверху вниз и, опираясь на подставки, образовывала подобие конторки, куда можно было положить бумагу, книги, поставить чернильницу.

В другое кресло обычно усаживалась донья Ана, когда хотела поболтать с сыном. Общество дополняли стареющие спаньели, борзые и гончие, располагавшиеся у очага полукругом.

Кухня была не лишена своеобразного очарования: деревенская простота сочеталась здесь с некоторой изысканностью. На кожухе камина красовался герб рода Мендоса. На одной стене висело несколько клеток с певчими птицами, на другой — мушкеты, охотничьи ножи, пистолеты и другое оружие, и повсюду — головы оленей, лисиц, волков и куниц. Чучела не отличались хорошей выделкой. Это свидетельствовало о том, что здесь висели охотничьи трофеи, а не украшения, купленные в лавке.

Все это доставляло удовольствие владельцу, а между тем он рвался в Мадрид. Но разве в захудалой гостинице он может рассчитывать на такую роскошь и комфорт!

Несмотря на свою бедность, хозяева ели совсем недурно. На рынок, слава богу, ходить надобности не было, в доме в изобилии имелись продукты земледелия и животноводства: старое доброе вино, сочные окорока, колбасы, сосиски, вяленое мясо и горы другой снеди, заготовленной доньей Аной. В их хозяйстве были две голубятни: одна — в башне родового дома, другая — на ферме; на той же ферме стояло несколько десятков ульев с душистым медом, росло множество плодовых деревьев, на скотном дворе резвились куры, индюшки, утки, выкармливаемые отходами пшеницы и прочим зерном.

Все это, несмотря на долги и материальные затруднения, содержалось в полном порядке благодаря бережли-

ности, экономии и зоркому глазу доньи Аны. В доме ничего не пропадало даром: ветхую мебель не выбрасывали, старые матрасы, простыни, одеяла и полотенца чинили и латали, увеличивая срок их службы. Донья Ана немало трудилась, чтобы подольше сохранить беле, и не жалела благоухающей лаванды. И все же доктор жаждал покинуть дом и отправиться на поиски приключений.

Всю зиму донья Ана думала об этом, вела деятельную переписку, не посвящая в нее сына. Наконец однажды вечером — это было весной, — когда мать и сын были одни в зале со старинной мебелью, портретами предков и картиной, изображавшей родословное древо, донья Ана обратилась к сыну со следующими словами:

— Послушай меня внимательно: я хочу говорить с тобой о весьма важном деле.

Доктор, устроившись в кресле против матери, приготовился слушать с почтительным вниманием.

— Я с горечью замечая, что ты несчастлив здесь со мною, и очень от этого страдаю. Конечно, тебе здесь покойно и удобно, но нет того, что могло бы удовлетворить твоё честолюбие, жажду славы и любви. Я не упрекаю тебя за то, что ты хочешь меня оставить. Это естественно. Но согласись: ехать в Мадрид без гроша в кармане было бы чистым безумием. Когда говорят «бедность не бесчестье, но болезнь похуже проказы», то желают сказать этим, что жестокая нужда может толкнуть даже благородного и порядочного человека на низкий поступок, чего я, разумеется, не пережила бы. Поэтому я нашла средство. Ты можешь ехать в Мадрид без риска окончательно там разориться и погибнуть.

— Какое же это средство? — взволнованно спросил доктор Фаустино.

— Сейчас объясню, — отвечала мать. — Тебе известно, что в городе \*\*\*, в четырнадцати лигах отсюда, живет моя горячо любимая кузина, донья Арасели де Бобадилья. Хотя ей за шестьдесят, все зовут ее барышня Бобадилья. Это потому, что она не нашла в свое время жениха, достойного ее руки и сердца. Твоя тетка живет на широкую ногу: дает балы, устраивает в деревне корриды по случаю ярмарок и празднеств. Не позже, чем через неделю, ты получишь от нее приглашение на один из таких праздников и можешь пробыть там, сколько тебе вздумается.

— Какая же мне выгода гостить у тетки и присутствовать на празднике?

— Имей терпение: сейчас все объясню. У барышни Бобадильи есть брат дон Алонсо, владелец богатого майората. Он хороший хозяин и сумел увеличить доходы благодаря разумной обработке земли и успехам в разведении скота. Дон Алонсо живет в том же городке, что и Арасели; лет пятнадцать тому назад он овдовел; у него есть восемнадцатилетняя дочь Констансия, красавица и умница выше всяких похвал, к тому же она так добра, добродетельна и скромна, что даже злые языки ее хвалят.

— Ну и что же?

— Скажу без обиняков. Я договорилась насчет твоей женитьбы. Отец ее боготворит, а у него миллионное состояние.

— Значит, вы хотите сделать из меня Кобурга?

— А почему бы и нет? У тебя будут деньги, которые дадут тебе крылья. Ты поднимешься так высоко и так высоко вознесешь свою жену, что она никогда не пожалеет, что дала тебе эти крылья. Девушка знает тебя по портрету, где ты выглядишь так славно в мантии и в шапочке. Кузина Арасели, которая показывала ей портрет, пишет, что ты ей очень понравился.

— Я рад, матушка, очень рад, но понравится ли она мне?

— Ты познакомишься с ней, присмотришься. Тебя никто не неволит. Еще ничего не решено. Возможно, дону Алонсо кое-что известно о наших



планах, но он делает вид, что ничего не знает. Вы еще не обручены. Вы увидите, познакомитесь и, если не понравится друг другу, расстанетесь — тоже не беда.

— Да, но я потеряю время, силы, деньги на поездку, — возразил доктор. — Может быть, отказаться, пока не поздно?

— Но я обещала, что ты приедешь. Так что не подводи меня.

— Если вы обещали, я еду. Ничего не поделаешь.

— Ну вот и хорошо. Я предчувствую, что ты как мальчишка влюбишься в Констансию. О ней я не говорю: Арасели пишет, что она горит желанием увидеть тебя. Верный признак, что готова к свадьбе.

— Если Констансия мне пригласится и если она так богата, как ты говоришь, то мы поладим.

Поскольку в том городке, куда ехал Фаустино, не было университета, знаки докторского отличия — мантия и шапочка с кисточкой — были ему не нужны.

Наступил день отъезда. Мать и сын нежно обнялись и простились. Доктор отправлялся на своей лошадке, украшенной богатой сбруей. На нем было дорожное платье: куртка, брюки с кожаными лямками, широкий пояс. Респектиль, исполнявший роль оруженосца, ехал на сером муле и одет был чуть похуже. Шествие замыкал другой слуга с тремя мулами, запряженными дугом, навьюченными багажом и массой подарков для доньи Арасели и для самой доньи Констансии: тут было ореховое печенье, миндальные пирожные, слоеные пирожки, домашняя пастила, фруктовые соки в бутылках, залитых сургучом, виноградный сироп, рыбы паштеты, компот из айвы и множество других вкусных вещей, которыми славится Вильябермеха.

Путешественники отправились в дорогу спозаранку, но отъезд их не прошел незамеченным: любопытные Жандарм-девицы, постоянно торчавшие у окон, наблюдали за ними из-за жалюзи балкона. Выехать из селения, минуя дом нотариуса, было невозможно.

— Росита, — обратилась Рамона к сестре, увидев доктора, — ты не знаешь, куда это направился граф Спаржа?

— На завоевание более плодородных и доходных земель, — ответила Росита.

Доктор услышал эти слова и покраснел как маков цвет. Он подумал, что они знают, куда и зачем он едет, и потому смеются над ним. Но Жандарм-девицы ничего не знали.

#### IV

### ДОНЬЯ КОНСТАНЦИЯ ДЕ БОБАДИЛЬЯ

Четырнадцать лиг, отделявших доктора Фаустино от его тетки Арасели, остались позади, и никаких происшествий не случилось.

Караван, вернее — праздничный сватовской поезд, ночью сделал остановку в придорожной гостинице в десяти лигах от Вильябермехи. Там они поужинали жареными цыплятами с рисом и перцем, которые показались им особенно вкусными после утомительного пути, и свежими сардинами, купленными у торговца из Малаги, оказавшегося, к счастью, в той же гостинице. Сардины, зажаренные на углях, были действительно вкусны и возбуждали жажду. Доктор, его оруженосец, слуга и торговец из Малаги, которого тоже пригласили к ужину, по-братски, как в старину, разделили трапезу за одним столом и изрядно выпили из докторского бурдюка. Потом, растянувшись на матрацах, набитых сеном, и приладив в изголовье конскую упряжь, постояльцы блаженно заснули.

Едва занялась заря, а господин и его слуги были уже на ногах. Слуги, несмотря на ночное возлияние, заморили червячка, начав с двойной порции анисовой водки, а господин выкушал чашку шоколада.

Вытряхнув матрасы, заплатив за постой, приготовив лошадь и мулов, путешественники снова отправились в дорогу. Звезды уже побледнели в рассеянном свете занимающегося зарей неба.

Было чудесное весеннее утро. Слышалось пение щеглов, соловьев, свист ласточек. Воздух был прозрачен и чист, свежий ветерок и розовый свет неба радовали душу и тело. Даже с доктора слетела его обычная меланхолия.

Когда путь долог, ехать по дороге скучно, и караван то и дело сворачивал, двигался по узким тропам и тропинкам через оливковые рощи, минуя луга и фермы, то следуя вдоль ручья, то взбираясь на холмы и кручи.

Респетилья ехал впереди и хорошо выбирал дорогу, за ним — доктор Фаустино. Далее следовал слуга с упряжкой из трех мулов, навьюченных багажом и подарками. Доктор ехал, ни о чем не думая, в каком-то блаженно-рассеянном состоянии.

Солнце уже взошло. Путники проехали еще несколько лиг. Было десять часов утра. Тут доктор спустился с облаков на землю, очнулся и вспомнил о завтраке.



— Надо немного проехать, там будет источник с хорошей водой и тень. Если вам угодно, тогда мы и позавтракаем, — сказал Респетилья.

И действительно, скоро они увидели источник, спешились, расположились в тени развесистого дуба и закусили холодной бараниной, крутыми яйцами и сочной ветчиной. Огромный бурдюк, сильно похудевший еще прошлой ночью, совсем отошел, и бока его слиплись.

Читатель может посетовать на меня за то, что я так долго и подробно описываю, как путники ехали, спали, ели. Читатель хочет, вероятно, чтобы я поскорее закончил описание путешествия и перенес моего героя в дом доньи Арасели. В оправдание свое скажу, что когда доктор Фаустино позавтракал и снова отправился в путь, то, уже приближаясь к селению, где он намеревался заключить брачный союз, который мог существенным образом переменить его судьбу, он пустился в размышления столь важного и решающего свойства, что я должен рассказать о них хотя бы вкратце. Поэтому я воспользуюсь некоторыми подробностями, может быть излишне пространными, о которых мне поведал дон Хуан Свежий. Их так много, что я не буду отягощать историю собственными домыслами и ограничусь кратким изложением самого главного, ибо не хочу прослыть многословным.

Но прежде всего необходимо остановиться на одном пункте, до которого мы еще не касались. Читатель уже составил себе представление о духовном и моральном облике доктора, но почти ничего не знает о его внешности.

Он был высок ростом, сухоощав, крепок и светловолос, правда, без всякой рыжеватости, столь характерной для бермехинцев. Хотя доктор жил в эпоху разгула романтизма, он не стал отращивать длинную шевелюру, но и не стригся коротко, что давало возможность видеть и любоваться природными, мягкими как шелк, завитками. В нем блестяще проявилось одно из выдающихся качеств, которое этнографы считают исключительной принадлежностью арийцев: он был *euplocamos*<sup>1</sup> по преимуществу. Его светло-золотистая борода была довольно густа, а усы, которых не касалась бритва, были мягки, как юношеский пушок. Лоб чистый, открытый, нос с небольшой горбинкой, маленький рот, великолепные зубы, белая матовая кожа, нежная как у женщин, с румянцем на щеках, и огромные

---

<sup>1</sup> Пышнокудрый (греч.).

синие глаза, полные томной меланхолии. Словом, все находили, что юноша недурен собою, хотя несколько застенчив. Правда, он отлично держался в седле и больше был похож на англичанина в андалусийском платье, чем на испанца. Это тоже было кстати, ибо выглядит андалусийцем среди андалусийцев не бог весть какое достоинство. Весь облик нашего доктора был несколько необычным и иностранным, что особенно привлекает и восхищает женщин.

Между тем доктор продолжал путь и размышлял таким образом: «Уступая матушке, я дал вовлечь себя в предприятие, на которое сам никогда бы не решился. Допустим, мы понравимся друг другу, но что я могу предложить девушке взамен ее согласия стать моей женой? Родовой дом, несколько ферм, доходов от которых едва хватает для уплаты долгов? Смешно. Лучше уж ничего не иметь, но и это не имущество. Звучность моего имени мало что значит для нее, ибо она сама славна предками. В Испании каждый встречный-поперечный может иметь славных предков: были бы деньги и охота доказывать, что ведешь свое начало чуть ли не от самого Сида. Если бы у меня был титул — хотя бы графа Спаржи, который мне пожаловали дочери нотариуса, — тогда другое дело. Это уже кое-что. Молодым девицам льстит мысль о том, что их будут величать графинями и герцогинями и писать на визитной карточке «Супруга доктора, коменданта крепости и замка Вильябермехи». Вот и получается, что я ничего не могу принести ей, кроме своих надежд. Конечно, если Констанция благосклонно примет эти надежды и отдаст мне взамен свою руку, сердце, пять-шесть тысяч годового дохода, которые обещал ей отец, то, может быть, стоит на это согласиться? В самом деле: ведь она получит недурного мужа, а отцовские деньги и мои знания, ум и труд будут помещены в заклад под проценты, так сказать, на паритетных началах. Так что и она ничего не потеряет».

Здесь мечтания доктора так стремительно взлетели ввысь, что за ними было не уследить и не рассказать о них ни устно, ни письменно. Он видел себя лауреатом премии Мадридского Лицея, увенчанным лаврами за поэму на восточные мотивы, автором драмы, выходящим раскланиваться после премьеры спектакля на подмостках Королевского театра, министром, ведущим прием посетителей в своем кабинете, счастливым обладателем титула князя, пожалованного ему королевой за особые заслуги

и освобождающего имение от налогов, послом в Париже, где и сам король Луи-Филипп и весь его двор приходят в восторг от его ума и тонкости обращения, философом, придумавшим новую философскую систему — основу всех других наук — на радость и удивление всему человечеству.

В возбужденном мозгу доктора проносились картины этих и тысячи других триумфов, блестящих, удивительных, потрясающих, ошеломляющих. Перед ним открывался новый сказочный мир, мир красоты и гармонии. Он видел его так ясно и реально, что стоило сделать только шаг... Но все это станет возможным, если у него появятся те пять-шесть тысяч. дура, которые принесет с собой донья Констансия де Бобадилья. «Однако я не женюсь на ней, — продолжал доктор, — если она не полюбит меня или окажется недостаточно хороша собой и бесталанна. Ни за что не женюсь: пусть лучше гибнут все мои мечты и надежды. Ведь люди должны понимать, что я могу жениться только по любви, а не по расчету».

Так рассуждал доктор, обманывая себя, придумывая безвыходные положения, а потом все же преодолевая их. То есть он поступал как все люди. И получал от этого удовольствие. Наверное, каждому из вас представлялась такая картина: полдюжины врагов нападают на вас, вы героически принимаете вызов и повергаете противника в прах. На самом же деле бывает достаточно и одного врага, чтобы многие из вас обратились в бегство. Самые скромные белошвейки и судомойки глубоко убеждены, что сам Крез, положивший к их ногам полмира, не мог бы соблазнить их. И только богу известно, с какой легкостью улетучивается обычно их гордая неприступность.

Доктор прекрасно знал, что Констансия хороша собой, поэтому ему не нужно было ни великодушничать, ни проявлять героизм, если бы дело дошло до женитьбы на этой действительно красивой девушке. Однако то, что нынче называется «пускать пыль в глаза», используется не только для того, чтобы ослеплять других, но и себя самого, чтобы создать впечатление о своих собственных достоинствах и совершенствах, к своему же собственному удовольствию.

Внутренний монолог доктора стал еще более откровенным, прямым и значительным, когда он продолжал: «А если Констансия меня не полюбит? Я могу показаться ей мало-приятным, скучным, неостроумным, она может не оценить мою душу и не поверить в мое будущее. И что, если,

несмотря на все это, я влюблюсь в нее? Тогда я должен буду ее убить. Но чем она виновата, если я ей не понравлюсь? У меня нет права не только убить женщину, которая меня отвергла, но даже возненавидеть ее. Это будет ужасно, и я не знаю, что мне тогда делать. Я послушаюсь матушку и поеду в Мадрид как есть, без всяких средств, наудачу, буду бороться и не отступлюсь, пока не завоею славу, деньги и почет, пока не докажу Констансии, что я достоин ее, что мне не нужны ее деньги, что я не пустой мечтатель. Я готов ехать в Мадрид хоть сейчас, прямо через Толедские ворота, со всем своим скербом, с мулами, с печеньями, вареньями и прочей снедью. Там они не залягутся».

И тем не менее доктор продолжал ехать следом за Респетильей в селение, где жила его тетка Арасели, а мысль о Мадриде мелькнула у него в голове и исчезла.

«Итак, — продолжал доктор, — если Констансия меня не полюбит, а я ее полюблю, то я совершу нечто великое, героическое, удивляю весь мир своими подвигами и завоеую ее холодное сердце. Разве может она полюбить меня теперь, когда я безвестен и неприметен? Но едва ли она останется равнодушной и бесстрастной, увидев, как я, увенчанный лаврами, иду сквозь расступающуюся толпу, когда имя мое будет вписано золотыми буквами в книге Историн».

Когда мысли приняли такой оборот и он живо представил себе, что уже любит Констансию, а она его — нет, дыхание его стало прерывистым, как у тяжелобольного. Респетилья ехал далеко впереди и не слышал этого, а то испугался бы.

Между тем путники выехали на высокое место, откуда открывался вид на селение — цель их путешествия была близка. Домики сверкали белизной, во внутренних двориках виднелись апельсиновые деревья, акации, олеандры, кипарисы. Речушка, протекавшая близ селения, орошала многочисленные сады, разбитые в плодородной обширной долине, расстилавшейся у их ног.

Путешественники спустились с холма по узкой тропе и выехали на дорогу. Минут через десять впереди показалось белое облачко пыли, а затем — какой-то темный предмет, двигавшийся им навстречу. Респетилья, обладавший острым зрением, все понял, завернул мула и поспекал к хозяину.

— Сеньорито, сеньорито, это карета сеньора дона Алонсо едет вас встречать.

И он не ошибся. Уже слышался звон серебряных колокольчиков, украшавших богатую упряжь статных вороных коней, впряженных в четырехместную карету. Доктор приосанился в седле, отряхнул пыль с платья, лихо сдвинул набок шляпу и, прищпорив лошадь, быстро доскакал до кареты, делая многочисленные вольты. Карета остановилась, и доктор увидел в ней двух дам. Одна оказалась пожилой и сухопарой женщиной с живыми глазами и добрым, приветливым лицом. На ней было черное платье и чепец, украшенный темно-лиловыми бантиками. Другая была невысокого роста и очень грациозна. У нее были черные как смоль волосы, черные глаза, пунцовые губы; когда она улыбалась, обнажались два ряда ровных, ослепительно-белых зубов; нос был чуточку вздернут, что придавало лицу задорное, насмешливое, детски лукавое выражение; кожа лица, чистая и свежая, излучала молодость и здоровье; гибким станом она напоминала скорее змейку, чем пальму. И вообще все, что можно было в ней видеть, предполагать, угадывать, имело совершенные формы, без излишеств и недостатков, словом — как надо: соразмерно и гармонично, как и полагается быть произведению искусства, сотворенному по строгим и точным правилам; все соответствовало ее восемнадцати годам и положению знатной сеньоры, заботящейся о своей внешности. Эта прелестная женщина была одета в лиловое шелковое платье, в волосах красовалось несколько алых роз; их лепестки удачно сочетались с ярко-зелеными листьями.

Обе дамы знали доктора по портрету: ошибки быть не могло. Старшая из них — это, несомненно, была тетка Арасели — воскликнула, как только увидела его подле себя:

— Здравствуй, племянник. Добро пожаловать!

— Добро пожаловать, кузен, — приветствовала его Констансия.

Доктор ответил на приветствие самым любезным образом. Он спешился, нежно обнял тетку, пожал руку кузине, заметив при этом, что ручка у нее маленькая, с длинными, точеными аристократическими пальцами.

— Мне хотелось, — сказала тетка Арасели, — встретить тебя, дорогой племянник, поэтому я одолжила карету у Констансии, а она любезно согласилась сопровождать

меня. Твой дядюшка дон Алонсо не мог поехать, у него хлопот полон рот: отделяет животных от стада для продажи на ярмарке. Надеюсь, ты не посетуешь, что вместо него поехала дочка.

Доктор рассыпался в комплиментах и, поборов природную застенчивость, произнес несколько приличествующих случаю фраз. Констансия назвала его льстецом и густо покраснела.

— Поверишь ли, племянник, — сказала тетка Арасели, — Констансия боялась встречи с тобой: она думала, что увидит важного доктора, точно как на том портрете, боялась, что скажет что-нибудь невпопад и опростоволосится. Но теперь она уже не робеет.

— Неправда. Я все еще робею. И вообще, что вы тут наговорили, боже правый! Неужто я могла подумать, что он едет к нам верхом на лошади в своем докторском облачении — в мантии и в шапочке с кисточкой! Я не такая уж простушка. Я только думала, что мой кузен умен и образован, а я — нет, поэтому он может составить обо мне дурное мнение. Я и сейчас этого боюсь. А мантия и шапочка здесь ни при чем.

Доктор снова рассыпался в любезностях. Напрягая ум и обдумывая каждое слово, он старался выразить просто, без ученых терминов и витиеватости, ту мысль, что женщины всё понимают и проникают в самую суть вещей по интуиции, что им вообще не нужно ничего изучать и что в глазах кузины светилось больше учености, чем у самого Аристотеля, Платона и Фомы Аквинского, вместе взятых. Доктор успел уже привести веское доказательство в защиту этого тезиса и готовился привести новое, когда тетка Арасели прервала его, сказав, что нужно поторопиться домой, где он может отдохнуть.

Доктор снова сел на лошадь и затрусил рядом с каретой — то с той стороны, где сидела кузина, то с другой, чтобы не обидеть тетку. Наконец они въехали в селение и добрались до дома. Хотя остаток пути они преодолели за двадцать минут, доктор успел бросить на кузину тысячу пламенных взглядов — не меньше сотни в минуту.

Констансия встречала этот град взглядов самым очаровательным образом, хотя понять ее было трудно: иногда казалось, что она понимает смысл и значение этих взглядов, так как стыдливо опускала глаза, что было многообещающим признаком, то вдруг делала наивный вид, будто принимает их за выражение родственной любви,

и отвечала на них ласково, но без всяких признаков ответного любовного чувства, то раздражалась звонким смехом, как бы выражая сомнение по поводу столь внезапно вспыхнувшей любви, то отвечала доктору таким же взглядом, и тогда ему мерещилось, что это его взгляд, отразившись в ее черных очах, возвращается к нему во сто крат более прекрасным.

В результате всего этого, когда доктор подъехал к дому тетки Арасели, у него несколько кружилась голова. Он решительно не знал, кем стала для него кузина — ангелом или демоном. Одно было несомненно: он был очарован ею.

Доктор спешился, отдал слуге поводья, чтобы тот отвел лошадь в конюшню, помог донье Арасели выйти из кареты, потом подал руку кузине.

— Нет, нет, дорогой кузен. Я еду домой. Прощайте. До свидания, тетушка.

И, приказав кучеру трогать, донья Констансия укатила; доктор оторопело смотрел вслед, пока карета не исчезла из виду. Но прежде чем карета скрылась, Констансия два или три раза обернулась, и перед самым поворотом еще раз выстрелила взглядом, значение которого из-за дальности расстояния доктор не мог разгадать.

## V

### ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Донья Арасели отвела доктору милую, веселую комнату с окнами во внутренний дворик. Вдоль стен — апельсиновые и лимонные деревья, в центре — фонтан, низвергающий прозрачные струи в мраморную чашу с золотыми рыбками. Цветы и журчание фонтанов услаждают обоняние и слух. В опрятной, чистой комнате — кровать, стулья, ночной столик и письменный стол.

Хозяйка, сказав, что он может отдохнуть до трех часов дня, когда будет подан обед, покинула его.

До трех часов оставалось совсем немного, доктор не ощущал усталости и стал расхаживать по комнате, собираясь с мыслями.

Некоторые люди всегда мыслят ясно, другие — туманно. Доктор принадлежал ко второму типу. Это не значит, что он видел и чувствовал меньше или хуже

других. Может быть, туманность мысли как раз и характеризует тех, кто слишком много видит. Те, кто видит только то, что им подходит, нравится или льстит, видят или думают, что видят все это четко и ясно; те же, кто видит и то, что им не подходит, колеблются и мыслят путано. В их мозгу постоянно роятся противоборствующие идеи и намерения.

Путанные и противоречивые мысли делают реальные предметы нечеткими, расплывчатыми, что порождает, в свою очередь, сомнения. Наш доктор тоже испытывал сомнение: «Как понимать мои чувства к кузине?». Ему ясно было, что она хороша собой, элегантна, умна, но он не знал, добра она или зла. Он не был склонен думать, что она добра или зла наполовину. Он полагал, что она либо само небо, либо сонмище демонов.

Будучи пылким романтиком, он испытывал склонность к преувеличениям и рассуждал примерно так: «В ней мое спасение или моя гибель, мой ад или моя слава, она мой Табор или Голгофа».

Было совершенно ясно, что Констансия ему небезразлична, что он почти влюбился в нее, но тут же задавал себе вопрос: «Однако чем ответит она на мою любовь? Способна ли она понять мое чувство?».

Попробуем и мы разобраться во всем этом, раз доктор не мог найти ответа. Впрочем, он не мог найти ответа и на другие вопросы, так как слишком много знал.

Любил он или не любил Констансию в том смысле, в котором обычно понимается это чувство? Сам он давал тысячу различных определений любви, и потому выходило, что и любил и не любил. Если понимать под любовью то, что ему, пылкому юноше, она нравилась своей красотой, свежестью, элегантностью, изяществом, даже кокетливостью, это значит, что он мог бы последовательно или одновременно влюбиться во всех девушек, обладающих сходными добродетелями. «Любовь, — говорил он себе, — чувство исключительное, следовательно, я не могу назвать мое чувство к кузине истинной любовью». Может быть, он любит ее за то, что в ее лице, глазах, улыбке видит родственную душу, натуру одаренную, умную, страстную? Доктору иногда казалось, что он любит ее именно за это, и тогда приходилось согласиться, что он любит ее не просто как женщину, но как женщину исключительную, способную вызвать истинную любовь или по крайней мере заставить предпочесть себя всем остальным. Тогда



выходило, что доктор уже попал в любовные сети. Но не примешалось ли к этой неожиданно вспыхнувшей любви какое-то другое чувство, например корысть? Не походило ли его чувство на ту любовь, которую испытывал пророк Илья к ворону? Мысленно он лишал ее ренты и вообще всяких шансов на наследство. Ограбив ее, он почувствовал, что любовный пыл его несколько охладевает, умеряется, но все же не исчезает окончательно; в душе сохраняется еще образ Констансии, но становится расплывчатым. Доктор понимал, что, лишив свою избранницу доходов, он должен был компенсировать этот недостаток, наградив ее более поэтическими достоинствами, что сделало бы образ более четким. Словом, необходимо, чтобы его любовь придавала ее образу чистые, совершенные линии либо нарисовала совсем иной образ.

Может быть, его любовь к Констансии вызвана только тщеславием и эгоизмом? Доктор соглашался и с этим. В самом деле, разве можно найти любовь, возбужденную человеческим существом и нашедшую отклик в другом человеческом сердце, в чистом виде, без примеси каких-то низменных чувств? Ведь и золотой самородок редко встречается без примеси пустых пород. Любовь — тот же самородок: только огонь, который она в себе таит, может очистить ее в плавилище души; если душа достаточно крепка и закалена, чтобы выдержать невероятный жар, в ней образуются зерна чистой любви, наподобие кристаллов чистого, высокопробного золота. Когда доктор дошел до этого металлургического сравнения, он понял, что высоко ценит кузину, настолько высоко, что сама мысль о каких-то непозитических примесях огорчила его.

«Что же кузина могла подумать обо мне?» — это был второй вопрос, который доктор задавал себе. Он ощущал в себе благородное желание нравиться и вместе с тем испытывал страх от того, что мог не понравиться кузине. Может быть, это и есть признак той возвышенной любви, о которой он мечтал? Никким образом. Доктор принадлежал к тем людям, которые хотят нравиться всему роду человеческому, даже тем, кто его не любит, или тем, чье мнение мало чего стоит. Однако он заметил, что его желание нравиться кузине было сильнее, чем желание нравиться кому-нибудь другому. Выше этого было только желание нравиться всем сразу, то есть жажда славы. Что же предпочесть: любовь толпы или любовь кузины? Способен ли он полюбить Констансию сильнее, чем славу?

Здесь доктор останавливался в растерянности. Дело, видимо, стало за тем, чтобы обнаружить в глубинах души своей избранницы те сказочные сокровища, которыми он благородно наделил ее в своем воображении. Если бы он действительно обнаружил эти сокровища, то предпочел бы кухню славе. Это возможно только в том случае, если бы кухня была такой доброй или такой злой, какой он ее себе воображал. Даже если бы она была зла, он мог бы полюбить ее возвышенной любовью. Ну, а что, если она окажется ни доброй, ни злой, ни умной, ни глупой, а существом посредственным? Нет, доктор не мог бы ее полюбить, разве что в одном случае: если бы в металле ее голоса, в жгучем взгляде, в гармонии черт лица, в движениях тела, в магнетической атмосфере, окружающей ее, оказалась какая-то таинственная притягательная сила, не осознанная даже ею самою. Только это могло соблазнить и пленить такого человека, как он. Так демоны или духи послушно являются на зов того, кто знает формулу заклинания, хотя и не понимает ни значения отдельных слов, ни причины их действительности; так артист голосом или инструментом пробуждает в возвышенной душе мысли и чувства, о которых сам он не имеет ни малейшего представления.

Все это и тысячи подобных вещей проносились в голове доктора: вихрь беспорядочных мыслей и разноречивых чувств.

Его занимали и совсем тривиальные вещи. Он думал о том, что хорошо бы ей понравиться, а для этого он не должен выглядеть смешным. Доктор заметил, что кухня — большая охотница до шуток. Вместе с любовью рос и его страх стать мишенью ее насмешек. Чем больше он думал о том, что любит ее, тем сильнее одолевал его этот страх. Здесь следует сказать, даже рискуя тем, что наш герой может много потерять в глазах читательниц (если таковые найдутся), об одном его предубеждении: он был невысокого мнения о женском уме, считая, что даже самая умная из женщин не превосходит развитием десятилетнее дитя. И тем не менее он боялся показаться кухне смешным.

Хотя он был крайне наивен и простодушен, он все же подозревал, что портрет, который послала донья Ана донья Арасели, где он был изображен в докторской мантии и в шапочке с кисточкой, мог вызвать насмешку кухни. Он понимал, конечно, что портрет плохо исполнен —

он ведь стоил всего шесть дуго — и что у него там слишком напыщенный вид. «Ну что же, — рассуждал доктор, — она воображала меня таким сухарем-педантом, провинциальным чудачком. Тем лучше. Теперь, увидев меня, она переменит мнение. Я был прав, предполагая, что этого дьяволенька не пленишь ни мундиром офицера копейщиков, ни костюмом члена клуба верховой езды. Взял я их только потому, чтобы не огорчать матушку. Пусть они так и лежат на дне чемодана — я о них и словом не обмолвлюсь».

Приняв смелое решение не использовать униформу для завоевания сердца кузины, доктор подумал еще об одном затруднении — большого масштаба, если вообще можно себе представить большее затруднение. «Что делать со всеми этими ореховыми печеньями, вареньями и прочей снедь? Прилично ли было везти их в подарок?» — спрашивал он себя.

Тут доктор вспомнил стихи из «Кошкомахин», где поэт говорит о подарке, который Мисифус посылает Сапакильде:

Ни новых нарядов, ни побрякушек —  
Просто увидел он: тащит в подарок  
Серый котиче  
Сыра кусиче,  
Гусиную лапку и устриц пару.

То, что он привез с собой, было похоже на кошачьи подарки, и он с горечью подумал о своей нищете. Он сожалел, что вместо паштетов и сладостей не мог привезти ни браслетов, ни бриллиантов, ни жемчужных ожерелий, ни дорогого медальона с изумрудами и рубинами. Но ведь в Вильябермехе не было других драгоценностей, кроме тех, что замуровала его прабабка, перуанская принцесса. Однако они были надежно спрятаны.

Затруднение состояло в том, чтобы достойно вручить эти жалкие сиропы и паштеты. Но ведь и дары волхвов — мирра, золото и ладан — не были более приятны богу, чем деревенские подношения пастухов. Однако душа доктора не успокоилась от этого сопоставления. При одной мысли, что ему нужно вручать сиропы и паштеты, он задивался краской. Может быть, передать все это донье Арасели как подарок матери и тем самым снять с себя всякую ответственность? Но ведь это явное нарушение сыновнего долга и к тому же проявление трусости. Не перепоручить ли все это Респетилье? Пусть он вручит

подарки какой-нибудь служанке, а та уже — донье Арасели. На первый взгляд это неплохой выход, но по зрелом размышлении доктор решил, что этот способ таит в себе много неудобств и чреват опасностями. Андалусийские служанки — большие лакомки, и либо сами все проглотят, либо растащат сладости по домам, будут угощать своих женихов, ополовинят гостинцы, и когда они передадут остатки донье Арасели, ей уже нечего будет прятать в свои чуланы. Да, доктору пришлось долго ломать голову над тем, как выйти из трудного положения. Зачем он согласился взять эти подарки? «Я был слишком уступчив», — говорил он себе, забыв, однако, что там, в Вильябермехе, дыша деревенским воздухом, находясь вдали от насмешливой искусительницы кузины, он не считал зазорным или неприличным везти с собой пищевые дары. Теперь, наоборот, он сгущал краски, находя, что вручение подобных подарков достойно осмеяния. «Констансия будет смеяться надо мной, — терзал он себя, — наверняка она обратила внимание на упряжку из трех мулов, которые плелись за нами, и, несомненно, должна была заинтересоваться, что они везут, что лежит в тех корзинах и плетенках, и, может быть, прозой перескажет стихи из «Кошкормахия»:

Ни новых нарядов...

Она, конечно, рассмеется самым обидным образом, когда тетушка Арасели пошлет ей от меня виноградный сироп и паштеты. Я вынужден буду сказать, что эти гостинцы посылает моя матушка, и прибавлю, что она советует кушать паштет с шоколадным соусом. «Непременно, сеньор, именно с шоколадным — я люблю пикантные вещи», — скажет она. А что, если я вообще не буду упоминать о подарках и отдам их Респетилье? Пусть лопает. Нет, это не годится. Совсем не годится. Респетилья корыстолюбив: откроет, чего доброго, палатку на ярмарке, станет торговать, люди подумают, что он делает это для меня, и скажут: „Вот до чего докатился потомственный комендант крепости и замка Вильябермехи!“».

Пока доктор терзался таким образом, запутавшись в противоречиях, вошел Респетилья с баулами.

— Где мундиры? — тихо спросил доктор, чтобы никто посторонний не услышал его.

— В этом бауле, — ответил Респетилья, показывая на самый большой. — Прикажете вытащить офицерский? Думаю, что в нем хорошо пойти к двоюродной сестре.

— Нет, будь ты проклят! Оставь там и офицерский и не офицерский. Никому даже не заикайся о них.

— А что, барышне не нравятся военные?

— Именно. Помалкивай о мундирах.

— Боже мой, — отвечал на это Респетилья, — если барышне не нравится военная форма, чего же вы не взяли докторскую?

— Докторская ей тоже не нравится.

— Что же ей нравится?

— Не знаю. Кажется, ничего.

— А докторский костюм — шикарный. Помните, вы надевали его, когда у нас были священник и доктор. Им очень понравилось.

— Не болтай глупостей. И вообще поменьше болтай. Никому не говори, что я надевал мантию.

— Вот еще... Чего ж тут плохого? Помните, как ваша нянька Висента тоже захотела посмотреть, и вы надели для нее и шапочку, и черный балахон, и еще накидку. Висента, помню, сказала тогда: «Кто бы мог подумать, что из малыша выйдет такой важный доктор».

— Ну ладно, ладно. Тут нет никаких няnek. Везде свои обычаи и привычки. Здесь как в Гранаде, а не как у нас в Вильябермехе. Запомни это и помалкивай. То, что можно и даже нужно было говорить в Вильябермехе, здесь может показаться глупостью. О докторском платье тоже ни слова.

— О чем же тогда говорить?

— Ни о чем. Говори о себе. Обо мне вообще ничего не рассказывай. Помалкивай.

Респетилья умолк. Барин умылся, оделся к обеду в самое обыкновенное платье: брюки, сюртук, жилет.

Когда его позвали обедать и за столом донья Арасели сообщила, что Респетилья передал ей подарки от доньи Аны, доктор вздохнул с облегчением. Тетка Арасели без тени иронии похвалила сиропы, печенья и прочую снедь, включая и паштеты, и прибавила, что отослала большую часть племяннице, так как та большая лакомка. Теперь доктору стало неловко уже за то, что он стыдился своей родной Вильябермехи, и подарков, и даже матери, которая их посылала. Сущность того, что ныне называют дурным тоном, состоит в преувеличенном страхе впасть в него.

Пока доктор был занят этими мыслями и разговорами, его кузина Констансия и ее отец вели такой разговор:



— Здравствуй, дочка, — сказал дон Алонсо, входя в комнату, даже не сняв шпор. — Приехал наконец Фаустинито?

— Да, папа. Фаустинито приехал.

— Ты выезжала с теткой встречать его? Видела его? Говорила с ним?

— Да, папа.

Дон Алонсо испытующе посмотрел на дочь, стараясь угадать то впечатление, которое произвел на нее кузен.

Надо сказать, что дон Алонсо был любящим отцом. Более любящего отца трудно было себе представить. Дочь командовала им и делала с ним что хотела. Доном Алонсо владели две страсти: дочь и деньги. И то и другое составляло его гордость. Корыстолюбие он подчинялся точно так же, как горячо любимой дочери. Не было такой жертвы, которую он не принес бы во имя денег, не было такого каприза, который он не исполнил, чтобы угодить

дочери, если при этом не нужно было жертвовать деньгами.

Дон Алонсо был резок, строг, противник всяких половинчатых и легкомысленных решений, но если речь шла о желаниях его дочери, он сдавался, хотя часто ворчал и сердился при этом.

— Я сожалею о том, что юноша приехал сюда, — сказал дон Алонсо после некоторой паузы. — Тысячу раз говорил тебе, что не надо его приглашать. Но ты же не слушаешься. Это чистое сумасбродство.

— Что же тут сумасбродного? Что из того, что я его пригласила? Полноте, папочка, не ворчите на меня.

— Разве не сумасбродство? Это же мой племянник, а не обезьянка для забавы.

— Послушай, папа, откуда ты взял, что мне нравится забавляться обезьянами? Фаустинито не обезьяна, и я не собираюсь им забавляться. Это было бы дурно с моей стороны. Но он и правда похож на обезьянку. Может быть, я займусь этой обезьянкой. Только по-хорошему: возьму и влюблюсь в него, да еще предложу ему свою белую ручку.

— Хотя и есть такая пословица: «Грушу поносит, а с собой уносит», я не верю, что ты говоришь серьезно. Как же получается? Ты вволю посмеялась над его портретом, а теперь приезжает Фаустинито собственной персоной, и ты влюбляешься в него. Признайся — мы здесь одни — ты пригласила его из чистого любопытства, чтобы посмеяться над ним?

— Признаюсь. И что из этого? Разве это грех? Считай, что он приехал развлечь меня на праздники. Разве от него убудет? Я не собираюсь его ни мучить, ни вешать, ни оскорблять.

— Ты полагаешь, что смеяться над несчастным юношей не грешно? Твоя тетка Арасели — кстати, ты ее наследница — простодушно принимает все это всерьез; она может рассердиться, узнав о твоих проделках.

— Об этих моих проделках кроме тебя никто не будет знать. От тебя у меня нет секретов. Я немного просчиталась. Не скажу, что я готова влюбиться в него, но он не показался мне таким смешным, как на портрете. Пове-ришь ли, он красив, совсем неглуп и вообще незаурядный молодой человек. Впрочем, мы можем присмотреться к нему внимательнее: тетушка устраивает сегодня вечером прием в его честь. Да, совсем забыла. Бедняжка привез

нам кучу еды. Я велела поставить в кладовку. А его каурая лошадка совсем недурна.

— Теперь я вообще ничего не понимаю, — сказал дон Алонсо.

— По-моему, все понятно, — возразила донья Констансия.

— Оригинально! Что же все это значит?

— У нас с тобой получается сказка про белого бычка.

— Да, я повторяю: недопустимо делать из Фаустино посмешище. Я не хочу ссор между родственниками, не хочу, чтобы мы сами оскорбляли наш род и нашу кровь. И, по правде говоря, я не хочу, чтобы ты влюбилась в человека, бедного как церковная мышь, способного только на то, чтобы проесть твое приданое. Ты думаешь, я много могу тебе дать? Ты же знаешь, что в последние годы пшеница и оливки плохо рождаются, правительство душил налогами. Мадрид — это прорва, на которую не напасешься ни денег, ни продуктов. Вряд ли я могу много за тобой дать.

— Откуда мне все это знать? Но я уверена, что ты дашь мне столько, сколько я попрошу. Не можешь же ты отказать любящей дочери?

— Я ни в чем тебе не откажу, но у меня не так уж много денег. Я не крез. Самое большее, что я смогу тебе дать, — это три тысячи дуэро ренты. Чтобы жить здесь, это больше чем достаточно, но если ты уедешь в Мадрид или Севилью, это почти что ничего. На большее в ближайшее время рассчитывать трудно, хотя я, слава богу, здоров и надеюсь прожить еще лет двадцать.

— Желая тебе прожить сто лет мне на радость, я так тебя люблю.

— Верю, что любишь, но ты непослушна и делаешь все, что тебе взбредет в голову. Я слишком тебя избаловал. Прошу тебя: не влюбляйся в этого голодранца.

— Тогда я над ним просто посмеюсь, заодно оскорблю наш род и нашу кровь, обижу тетку Арасели, хотя я ее наследница.

— Но ты не будешь над ним смеяться!

— Слушай, отец. В какой-то книжонке я прочла об одной вещи, которая называется дилеммой. Это когда у тебя есть два возможных выхода. Так и со мной: либо я над ним посмеюсь, либо выйду за него замуж. Выбирай любое.

— Забудь про эту дилемму. У тебя не два, а двадцать



два выхода. И еще прибавь один: не кокетничать и не кружить голову кузену. Тогда он тихо-мирно вернется во-сво-яси, как только пройдут праздники. Или вот еще один: если он в тебя влюбится, постарайся осторожно сде-лать так, чтобы он в тебе разочаровался. А смеяться над ним или выходить за него замуж — ни к чему.

— Ты предлагаешь что-то очень мудреное. Есть только дилемма, самая что ни на есть главная дилемма: либо — замуж, либо — посмеяться. Отплатить бедняге насмешкой за его съестные подарки — разве это не великолепно? Сначала поднести подслащенную пилюлю, а потом отка-зывать.

Исчерпав весь арсенал диалектики, дон Алонсо умолк, признав тем самым существование дилеммы, и поцеловал в лоб донью Констанцию.

Она же повязала ему галстук, потрепала по щеке и, охватив своими белыми ручками его голову, несколько раз звонко чмокнула в лысину.

Дон Алонсо чувствовал себя в тот момент таким счаст-ливым, что готов был дать не три, а целых четыре тысячи ду-ро. Ему не понравилось только то, что дочь серьезно подумывала о замужестве, но он успокаивал себя тем, что план этот мог обернуться шуткой, хотя и не очень дели-катной.

## VI

### ПИСЬМО ДОКТОРА МАТЕРИ

Прошло уже два дня, как доктор находился в доме доньи Арасели, и пора было отправлять слугу с мулами в Вильябермеху, во-первых, чтобы не вводить в расхо-ды сительную хозяйку и не причинять ей неудобства, а во-вторых, потому, что мулы принадлежали не доктору, а были взяты внаем. Достоянный дом Лопесов де Мен-доса мог содержать только докторскую лошадку, мула Респетильи и пару ослов, которые постоянно находились на кошту. Выражение «находиться на кошту» употребляют в Вильябермехе в отношении животных, которых остав-ляют в поле без присмотра, с тем чтобы они сами искали себе пропитание, особенно в засушливые годы. Так как доктор не рассчитывал здесь долго задерживаться, он и отправил погонщика со своими подопечными домой. С этой оказией он послал письмо матери, которое мы приведем

полностью, ибо оно является важным и достоверным документом, дополняющим наш рассказ. В письме говорилось:

«Дорогая матушка, не знаю, радоваться мне или печалиться тому, что я предпринял эту поездку и нахожусь здесь. Тетя Арасели — сама доброта, она вас очень любит и меня встретила радушно. У нее много достоинств, но она слишком чиста, чтобы подозревать в поступках других злой умысел. Похвалы, которые расточала донья Констансия моему портрету, были, поверьте мне, просто шуткой, тетушка же приняла их за чистую монету. Констансита из любопытства, из пустого каприза просила ее пригласить меня, а вовсе не потому, что влюбилась в меня по портрету. Она очень избалована отцом и делает все, что ей заблагорассудится. К счастью, я могу льстить себя надеждой, что моя собственная персона произвела на нее более благоприятное впечатление, чем мой портрет. Я разговаривал с дядюшкой Алонсо. У него, слава богу, недурной характер, иначе он был бы невыносим. Он так погряз в своих богатствах, так тщеславен, что считает себя самым умным, самым знающим, самым удачливым из всех смертных. То, что он сколотил огромное состояние, он приписывает своей учености, а не игре случая. Воображая, что он в совершенстве владеет своей наукой и считая ее главной, дядюшка взял себе за правило безапелляционно судить о всех науках вообще. С непререкаемым авторитетом он рассуждает о политике, литературе, искусстве — словом, обо всем. Так как здесь нет ни одного человека, который не был бы ему должен и не получал бы от него подачки, все почтительно выслушивают его мнения, словно это какой-то оракул, и никто не смеет ему возразить.

Обходительность дядюшки не только по отношению ко мне, но и ко всем другим поразительна. Он желает прослыть человеком добрым, что не мешает ему быть и великодушным и кичливым одновременно. Со всеми он держится покровительственно, с сознанием собственного превосходства, но делает это не обидно, а как-то просто-душно и естественно. Он мнит себя остряком и доволен, когда смеются его шуткам. Все, кто присутствует на его приемах, привыкли смеяться этим шуткам: получается так, что смеются они охотно и как бы по своей воле, ибо деньги даются взаймы с такой очаровательной простотой, которая вызывает доверие и к словам и к мыслям обладателя.

Во время моего разговора с дядюшкой он не сделал даже намека на то, что ему известны наши намерения. Он хвастался — вероятно, это пустое бахвальство, — что может, если захочет, заполучить все голоса в округе для угодного ему кандидата в кортесы.

Иногда он предлагал мне вопросы, желая испытать мои знания, прикинуть мои возможности, представить себе, на что я способен. Не знаю, успешно ли я выдержал эти испытания. За личиной деревенского простака, радужного и первозданно наивного, скрывается большой хитрец, человек себе на уме.

Не стану подробно описывать вечера, устраиваемые в доме дядюшки, они, как везде, одинаковы: старики играют в карты, молодые люди заводят любовные дуэты или рассказывают анекдоты. Констансия, конечно, царица этих вечеров. При ней всегда две-три подруги в роли придворных дам и целый рой поклонников.

Ее здесь обожают — это видно по всему, — хотя любимое божество скупое на милости: разве что иногда в знак благодарности за поклонение и обожание она ответит ласковым взглядом или милой улыбкой. Когда она смеется, на левой щеке появляется очаровательная ямочка и сверкают два ряда ослепительно-белых зубов.

За два вечера я не имел случая поговорить с нею наедине. Я почти рад этому. Констансия внушает мне глубокое чувство уважения и почтения — все же она моя кузина! — и я не хотел бы профанировать любовь, не убедившись окончательно, что я ее люблю.

Могу ли я выяснять, любит ли она меня, если я сам не знаю, люблю ли я ее? Иногда она смотрит на меня очень ласково, но я не могу понять истинное значение этих взглядов. Мне кажется, что так многозначительно она не смотрит ни на одного из своих поклонников. Может, это мне чудится и я ошибаюсь, хотя я внимательно наблюдаю за ней и могу делать сопоставления.

Сама она, разумеется, этого не замечает. В ней много детской непосредственности. Речь ее полна очарования. Иногда она говорит такие милые и наивные вещи, словно это семилетняя девочка.

Однако слышали бы вы, как умно она иногда рассуждает, как тонко выражается, как умеет передразнить и выставить в смешном виде своего противника, с каким веселым лукавством она все это делает. Дядя Алонсо буквально замирает, слушая этого дьяволенка. Я не удив-

ляюсь, что такая остроумная и живая девушка может заморозить кого угодно, а не только своего отца.

Поначалу я опасался — вы знаете, какой я мнительный! — что Констансия — девушка балованная, с дурным характером и с холодным сердцем; но теперь вижу, что это не так: она очень добра.

Если бы вы слышали ее серебристый голосок! Как нежно она выговаривает «Фаустинито»! На вечерних сборищах она выделяет меня из всех поклонников и очень ко мне внимательна: всегда старается повлечь меня в разговор, чтобы я мог проявить себя наилучшим образом, всячески меня поощряет и хвалит, когда я говорю удачно. Она наговорила мне кучу комплиментов, причем это выходило у нее естественно и уместно. Ей нравится, как я держусь в седле и как рассказываю забавные истории.

Она уверяет, что наши паштеты превосходны, что она ежедневно ест их на завтрак с шоколадной подливкой и не нахвалится.

Не раз расспрашивала она меня о достопримечательностях наших мест и улыбкой поощряла мои рассказы; когда речь заходила о чем-то серьезном, она внимательно слушала. Ей интересно знать, велик ли замок в Вильябермехе, правда ли, что на чердаке нашего дома бродит дух комендора Мендосы, действительно ли у нас говорят так же, как в Хаене, или есть особый акцент, и, наконец, продолжает ли святой, покровительствующий Вильябермехе, творить свои чудеса. На этот последний вопрос я, как-то не думая, ответил в не очень почтительном тоне, вроде того, что святой пока что бездельничает, но тут же спохватился, заметив в глазах Констансии явное неодобрение. От тетушки Арасели я слышал, что она очень религиозна. Я и сам заметил, что и чистый лоб ее и ясные глаза буквально излучают божественный свет, и весь ее облик, мягкий, деликатный, гармоничный, какой-то легкий, почти эфирный, говорит о том, что духовный мир ее богат и что она живет чистыми идеалами.

С тетушкой я не говорил еще о предполагаемом браке, так как сама она об этом не заговаривала. Прежде нужно, чтобы мы полюбили друг друга. Тогда все будет естественно и пристойно. Великая страсть все оправдывает. Разве можно просто так, без любви, вести разговоры о браке? Да и что я могу предложить Констансии, кроме вороха надежд и иллюзий? Всякий раз, когда я хочу завести речь о браке, мне вспоминается один анекдот.

и искушение улетучивается. Анекдот этот такой. Жених сказал своей суженой, что после женитьбы она будет обеспечивать обед, а он — ужин. Они поженились, сытно пообедали, а когда пришло время ужина, муж заявил, что он не прожорлив и раз он плотно пообедал, то в ужине не нуждается. Так может получиться и у меня с Констансией. На ужин я смогу предложить ей только свои иллюзии и запереть ее на всю жизнь в Вильябермехе. Это будет не жизнь, а сельская идиллия с голубями, кроликами, индюками, курами и цыплятами на птичьем дворе, с дичью из наших угодий, с медом из собственных ульев, с виноградом из собственных виноградников, с вином и оливковым маслом домашнего производства и со всем прочим, что вы заготавливаете и храните в кладовых. Всего этого будет достаточно, чтобы устраивать чуть ли не каждый день приемы по-деревенски, достойные знаменитого Гарсии дель Кастаньяра и его верной, любящей и красивой жены.

Но в этом случае все богатства Констансии бесполезны. Даже не бесполезны — вредны. Богатая наследница, избалованная красавица, женщина, сознающая свое высокое общественное положение, свою власть, женщина изящная, грациозная, она, конечно, захочет блистать в больших городах. У нее свои надежды и иллюзии, от которых она может отказаться только в том случае, если влюбится в меня и будет меня обожать. Ну, а если и влюбится и даже будет меня обожать, какой ей резон киснуть в Вильябермехе, когда — при ее-то деньгах — она может жить в Мадриде, где и я сумел бы доказать ей свою любовь, оправдать ее надежды, добившись настоящей славы и всеобщего признания. Вот и выходит, что в любом случае — полюбит меня Констансия или не полюбит — бермехинская идиллия не состоится. Для этой идиллии нужно найти другую Констансию, такую же бедную, как я.

Однако теперь я спрошу себя: «Гожусь ли я сам для подобной идиллии?». Предположим, что Констансия бедна, беднее меня, и она меня любит. Но может ли полюбить ее такою моя душа, может ли забыть из-за нее все высокие помыслы, даст ли она утопить в море божественного света ее глаз тысячи честолюбивых грез о славе и подвигах? С тех пор как я увидел ее, я задаю себе этот вопрос и не нахожу ответа. Стыдно признаться, но этот мой вопрос равнозначен другому. Без риторики и околичностей, в своей ужасной и жестокой наготе он звучит так:



«Может быть, я обманываю себя, только прикидываюсь, что люблю Констансию, а на самом деле люблю ее деньги?» Неужели я так бездарно лицемерю даже с самим собой? Зачем, собственно, я сюда приехал? Что же меня привлекло: слава о ее добродетелях и о ее красоте, или я прилетел сюда на запах приданого? Если я новоявленный деревенский Кобург, то нужно ли прикидываться влюбленным романтиком, обожающим даму своей мечты. Вот уже двое суток я беспрестанно терзаю свою душу, требую от нее ответа и заставляю сознаться в преступлении. Я сам стал палачом своей души. А душа не дает ясного ответа. Странно, не правда ли? Дома и по дороге сюда я без отвращения принял на себя роль Кобурга, теперь же она мне отвратительна, и я хочу оправдать свое поведение, прикидываясь влюбленным. Может быть, во мне проснулась гордость, когда я увидел, какая насмешница моя кузина? А может быть, мне потому стыдно претендовать на ее приданое, что я ее уже люблю? Словом, я в смятении и ничего не могу толком осмыслить.

Наверное, я не могу понравиться такой женщине, как Констанция. Я слишком долго жил в Вильябермехе, где Жандарм-девицы составляли лучшую часть женского общества; во время коротких наездов в Гранаду я тоже мало общался с женщинами, вел студенческую жизнь, играл в карты, да и женщины были малоинтересными: певички, хозяйки гостиниц... И вот теперь, погнавшись за деньгами, я обрел наконец любовь. Наверное, это любовь: ее раньше обретает тот, кто ее испытывает, а не тот, кто ее выдумывает.

В общем, я предчувствую, что все окажется серьезнее, чем мы думали».

## VII

### ПРЕЛЮДИЯ ЛЮБВИ

В голове моей роится тысяча доводов, чтобы не продолжать эту историю. Только обещание, которым я связал себя в начале книги, заставляет меня двигаться дальше.

Герой нравится мне все меньше и меньше. Внутренние его качества кажутся мне малопривлекательными и просто неинтересными, бедственное материальное положение, вообще говоря, плохо вяжется с представлением о поэтической личности. В самом деле, разве можно ожидать от бедняка какого-нибудь романтического поступка? Настоящего героя без гроша в кармане можно встретить среди дикарей, за дальними морями, в седой древности, среди варварских народов, чуждых или даже враждебных нашей цивилизации, то есть там, где, по выражению хитроумного идаляго из Ламанчи, дикарь устанавливает свои законы, дает выход своим порывам, деяниям и воле. Но что можно ждать от юноши-бедняка, нашего современника, которого преследует судья, алькальд или жандарм, который обязан иметь вид на жительство, связан тысячью запретов, вынужден брать защитника, состоящего на жалованье у общества, испытывает страх не то что преступить закон, нарушить распоряжение муниципалитета, но просто не соблазни так называемые условности. Нет, такой бедняк достоин описания только в какой-нибудь немудреной и приземленной истории. Порвать с обществом и не стать нищим-попрошкой или мошенником может только тот, кто становится выше общества, а это под силу разве что графу Монте-Кристо.

Наш бедный доктор не был настоящим героем, но я ни на шаг не отступаю от правды и ничего не буду примысливать. Я только попрошу читателей извинить меня, если я впаду в самый обыденный реализм и погрязну в нем.

Ценой долгих увещеваний донья Ана и доктор добились, чтобы бермехинские купцы купили у них две бочки лучшего вина за наличный расчет (что не так часто случается в здешних местах), причем — по десять реалов за арробу. Общая выручка за этот жидкий продукт, с вычетом расходов по производству, магарыча купцам, комиссионных местным маклерам, составила около тысячи девятисот реалов. Купцы свято выполнили уговор и вручили обусловленную сумму самой разнокалиберной монетой; одних медяков было на тысячу реалов. По местным обычаям каждую сотню реалов, то есть восемьсот пятьдесят куарто, помещают в плетеный короб, прошитый бечевой или веревкой из испанского ковыля. Так как короб не дается даром, а его надо купить, то в каждом хранится по восемьсот сорок восемь куарто, меньше на два куарто, то есть на стоимость хранилища. Правда, короб всегда нужен в хозяйстве: если нет куарто, в нем можно держать, например, оливки. Наверное поэтому монеты часто оказываются с масляной приправой, а оливки, в свою очередь, приобретают привкус и запах металла. По этой причине тысяча реалов медяками, помещенными в короб, приравнивалась к тысяче реалов золотыми: они имели одинаковый вкус и запах. Однако доктор не пожелал начинать осаду кузины обремененный горами измазанных маслом медяков. Весь его караван был и без того перегружен, и впору было нанимать еще одного мула вдобавок к тем трем, навьюченным до предела бельем, костюмами и гостинцами. Доктор предусмотрительно вступил в переговоры со старухой лавочницей, которая отнеслась к нему доброжелательно, несмотря на печально памятный случай, когда спаньели уничтожили ее компресс из бисквитов, смоченных в вине; лавочница в виде великой милости обменяла тысячу девятьсот реалов на золотые дублоны достоинством по два и по четыре дуру. Из этого золотого запаса и было уплачено за постой в гостинице.

На пятый день пребывания доктора в доме тетки Арасели некий маркиз по фамилии Гуадальбарбо, приехавший на праздники, завлек доктора в казино, соблазнил сыграть в карты, подбил его сделать три или четыре ставки,



в результате чего капитал доктора уменьшился почти до тысячи реалов. Опасаясь полного разорения, доктор торжественно дал себе зарок не ходить больше в казино, чтобы не впасть в искушение.

Оставшейся тысячи реалов должно было хватить на все время пребывания у тетки, на то, чтобы расплатиться со слугами, и на расходы, связанные с отъездом домой.

Скрупулезный анализ бедственного своего положения привел доктора к тому, что он стал постоянно испытывать страх. Неуверенность и черная меланхолия целиком завладели им. Величание «дон» плохо согласовалось с положением нищего, звание наследственного коменданта крепости, как и прочие почетные звания, диссонировало с униженным состоянием человека, у которого нет ни гроша за душой, — все это угнетало доктора до такой степени, что он чувствовал себя как побитая собака.

Наступили праздники: в селении устраивались корриды, пеклись многочисленные миндальные торты, повсюду жарили турецкий горох. Дон Фаустино посещал корриды, разъезжал на коне по ярмарочной площади, делал вид, что веселится, но веселья было меньше, чем на похоронах.

Во время вечерних собраний он обменивался с Констансией бесчисленными взглядами, как и при первой встрече. Эти сборища устраивались в те вечера, когда не было праздничных гуляний. Так прошла неделя, наступил последний день праздника, а в отношениях между молодыми людьми было не больше близости, чем при первой встрече.

Если бы доктор встретился с Констансией ненароком, без предварительного сговора с матушкой по поводу женитьбы, он, наверно, без обиняков высказал бы ей самые дерзкие свои намерения. Но что мог теперь сказать он Констансии? Он скорее открылся бы самой утренней заре, самой Диане, самой Весте, чем ей. Мысленно он срывал все цветы, покрывавшие склоны Геликона и Парнаса, роскошные цветы, вспоенные водами Гиппокрены и Касталии, и украшал ими свои любовные признания. Но когда он убирал эти цветы, оставался голый каркас прозаически звучащих слов: «Давай сюда три-четыре тысячи дуэро. Они мне очень нужны. У меня ничего нет взамен, кроме любви». Каждый раз, когда доктор оставался один в ночной тишине и повторял эти фразы, слезы отчаяния и ярости душили его. Его любовь к Констансии возвра-

стала все больше и больше. Порой ему казалось, что уже пришла истинная, бескорыстная любовь. Но возможно ли, чтобы Констанция полюбила бедняка провинциала, вынужденного экономить свою последнюю тысячу реалов?

Доктор доходил до безумия (и даже переступал порог безумия), терзаясь тем, почему он не родился на Востоке и не стал корсаром или гяуром, как один из героев Байрона, почему он не родился в скромной колыбели и не сделался простым разбойником вроде Хосе Марии, почему он не родился в одиннадцатом или двенадцатом веке, чтобы саблей и копьём завоевать не деньги, не богатство, а целую империю и положить ее к ногам Констанции.

Донья Арасели, которая поначалу занялась устройством брачных дел из привязанности к донье Ане, а потом и из любви к своему племяннику, очень огорчилась тем, что сватовство затянулось и развивалось вяло. Она не хотела или не решалась заговаривать об этом с доктором, считая, вероятно, разумным предоставить молодым людям полную свободу и инициативу в этих делах.

Доктор не разрешал и Респетилье вести разговоры о женитьбе и прерывал его всякий раз, когда тот, оставшись один на один со своим господином у него в комнате, пытался это сделать. Свято охраняя свою любовь к Констанции, доктор, таким образом, обрекал себя на монологи. Но однажды Респетилья не выдержал и нарушил запрет:

— Сеньорито, пошла уже вторая неделя, как мы здесь.

— Ну и что? Пробудем еще четыре-пять дней, а потом — домой, — отвечал доктор.

— Если ваша милость и оставшиеся пять дней проведет так же, как те восемь, хороши же мы будем. Стоило из-за этого ехать!

— Тебе-то какое дело? Помалкивай и вообще отстань.

— Как какое дело? Я вам не чужой. Бейте, режьте меня, а я буду твердить свое.

— Респетилья, помни пословицу: «Чужие заботы и осла убивают».

— Я и есть тот самый осел, но заботы вашей милости мне не чужие: это и мои заботы.

— Ну и хитер же ты, Респетилья. Бог с тобой, болай что хочешь. Сегодня я тебе разрешаю.

— Первое, что хочу сказать вам: «Монах Модесто не враз добился епископского места». Ваша милость трусит, а трусы в карты не играют. Я точно знаю, что донья Констансия не терпит слышать ваши признания, как цыгану — осла украсть. Она сидит как на угольях и ждет, а ваша милость молчит. Видно, она не собирается поступить так, как поступила в одном романсе дама со своим слугой.

— Откуда ты все это знаешь? Кто тебе все это рассказывает?

— Есть тут одна черненькая. С нею можно только так: смотри, а руками не трогай, — как часы на памплонской башне. Она меня совсем закружила.

— Ничего не понимаю. О ком ты говоришь?

— Как о ком? О Манолилье, конечно.

— Кто же она, твоя Манолилья?

— Вы меня простите, сеньорито, но я не виноват, если вы все прозевали. Ходите как в потемках, ничего не замечаете и не понимаете. Хотя вы и набрались учености из ваших книжечек, а живете как на небесах.

— По-твоему выходит, если я не знаю твою Манолилью, значит, я витаю в облаках, ничего не знаю и ничего не ведаю?

— Вот вы сердитесь, а Манолилью надо бы знать. Ой как надо! Манолилья — это не просто Манолилья, а любимая горничная доньи Констансии. Я не терял времени даром, и хотя до свадьбы еще далеко, а она девушка свободная, я сказал ей: «Я весь твой», и теперь мы вечером часто встречаемся у решетки в саду и разговариваем.

— Что же она рассказывает о своей госпоже? Знает ли она, что думает обо мне Констансия?

— Барышня говорит, что вы способный и все на свете знаете, но вы немного рохля, потому что не объясняетесь с нею.

— Так она и сказала?

— Я не говорю — и Манолилья не говорит, — что она сказала так, слово в слово, но если говорить по-нашему, по-простому, то это точно.

— Ну хорошо, хорошо. Когда ты снова встречаешься с Манолильей?

— Сегодня в час ночи. Как только хозяйка уляжется, она выйдет к решетке.

— Может она передать письмо для доньи Констансии?

— Почему нет? Пишите побыстрее.

Дон Фаустино тотчас сел за письмо и, написав его, вручил слуге для передачи Манолилье.

Доктор всю ночь не сомкнул глаз, думая о том впечатлении, которое произведет письмо, и сильно опасался, что оно будет встречено насмешкой.

На следующее утро, едва Респетилья вошел в комнату, чтобы почистить платье, доктор спросил его о письме.

— Манолилья обещала передать его сегодня утром, как только барышня проснется. Теперь она прочитала его раз тридцать и выучила наизусть, — ответил Респетилья.

— Думаешь, она ответит?

— И думать нечего. Ясно как божий день, что ответит. Сегодня ночью получу ответ — и сразу к вам.

Пока происходил этот разговор, донья Арасели, озабоченная тем, что ее планы не осуществляются, решила нарушить молчание и поговорить с племянницей. Сказав дома, что она идет к ранней мессе, донья Арасели направилась к Констансии, которая уже проснулась, но еще не вставала. Дона Алонсо дома не было: он рано выехал в поле. Барышня Бобадилья была этому рада, так как не хотела, чтобы ее обвиняли за излишнее усердие в устройстве любовных дел.

В прошлом донья Арасели часто влюблялась, и всякий раз неудачно. Как все женщины, много любившие в молодости, она радовалась любви молодых людей и играла теперь вторую роль с тем же увлечением, как некогда первую.

Мне кажется жестоким и несправедливым, когда люди наделяют пожилых женщин, занимающихся посредничеством в любовных делах, ужасным, обидным и неблагоприятным прозвищем, которое я даже не решаюсь вымолвить. Если это посредничество бескорыстно и преследует благородные цели, то я считаю его высшим проявлением любви к ближнему, замечательным альтруистическим поступком. Это любовь к любви, без расчета на личное благополучие и выгоду. Нет такого акта милосердия, который можно было бы с большим правом считать проявлением благодетельной сверхлюбви, и я не понимаю, почему ее чернят и поносят. Творить подобную добродетель — все равно что вылечить больного, утешить пленника, утолить жажду страждущего, дать приют путнику, прикрыть наготу пострадавшей души платьями и украшениями бесценной любви. Только нежные и сдобные

жены вроде доньи Арасели способны на такую добродетель. Есть в этой добродетели нечто родственное поэтическому порыву, вдохновению, благороднейшему зуду творить прекрасное, создавать произведения искусства. Разве есть творение искусства прекраснее любви, прекраснее, чем согласие и гармония двух чувств, чем слияние двух душ в одну?

Движимая этими высокими и святыми порывами донья Арасели вошла в спальню племянницы. В комнате витал приятный аромат. Это не был искусственно добываемый запах фирмы Аткинсон или Виолет. На ночном столике было только мыло и кувшин с водой. Если читателю не приелись мои мифологические сравнения, то я позволю бы себе сказать, что комнату Констансии наполнил ароматом, во-первых, нимфа из фонтана ее сада и, во-вторых, Гигия и Геба, богини здоровья и молодости.

Одно из окон спальни выходило в сад. Лучи солнца освещали комнату девушки, пробиваясь сквозь густую зелень жимолости и жасмина. В клетке, подвешенной к потолку, выводила трели канарейка. У стены напротив постели, на небольшом возвышении вроде алтаря, перед великолепно исполненной фигуркой мадонны горели две свечи.

На ночь Констансия не надевала ни чепца, ни сетки, и ее роскошные черные волосы свободно рассыпались по подушке.

Ласковое тепло, разлитое в воздухе, не требовало иного одеяния, кроме ночной рубашки тонкого голландского полотна, завязывавшейся у самой шеи бантиком небесно-голубого цвета. Простыня и легкое одеяло мягко облегли тело красавицы, обрисовывая изящные девичьи формы.

Донья Арасели, кроме чувства родственной любви, владела, как выражается Данте, «пониманием любви» и не могла не прийти в восторг при виде племянницы. Налюбовавшись ею вдоволь, она обняла ее, расцеловала и сказала:

— Ты удивительно хороша, милочка. Храни тебя господь. Вылитая Мария Магдалина, но без ее грехов и без необходимости каяться.

— Тетушка, ваша лесть похожа на насмешку. Но я не тщеславна.

— Что за насмешки? Ты такая прелесть, что другой

не сыщешь. Слава господу богу за творения его. Именно в эти моменты нужно видеть женщин, чтобы судить об их достоинствах: когда они простоволосы, не набелены, не нарумянены, то есть являются нам такими, какими их создал сам господь.

— Что заставило вас прийти в такую рань, тетушка?

— Как ты хороша, дитя мое, когда просыпаешься!

Роза, да и только, — перебила ее тетка.

И действительно, Констанция рдела как роза, когда тетка так неожиданно вошла в спальню. И это потому, что она только что прочла письмо и едва успела спрятать его под подушку.

— Вполне естественно, тетушка. Вы сами объяснили, почему я хорошо выгляжу: и грехов у меня нет, и каяться не приходится.

— Прибавь еще: и любовных забот нет и бессонницы. Вот этого я никак не могу взять в толк. Впрочем, постой! В глазах у тебя что-то такое све-



тится. Откуда же этот огонек? Уж не из сердца ли? Но разве ледышка может загореться?

— Почему вы решили, что ледышка? Напротив, сердце мое полно любви.

— И к кому же, дитя мое?

— Пока ни к кому. Но разве не может сердце гореть любовью не из-за кого-нибудь, а вообще?

— Ты говоришь какие-то пустяки. Мне это непонятно. Любовь — это желание, страстная жажда, горячее стремление соединиться с любимым предметом. А если такого предмета нет, то какая же это любовь? К чему ты можешь стремиться? Чего жаждать?

— Постойте, тетя. Сейчас я опровергну ваши доводы. Бывает ведь и так: любовь есть, а определенного предмета нет. Тогда его выдумывают, воображают его себе и грезят им — то есть любят воображаемый предмет. Я так и поступаю. Ах, если бы вы знали, какой чудесный предмет я творю для себя!

— Неужели он не похож на твоего кузена Фаустино?

— Говоря откровенно, все образы, созданные мною, очень далеки от реальности: они неясны, расплывчаты, воздушны. Очертания их дрожат, как в светящемся тумане. Оттого я и не знаю, похож предмет моих мечтаний на кузена или не похож. Иногда да, иногда нет.

— Значит, ты любишь образ, о котором сама ничего не знаешь толком?

— И знаю и не знаю. Для меня самой это загадка, которую я не могу разгадать.

— Не лукавь. Оставь свои туманности. Скажи прямо: любишь ты кузена или нет?

— Прежде надо бы знать, любит ли он меня.

— Любит, обожает — это сразу видно.

— Вы видите, потому что у вас опыт. Я же молода, неопытна и ровно ничего не понимаю. Почему же он молчит? Пусть скажет, если любит. Пусть объявит об этом. Может быть, вы оба думаете, что я первая должна это сделать?

— Нет, дитя мое. Он просто очень робок.

— Робость иногда трудно отличить от глупости.

— Нет, это не тот случай. Кроме того, у него не было удобной минуты, чтобы поговорить с тобой: ты всегда в окружении поклонников.

— Кто ищет удобную минуту, тот ее находит, не смотря на кольцо поклонников.

— Почем ты знаешь: может, он ищет случая.

— Не очень ловок ваш племянник, если больше недели ищет и не находит. Ну ладно, тетушка, я так вас люблю, что не могу и не хочу ничего утаивать и морочить вам голову.

— Говори, плутовка. Я чуюла, что здесь что-то не так.

Донья Констансия сунула руку под подушку, и в ее тонких пальцах оказалось письмо.

— Вот и вся тайна, — сказала она. — Неделя потребовалась вашему племяннику, чтобы обдумать и написать это послание. Признайтесь: он не слишком спешил. Напротив, он действовал с чувством и с толком.

— Нечего смеяться. Просто он не решался тебе написать. Прочти-ка письмо.

— Тетушка, ради бога, не говорите отцу и вообще никому — это секрет. Подобные вещи имеют прелесть, когда о них никто не знает.

— Не беспокойся: я никому не скажу. Читай.

Донья Констансия начала читать вполголоса:

— «Милая кузина, вот уже неделя, как я осмеливаюсь мечтать о возможном счастье, что очень меня вдохновляет. Но меня терзает страх, что я могу потерять эту надежду, и причина тому — твои высокие достоинства и мое ничтожество. Страх точит эту надежду, убивает ее. Я обращаюсь к тебе за помощью: позволь мне надеяться, не отнимай ее у меня. Одного слова из твоих нежных уст достаточно, чтобы она сбылась. Услышу ли я от тебя заветное слово? Прошу тебя: не гони ее, не выслушав прежде того, что я хочу тебе сказать в защиту моей надежды. Где и как я могу поговорить с тобой? Если сочувствие, которое я читал в твоих глазах, и сострадание, с которым ты на меня смотрела, не обман, порожденный моим тщеславием, то я верю, что ты найдешь способ выслушать меня без воздыхателей, постоянно окружающих тебя. Нетерпеливо ожидающий ответа, самый горячий из твоих поклонников.

твой кузен Фаустино».

— Видишь, тебе нет причины жаловаться на отсутствие чувства у Фаустино, — сказала донья Арасели.

— Я и не думаю жаловаться.

— Как тонко и умно составлено письмо! Как искусно он нанизывает все, что ему нужно! Как умеет он быть дерзким, не обнаруживая при этом ни малейшей



нескромности! С каким изяществом молит о любви и свидании, делая вид, что ни о чем не просит! Что ты намерена делать?

— Посмотрим. Нужно подумать — и это естественно. Мне тоже требуется неделя для ответа.

— Не будь такой злоюкой. Любишь ты его или нет?

— Право, не знаю, тетя. Ведь так просто, вдруг не влюбляются. Если говорить откровенно, то боюсь, что дело кончится этим. Признаюсь, меня начинает немного тянуть к нему, но настоящей любви к нему я не испытываю. Раньше нужно выяснить, любит ли он меня и как любит. А во-вторых... Повторяю: там видно будет.

— Кстати, что же ты ему ответишь?

— Пока ничего. Подожду недельку.

— Он умрет от нетерпения.

— Не волнуйтесь, не умрет. Впрочем, вы же сами сказали, что мой любезный кузен достаточно дерзок: действует медленно, но верно. Просит ни более ни менее как свидания наедине. Кажется, я правильно поняла? Но ведь это значит скомпрометировать себя. «Боже, какое легкомыслие!» — скажут люди, узнав об этом.

— Но, дитя мое, он же собирается жениться на тебе. Что же тут дурного, если ты немного постоишь с ним у решетки?

— Кто вам сказал, что он собирается жениться? Это еще нужно проверить.

Несмотря на ласки, уговоры и убеждения, тетушка Арасели не добилась от племянницы никаких обещаний и не сумела прояснить положение, в котором пребывала душа Констансии по отношению к дону Фаустино.

Однако донья Арасели вернулась домой несколько более уверенная в удачном исходе предприятия, начатого ею с таким энтузиазмом.

## VIII

### У РЕШЕТКИ

Весь день доктор волновался и с нетерпением ждал ответа от доньи Констансии.

Он видел кузину на прогулке и на званом вечере у дяди. Доктор даже говорил с ней в присутствии друзей и приятельниц, окружавших ее, но не заметил никаких

знаков того, что Констансия благосклонно приняла его послание. Скорее наоборот: ему показалось, что она держалась с ним более сдержанно, чем обычно. Он подумал даже, что впал в немилость, и меланхолия еще сильнее овладела им.

Респетилья за целый день не смог повидаться с любимой служанкой барышни. Напрасно дон Фаустино пытался выяснить судьбу своего письма.

Доктор вернулся к себе в двенадцать часов, проведя печер в доме дона Алонсо. Он не стал раздеваться, а приказал слуге немедленно связаться с Манолильей, прибавив, что будет ждать его возвращения, чтобы узнать, как обстоят дела.

Отдав это распоряжение, он сел за стол и попробовал читать, но никак не мог уловить смысла. На страницах философской книги мелькало изображение Констансии. Ему казалось, что девушка улыбается ему, завлекает его, нарочно мешает читать.

Прошли два томительных часа. Уже далеко за полночь он услышал, как кто-то осторожно пробирается по коридору. Тут же скрипнула дверь, и в комнату вошел Респетилья.

— Что так поздно? Принес ответ? — спросил доктор.

— Вы думаете, что сюда так легко добраться? Мальчишка, который должен был отворить мне дверь с черного хода, спал без задних ног; едва его добудился, а то пришлось бы ночевать на улице.

— Я спрашиваю: ты принес ответ?

— Не расстраивайтесь, ваша милость.

— Ну вот еще. С чего ты взял, что я расстраиваюсь? — говорил доктор, и по голосу, жалобному и молящему, было ясно, что он совершенно подавлен. — Я и не думаю расстраиваться, но скажи, ради бога, в чем дело?

— Говорю вам, что нету письма. Донья Констансия бранила Манолилью за то, что она принесла ей ваше.

— Я так и думал. Сердце мне подсказывало. Какой я несчастный. Я не хочу, чтобы меня здесь дурачили. Завтра же едем домой.

— Сеньорито, я считаю, дела не так плохи, как вам кажется.

— Почему ты так думаешь?

— Я думаю так потому, что у доньи Констансии, которая не желает отвечать, появилась ни с того ни с сего блажь.

— Что за блажь?

— Она сказала Манолия, что теперь стоит прекрасная погода, в саду теперь — что надо, а ночью, когда звезды и пахнет апельсинами, и того лучше. Манолия сказала, что и правда — в саду как в сказке, особенно от часа до двух, тогда барышня сказала, что у нее такое желание: погулять завтра в это время в саду.

— Ах, Респетилья, я едва верю своему счастью. Она согласна на свидание, согласна видеть меня и говорить со мною у решетки сада?

— Сеньорито, я ничего подобного не говорил. Вы не так меня поняли: Констанция ничего не говорила Манолия о свидании, и я тоже ничего такого от Манолии не слышал. А о вас вообще не говорилось ни слова. Известно только, что у Констансии есть такая блажь — погулять завтра в час ночи в саду, понюхать апельсины и поглядеть на звезды. Две калитки с решетками выходят на улицу, и ваша милость может туда подойти. Кто запретит вам гулять по улице? Улица общая, и вы можете нюхать апельсины, когда вам захочется.

— Пойду, Респетилья, непременно пойду.

— Манолия считает, что вам нужно получше завернуться в плащ, чтобы никто не узнал. Здесь народ злобный: любит поболтать. Мы с вами выйдем в переулок, вы подойдете к решетке, чтобы сад посмотреть и цветы понюхать, и тут как бы ненароком встретите свою двоюродную сестру и поговорите с нею.

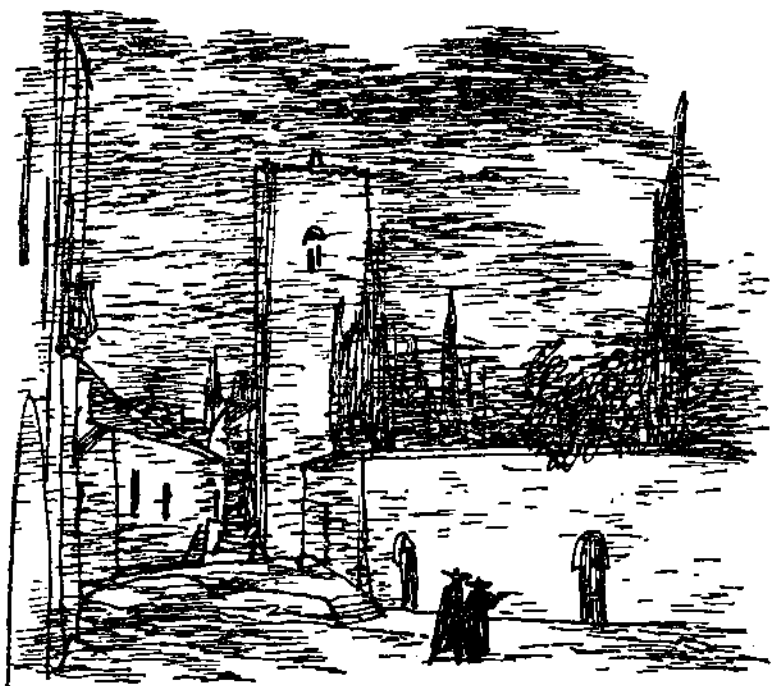
— Дай бог, чтобы представилась такая возможность, — вздыхая сказал доктор.

— Не вздыхайте так тяжело, сеньорито. Дышите веселее: бог даст, все устроится в наилучшем виде.

Доктор был вне себя от радости. Он хотел быть щедрым и дал слуге за добрые вести монетку в четыре дура, что равнялось восьми арробам вина высшего сорта и многим более двенадцатой части его металлического запаса.

На следующий день была и прогулка и званый вечер у дядюшки — все, как обычно. Констанция держалась любезно, но холодно. Может быть, менее любезно, чем всегда. Дон Фаустино видел ее в окружении поклонников, даже говорил с нею, но она была непроницаема.

Доктор сгорал от нетерпения. Время тянулось бесконечно. Вечеринка казалась нескончаемой. Но всему приходит конец. Наступил час пополуночи.



К тому времени доктор успел проводить донью Арасели домой и поужинать с нею. Он был готов к свиданию.

Как только все в доме улеглись и затихли, доктор нахлобучил шляпу, плотно завернулся в плащ, захватил пистолет и кинжал и вместе с Респетильей вышел через черный ход на улицу. Сад был обнесен высокой стеной с двумя решетчатыми калитками. Деревянных дверей не было, и весь сад хорошо просматривался, насколько это позволяла густая зелень апельсиновых и лимонных деревьев, кустов жасмина, роз и других растений. В переулке царила глубокая тишина, а в саду, казалось, было еще тише. Слышалось только журчание фонтана, расположенного где-то в глубине сада.

Луны не было, но звезды светили так ярко, что видны были дорожка сада и канавка, выводившая воду из чаши фонтана, чтобы она не переливалась. По обеим сторонам канавки, судя по запаху, росли фиалки. Их аромат был

так силен, что забивал все остальные: запахи роз, апельсин и лимонов.

— Они еще не пришли, — начал было Респетилья.

— Молчи, будем ждать, — перебил его доктор.

Прошло несколько минут в полной тишине.

— Идут, вот они, идут! Но нельзя же, ваша милость, стоять прямо против калитки, словно пугало. Вспугнете голубок — и поминай как звали. Встаньте к стене — мы увидим, когда они будут подходить.

Доктор покорно исполнил совет: отошел от решетки и прижался к стене. Послышались легкие шаги, приятный и соблазнительный шорох шелка и крахмальных юбок. Донья Констансия и Мануэла скоро оказались близ решетки, где прятался Фаустино.

— Чудесная погода, не правда ли, Мануэла? — сказала Констансия. — Я рада, что мне пришла в голову мысль пройтись по саду. Что-то мне не спалось. Но все-таки я боюсь. Боюсь, не слышал ли отец, когда мы выходили. Боже, только бы он не узнал. Он страшно рассердится.

Доктор не знал, как ему выйти из засады и начать разговор. Наконец он решился: откинул плащ и подошел к решетке, где стояли обе девушки.

— Ах! — воскликнула в испуге Констансия.

— Не пугайся, Констансита. Это я, твой кузен Фаустино.

— Ах, это ты! — сказала донья Констансия и рассмеялась. — Как ты меня напугал. Вот так совпадение: обоим вдумалось погулять.

— Именно, кузина. Я тоже не мог заснуть и вышел подышать чудодейственным воздухом. Какое счастье, что я встретил тебя!

— Да, да, но какое совпадение! Что, если папа узнает, что я в такой поздний час встретила с тобой у решетки? Я не знаю, что он сделает.

Когда Констансия произносила эти слова, доктор заметил, что Респетилья и Мануэла скромно отошли в сторону, даже не сказав «Оставайтесь с богом», и уже разговаривали, стоя у другой решетки. Они стояли близко друг к другу, словно призывая господ сделать то же самое.

Доктор последовал примеру своего слуги и встал вплотную к кузине. Та, конечно, не заметив и не почувствовав этого, не только не отошла от решетки, но как-то естественно придвинулась поближе к собеседнику. Временами

они стояли так близко, что доктор ощущал аромат ее дыхания и чувствовал, как огонь ее глаз опалает его.

— Я люблю тебя, обожаю, — говорил Фаустино тихим, страстным голосом, — я хотел сказать тебе это наедине. Именно это. Полюби и ты меня или убей. Твоя любовь сделает меня сильным. Зная, что ты меня любишь, я смогу все. От тебя зависит моя судьба и моя жизнь. В твоей власти спасти меня или погубить. Ты прекраснее всех цветов, свежее утренней зари, грациознее всех нимф, созданных воображением великих поэтов древности. Ты значишь для меня больше, чем все мои грезы, даже если бы они сбылись.

— Замолчи, кузен, замолчи, не будь так безрассуден. Твои страстные признания пугают меня. Будь благоразумен, а то я в другой раз не приду.

— Значит, ты придешь и завтра? И в другие ночи?

— Да, да, приду, но на минутку. Однако ты должен вести себя спокойно и благоразумно.

— Но ты любишь меня?

— Если бы не любила, разве я пришла бы?

— Значит, любишь по-настоящему?

— Послушай, Фаустино, я не хочу тебя обманывать. Я люблю тебя, люблю как родственника, как друга, как брата. Это я твердо знаю, чувствую и понимаю, но о настоящей любви я ничего не могу сказать: я слишком молода, мне неизвестно это чувство, и я даже мысленно не могу его себе представить. Дай мне время осознать это, изучить и понять себя.

— Прости мою самонадеянность, но я думаю, что те нежные чувства, которые ты питаешь ко мне как родственница, подруга и сестра, — это и есть любовь.

— Не старайся обмануть меня, Фаустино. Все-таки я достаточно хорошо знаю, что любовь — это нечто большее. Я не знаю, что это такое, в чем ее смысл, но я знаю, что это нечто большее. И в доказательство этого я сделаю тебе одно признание.

— Какое, счастье мое?

— Если я и не люблю еще настоящей любовью, то хотела бы полюбить тебя по-настоящему, а это уже много. Когда я начинаю думать об этом, знаешь, что мне приходит на ум?

— Что?

— Что душа моя становится похожей на мотылька, летящего на огонь под действием какой-то неведомой силы.

Меня точно так же влечет к тебе. Но это еще не любовь, а только желание любить. Если душа моя запылает, охваченная огнем, тогда я смогу сказать: пришла настоящая любовь.

— Скорее бы это случилось.

— Значит, тебе нисколько не жаль меня. Тебе и дела нет до моей души.

— Но я уже ранен, я умираю от любви.

— Вы, поэты, любите все преувеличивать, приукрашивать. Слушая тебя, я не знаю, что и думать. «Может быть, все это фразы? — спрашиваю я себя. — Что это: риторические фигуры или истинное чувство?»

— Неужели ты сомневаешься в искренности и правдивости моих слов?

— Пойми меня правильно. Я не сомневаюсь в них. Я не хочу обидеть тебя ни сомнением, ни словом, потому что верю в твою искренность. Но, может быть, ты сам обманываешься? Может быть, твоя пылкость внушена обстановкой: благоухающий сад, новизна первого свидания, чарующая тишина ночи. Представь себе вместо меня другую женщину, тоже молодую и тоже красивую — ты же сам говоришь, что я красивая, — и скажи, разве ты не вспылал бы к ней любовью? Разве ты не стал бы с той же искренностью называть ее своим раем и адом, спасением и гибелью, и всем прочим, что ты мне тут наговорил?

— Нет, не стал бы, ибо только ты соединяешь все это в себе одной.

— Ну хорошо, я готова тебе поверить. Но пока еще не верю. Я не хочу оказаться легковерной простушкой, не хочу, чтобы меня поразило тщеславие. Быть любимой так лестно, а твоя любовь, как ты сам говоришь, так сильна, что я боюсь в нее поверить. Надеюсь, ты простишь мою скромность. Прощай. До завтра.

— Почему так скоро? Едва успела прийти и уже покидаешь меня!

— Я очень беспокоюсь. Боюсь, что отец хватится меня, и вздрагиваю при каждом шорохе, боюсь даже шелеста листьев. Ступай и ты.

— Завтра в это же время?

Констанция колебалась какое-то мгновение, потом сказала:

— Я приду завтра.

— Но завтра ты не уйдешь так скоро?  
— Если ты будешь благоразумен и я буду уверена, что ты по-прежнему меня любишь.  
— А ты будешь меня любить?  
— Я сказала, что хотела бы любить тебя. Ты знаешь, что для женщины любовь — это так страшно. Мне хочется любить, но я в страхе отшатываюсь от любви, как будто вижу перед собой пропасть, черную и таинственную. Хочу любить тебя, и боюсь. Прощай. Оставь меня одну. Пожелай мне спокойной ночи. Если я не засну, то утром буду бледная, с кругами под глазами, папа начнет расспросы, и бог знает, что он подумает. Он такой подозрительный. Ступай, Фаустино.

Доктору не хотелось уходить, он устремил на девушку долгий нежный взгляд и сказал:

— Дай мне руку.

Донье Констансии казалось невежливым отказать в этой просьбе, тем более что на людях она это делала неоднократно. Доктор взял ее руку в свои и покрыл ее поцелуями.

Некоторое время спустя он и Респетилья покинули переулок и, радостно возбужденные, направились к дому доньи Арасели, выбирая самые безлюдные улицы, чтобы не привлекать внимания.

Гордый своим успехом, влюбленный еще сильнее, чем прежде, в Констансию, строя не то что воздушные замки, а настоящие волшебные крепости и видя себя уже в раю, на Олимпе, в сказочных садах Армиды, дон Фаустино Лопес де Мендоса заснул под чарующие звуки серенады, исполняемые сонмищем духов любви и надежды.

## IX

### ТАИНСТВЕННАЯ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА

Три-четыре ночи подряд продолжались свидания, на которых разыгрывались картины, подобные только что рассказанной, но с небольшими вариациями.

Днем и вечером Констансия, как всегда, шествовала в окружении подруг и поклонников, и поговорить с нею наедине не было никакой возможности. Единственное, что им удавалось сделать, — это обменяться взглядами, и то украдкой. Ее взгляд был такой неопределенный, что



если бы кто-нибудь перехватил его, то ничего бы не заподозрил.

Ночные свидания устраивались с теми же предосторожностями, и разговоры у решетки носили тот же характер, но любовь не продвинулась ни на шаг. Мотылек кружился над огнем, но в огонь не бросался. Желание любить не превращалось в любовь. Надежды донна Фаустино не сбывались, но и не развеивались.

Когда доктор был подле нее, он находился под воздействием ее чар. Всему подчинялся. Был доверчив, как дитя, и предан, как верный раб. Ее призывы к сдержанности он не мог разбить никакими контрдоводами и чувствовал себя счастливым и удовлетворенным только оттого, что в обмен на самозабвенную, уже существующую любовь получал туманные обещания полюбить его в будущем, желание полюбить его, но и эти первые такты любовной прелюдии, исполняемой Констансией, повергали его в трепет и лишали рассудка.

Однако вскоре, когда прошло первое опьянение, доктора стали одолевать малоутешительные мысли и сомнения. «К чему такая таинственность в наших отношениях? — спрашивал он себя. — Почему кузина на людях старается не обращать на меня внимания, не выказывает предпочтения, даже намеком не дает понять, что хоть немножко меня любит? Ведь такое поведение лицемерно и двоедушно».

Он не сомневался в добрых намерениях кузины, и это служило ей некоторым оправданием, но верно было и то, что она уязвляла его самолюбие, рушила его надежды.

«Кузина ждет, когда желание полюбить меня само по себе превратится в любовь, она думает, что зерно страсти само прорастет, вырвется наружу и разовьется. Но пока что этого не происходит, и я чувствую постоянную угрозу, что любовь ее умрет, не родившись, или это окажется и не любовью вовсе, а расплывчатым чувством симпатии. Однако и симпатия может развеяться как дым. Вероятно, Констансия, предвидя такой исход, хочет подавить в себе и это чувство. Но, может быть, дело в другом: за внешней оболочкой детской непосредственности, избалованности, наивности скрывается коварный обман, хладнокровная и жестокая расчетливость? Не играет ли она моими чувствами, моим сердцем, моим достоинством? Не жестоко ли оставлять меня в таком неведении? Позволительно ли обращаться со мной как с куклой, у которой можно без конца спрашивать: «Любишь меня или не любишь?».



Эти рассуждения сменялись другими, тоже не лишеными смысла: «Не слишком ли я нетерпелив? Могу ли я требовать, чтобы она уже любила меня? Есть ли у меня право рассчитывать на такую любовь? Ведь и сам я еще недавно сомневался в своей любви к ней. Разве удивительно, что и она сомневается? Стоит ли обвинять кузину за то, что она не отдала мне своего сердца, не убедившись в искренности, силе и самоотверженности моей любви? Что такого я совершил для нее? Ничего. Чем пожертвовал? Ничем. Прийти на свидание, поболтать у решетки, поцеловать ручку — это еще не жертва, это забава и развлечение. И вот взамен оказываемых мне милостей у меня не находится ни терпения, ни доверия к ее искренности и добрым намерениям».

Так доктор судил судом своей совести кузину, сам же защищал ее и не мог вынести окончательный приговор. Между тем он с нетерпением ждал того ночного часа, когда снова может пойти к садовой решетке в сопровождении верного слуги.

У Респетильи любовные дела тоже не продвигались. Он объяснял это тем, что в каждой провинции — свои

обычаи и привычки. Здесь, например, и у господ и у слуг, у всяких горничных и судомоек, любовь не летела на крыльях, а плелась медленно, едва волоча ноги. Но, утешал он себя, Самору тоже не в час завоевали, ценная вещь и стоит дорого. Действительно, разве в сердце красотики можно лезть нахрапом, татью или врываться с громом и шумом без длительной осады, без военных хитростей, без подкопов, без ратных трудов и пота?

Так обстояли дела, когда однажды утром Респетилья вошел в комнату к своему господину, который только что проснулся, и вручил ему письмо. Он получил его от какого-то незнакомца у самого порога дома. Тот передал письмо и исчез.

«От кого бы это? — подумал доктор. — Может быть, от Констансии?»

И, решив, что, безусловно, от нее, доктор распечатал конверт и с изумлением прочел следующее:

«Мой вечный возлюбленный! Ты совсем меня забыл. Не хочешь меня знать. Но я никогда тебя не забываю и люблю, как прежде. Моя душа связана с твоею нерасторжимыми узами, и ни злая судьба, ни время не могут нас разлучить. В этом мире, где все так тленно и преходяще, изменчиво и быстротечно, моя душа остается все той же, ибо сущность ее составляет любовь к тебе. Здесь, на грешной земле, небу было угодно — не знаю, почему — воздвигнуть между нами непреодолимые преграды. Я не смею оспаривать волю божью и поэтому не являюсь твоему взору, не открываю тебе своего имени. Называй меня своей Вечной Подругой, Я всегда молюсь за тебя. Я вижу тебя, хотя ты меня не видишь. Когда я засыпаю, моя душа покидает мое тело, устремляется к тебе и остается с тобою. Неужели ты так огрубел, так занят собою, что не чувствуешь меня, когда я ласкаю тебя и соединяюсь с тобою в вечном поцелуе? Неужели мое чувство не находит больше ответа в твоей душе? Неужели бессмертные очи души твоей не способны увидеть ту, которую ты так любил когда-то? Неужели в твоей душе не осталось хоть какого-нибудь следа нашей прежней любви? Я знаю, что ты на пороге новой любви, ты уже любишь, любишь другую женщину, и я ревную. Какое мучительное чувство — ревность! Но не тревожься: я не нарушу эту любовь, зародившуюся в твоей душе. В этой бранный жизни ты не можешь и не должен стать моим. Это было бы безумием.

Более того — преступлением. Я не стану препятствовать этой любви из пустого эгоизма. Я могу только оплакивать это горе, я уже его оплакиваю, но я переживу его. Но если эта женщина, которую ты любишь, недостойна тебя, смеется над тобой, способна пренебречь тобой, я постараюсь утешить тебя, моя радость. Моя любовь непреходяща, даже если ее испытывают ревность, твое презрение ко мне и твое небрежение. Дай бог тебе счастья, а если ты будешь несчастлив, позови меня зовом сердца и скажи мне: «Приди и утешь меня!». И я явлюсь к тебе. Уже несколько дней я пытаюсь побороть искушение явиться перед тобой во плоти. Может случиться, что и я, не совладав с собой, позову тебя. Я хочу тебя видеть, говорить с тобой, оживить твой образ. Придешь ли ты на мой зов? Думаю, что придешь. Ты отзывчив, великодушен и не лишишь меня этой радости. Я буду всегда о тебе помнить, хочу навсегда сохранить живое впечатление, воспринятое обыкновенными человеческими чувствами, коль скоро я теряю тебя в этой преходящей жизни из-за твоей любви к той легкомысленной женщине.

Прощай и помни о твоей *Вечной подруге*.

С изумлением читал доктор это письмо и строил тысячи догадок и предположений... «Может быть, его написала кузина, чтобы посмеяться над моим романтизмом, составив его в ультраромантическом духе. Может быть, какая-то сумасшедшая влюбилась в меня и излила в письме этот бред. Может быть, дядюшка Алонсо или кто-то из его знакомых захотел сыграть со мной злую шутку. Что бы там ни было, лучше я сожгу его и никому не скажу о нем ни слова. Будем считать, что шутник, вздумавший поразить меня этим письмом и посмеяться надо мной, просчитался».

Доктор сжег письмо, не сказав о его содержании ни Респетилье, ни матери, хотя от нее у него не было никаких секретов.

Любовь Фаустино к Констансии возрастала, и мысль о ней не покидала его ни днем, когда он не видел ее, ни ночью, когда он с ней разговаривал у решетки сада. И дневное одиночество и ночные бдения до предела взвинтили его нервы. Иногда ему казалось, что он слышит какой-то странный шум и чья-то тень скользит совсем рядом. Однажды он проснулся перепуганный, весь в холодном поту: ему почудилось, будто кто-то только что

поцеловал его в лоб долгим нежным поцелуем. Дон Фаустино Лопес де Мендоса, философ-рационалист, устыдился своей мимолетней трусости и малодушия. Между прочим, он ждал привидения три ночи кряду и готов был встретить его мужественно и смело. «Если это только дух, то чего же мне бояться, — говорил он себе. — Тем более, если это дух красивой женщины, в которую я, оказывается, был влюблен. И хотя я не знаю, когда это было, страшиться ее не нужно. Это даже приятно». Уговаривая себя таким образом, доктор успокаивался и смеялся над своей слабостью. Но скоро спокойствие сменилось озабоченностью, и ему было не до смеха, ибо однажды он ясно услышал легкий шум удалявшихся шагов, шуршание женского платья и едва уловимый печальный вздох.

В глубине его души уже множество раз звучала прощальная фраза письма: «Помни о твоей Вечной Подруге». «Может быть я схожу с ума? — спрашивал он себя. — Неужели я так слаб, немоощен, нервен, что фантазии заволакивают мой разум? Неужели я поддамся воле какого-то бездельника только потому, что ему взбрело в голову написать мне глупейшее письмо, которое отняло у меня покой и привело в расстройство и мои чувства и мои силы?»

Эти душевные волнения не мешали, однако, доктору вести прежнее существование. Любовь его к Констансии продолжала возрастать, а любовь Констансии к нему продолжала пребывать в зародышевом состоянии.

Прошло три ночи после получения загадочного письма. Доктор с Респетильей возвращались домой. Свидание не было долгим: шел только третий час ночи. Когда они повернули за угол, к Фаустино подошла какая-то старуха и, обратившись к нему, зашептала:

— Сеньор кабальеро, мне нужно поговорить с вами, но так, чтобы ваш слуга не слышал. Я от Вечной Подруги.

Респетилья поотстал. Доктор подождал его и потом сказал:

— Ступай один, жди меня дома часов до четырех и не ложись.

Одному богу известно, что тут вообразил Респетилья. И пусть донья Констансия простит ему дурные мысли. Он пожелал господину доброй ночи. Сказал он это лужаво и не без зависти, подумав, очевидно, при этом: «Добился-таки своего, а я все зеваю».

Респетиалье не оставалось ничего другого, как повиноваться.

Оставшись вдвоем со старухой, они начали следующий разговор:

— Что хочет от меня Вечная Подруга? Если это проделка какого-нибудь шутника, ему не поздоровится.

— Это не шутка, сеньор кабальеро. Тут дело серьезное. Может быть, в письме, которое вы получили, что-то не так сказано. Но бедняжка в таком состоянии... У нее был жар, когда она вам писала. Теперь она здорова и хочет непременно повидаться с вами.

— Кто эта женщина? Как ее зовут?

— Не знаю, но если бы и знала, не сказала. Мое дело передать вам, чтобы вы шли за мной. Я поведу вас к ней.

— С какой стати я пойду к незнакомому человеку?

— Вы бонитесь, сеньор кабальеро?

— Я ничего не боюсь. Идите вперед. Я пойду за вами, даже если вы поведете меня в преисподнюю.

— Раньше, чем я вас поведу, я должна поставить некоторые условия.

— Выкладывайте, да побыстрее. Я приму их, если они разумны. Мне так любопытно посмотреть на мою Вечную Подругу, что я готов на многое.

— Тогда слушайте. Не старайтесь узнать ее имя; не преследуйте ее и не пытайтесь выяснять, что за дом, куда я вас веду; если вы даже вспомните, где этот дом, то не выясняйте, кто в нем живет; и, наконец, когда я дам вам знак, вы немедленно должны покинуть дом и следовать за мной до того места, откуда я вас веду; потом я вас оставлю, и вы вернетесь домой. Принимаете условия?

— Принимаю.

— Дайте слово дворянина, что вы их выполните.

— Даю.

— Поклянитесь самым дорогим для вас.

— Достаточно слова дворянина.

— Тогда следуйте за мной.

Хотя городок был невелик, доктору пришлось пройти немало улиц и переулков; он шел за старухой и строил всякие догадки по поводу этого приключения. Это могла быть шутка, разыгранная Констансией, ее отцом или кем-то из поклонников девушки, например маркизом Гуа-дальбарбо, тем самым маркизом, который ввел доктора в расход, пригласив в казино. Кажется, он большой

путник. На празднества сюда съехалось много, как их теперь называют, травнат: из Малаги, из Гранады, из Севильи. Могло быть так, что одна из них, увидев доктора на ярмарке, влюбилась в него и, домогаясь свидания, изобрела эту романтическую чепуху, чтобы придать приключению пикантность. Но вряд ли андалусийская девица такого полета — да простят мне ее почтеннейшие товарки! — достаточно грамотна, чтобы составить подобное письмо и замыслить такую сложную интригу. Может быть, Вечная Подруга — это какая-нибудь стареющая ветреница? Или — душевнобольная?

Занятый этими мыслями, доктор не заметил, как старуха привела его к дверям какого-то дома. Она отперла, вошла сама и впустила доктора, потом закрыла дверь, и они оказались в крошечной тьме. Доктор из предосторожности взялся за рукоятку пистолета, заткнутого за пояс. Старуха ощупью нашла замочную скважину в двери, ведущей из прихожей внутрь дома, отперла ее, а ключ спрятала в карман. Здесь было так же темно, как и в прихожей. Женщина взяла доктора за руку и осторожно провела его по лестнице во второй этаж. В полной темноте они миновали еще две комнаты. Наконец подошли к третьей, из которой сквозь дверные щели пробивался свет. Старуха тихонько постучала.

— Войдите, — раздался женский голос.

— Входите, сеньор кабальеро, — сказала старуха.

Дон Фаустино вошел.

Комната была бедно обставлена, но имела опрятный вид. Всю мебель составляли полдюжины стульев и стол, на котором стояла масляная лампа с двумя фитилями. В глубине была еще одна дверь, ведущая в спальню.

Посередине спальни стояла высокая, стройная женщина, одетая в черное... У нее были черные, как эбеновое дерево, волосы, бледное лицо и дивной красоты глаза, тоже черные. Во всей ее фигуре сквозило изящество. Несмотря на бледность и синие круги под глазами, кожа лица была свежа, а лоб чист, — ей можно было дать не больше двадцати лет.

— Сударь, — начала она приятным, несколько дрожащим голосом, — извините, что я вас обеспокоила, первой написав письмо и почти принудив вас к этой встрече. Когда я писала, я была очень возбуждена. У меня был жар. Этим объясняются некоторые несообразности, содержащиеся в письме.



— Сударыня, как я должен понять ваше письмо и что вы называете несообразностями?

— Содержание письма, очевидно, ясно; я имею в виду стиль изложения — он слишком экзальтирован.

— Так вы и есть моя Вечная Подруга?

— Да, это я.

— Вы давно меня знаете?

— Я знаю вас давно, а вот вы забыли меня.

— Напомните, пожалуйста, где и когда мы встречались с вами?

— Послушай, Фаустино. Прости меня, что я называю тебя просто по имени. Мы были так близки, так любили друг друга!



Доктор внимательно вглядывался в ее красивое лицо, и ему даже показалось, что он его помнит, но как-то смутно, и никак не мог сообразить, где и когда он его видел. Приятный, чуть металлический голос пробуждал в нем какие-то неясные, но волнующие воспоминания.

— Слушай, Фаустино, — повторила женщина. — Я уже писала тебе и теперь говорю: в этой жизни я не должна принадлежать тебе. Но я хотела тебя видеть и говорить с тобою, прежде чем мы расстанемся навсегда. Злой рок гонит меня от тебя. Ты должен любить ту девушку. Дай бог, чтобы она оказалась достойной тебя. Будь счастлив с нею. Ты мог бы оказать мне одну услугу?

— Требуй что хочешь, — сказал доктор, думая о том, что либо она сумасшедшая, либо все это злая шутка, либо ему все это снится, либо он сходит с ума.

— Подари мне на память прядь твоих волос.

Произнося эти слова, она подошла к вконец растерявшемуся доктору и ножницами отстригла белокурую прядь.

Все это произошло гораздо быстрее, чем мы рассказываем.

— Итак, ты снова меня увидел, но не забудь меня снова. Если ты будешь несчастлив, позови меня — я приду к тебе и утешу. Сейчас ты счастлив, и я тебе не нужна. Скажи мне откровенно: ты любишь донью Констансию? Только по чести, как и подобает дворянину.

Доктор, не ожидавший такого вопроса, вынужден был сказать:

— Я люблю донью Констансию.

— Уходи, уходи! — воскликнула женщина голосом, в котором слышались боль и раздражение.

Дон Фаустино собрался было уходить, подчиняясь этому властному голосу, но женщина обвила его шею руками; он ощутил на своем лице ее свежее дыхание, закрыл глаза и почувствовал, как она дважды поцеловала его в зажмуренные веки.

На какое-то мгновение доктор был ошеломлен, но, придя в себя, увидел, что женщина исчезла: он слышал только, как щелкнул замок двери в спальне.

Рядом стояла старуха.

— Помните обещание, — сказала она. — Следуйте за мной, и я доведу вас до того места, где мы встретились.

Дон Фаустино понял, что просьбы и увещания бесполезны: он дал слово и вынужден был подчиниться.

Старуха вела его теперь другим путем, нарочно петляя, чтобы он не нашел обратной дороги, и наконец покинула его у самого порога дома доньи Арасели.

## Х

### ДЕВИЦА АРАСЕЛИ

Только после этого таинственного свидания доктор понял, как сильно он любит донью Констансию.

В своей Вечной Подруге он не заметил ничего похожего ни на призрак, ни на демона, в ней не было ничего эфирного, потустороннего, напротив, она показалась ему настоящей женщиной из плоти и крови, привлекательной и красивой, но, несмотря на все это, она не пробудила в нем ни малейшего чувства плотского вожделения: он был до краев наполнен любовью к кузине.

Единственно, что внушила ему безымянная Подруга, была глубокая симпатия и живое любопытство. Но как удовлетворить это любопытство? Он был скрытен по природе, дал себе обещание молчать и в дальнейшем действительно словом не обмолвился о ней ни матери, ни Респетилье.

Тщетно рыскал доктор по улицам, стараясь отыскать дом, где он встретился с незнакомкой. Он плохо запомнил место. Не менее трех десятков домов казались ему похожими на тот, в котором произошла встреча, но он так и не мог определить, какой именно. Встретив на улице стройную женщину, он сразу думал: уж не она ли? Он близко подходил к ней, заглядывал в лицо и убеждался: нет, не она. Иногда он увязывался вслед за какой-нибудь пожилой женщиной в надежде опознать ту самую старуху, что провожала его до дома Вечной Подруги. Но не нашел и старухи. «Кто же она, моя Вечная Подруга?» — спрашивал себя доктор.

Пока доктор сохранял вполне реальное ощущение губ, коснувшихся его закрытых глаз, нежное тепло ее дыхания на своем лице, он ни разу не слышал шума шагов, не видел скользящих теней, не ощущал подле себя присутствия таинственного духа. И мысли его, стремившиеся выяснить, кто была его Вечная Подруга, принимали явно реалисти-

ческое направление. Доктор пытался сопоставить запечатленный образ незнакомки с теми женщинами, с которыми у него было нечто похожее на любовь. Но вызывая в памяти образы этих женщин, он должен был признать, что ни одну из них он не любил. Его первая любовь была и остается донья Констансия. Конечно, ему доводилось испытывать галантные приключения, но все они были такого свойства, что ни одна из героинь этих любовных историй не могла быть его Вечной Подругой: ни хозяйки пансионатов, ни белошвейки, ни гранадские балерины, ни цыганки, ни одна из профессиональных травят, которых он смог припомнить, ни одна из трех-четырех хорошеньких служанок его матери, с которыми тогда, в ранней молодости, он любезничал и фамильярничал несколько больше, чем это приличествовало славному наследнику майората.

Выходило так, что в рамках естественно возможного он никогда не встречал на своем пути Вечную Подругу, за все то время, когда он повзрослел и стал величаться доном Фаустино, и до таинственного свидания, о котором мы рассказывали. Он допускал, что женщина увидела его и влюбилась. Но где, когда? Установить это было невозможно; сам он ее никогда не видел.

Прошло еще дня три-четыре, и живые впечатления или, если так можно выразиться, следы от поцелуев, запечатленных на его веках, стерлись, но образ безымянной женщины, отразившийся в его глазах и проникший в душу, оставался в сохранности. И чем больше проходило времени с того дня, когда он увидел эту женщину во плоти, тем прочнее обосновывался в его душе этот образ и приобретал какую-то фантастическую консистентность. Стоило ему, оставшись в одиночестве, закрыть глаза, как он ясно видел ее, осененную светлым нимбом.

Созерцая этот образ, доктор вдруг стал обнаруживать в нем, хотя и смутно, некоторое сходство, правда, отдаленное и не очень ясно выраженное, с другим образом, сохранившимся в его памяти. В одном из залов материнского дома висел портрет шестнадцатого века, кажется принадлежащий кисти Пантохи де ла Крус. Портрет изображал даму в черном бархатном платье с разрезными рукавами, белыми воротником, жабо и манжетами: шею украшало великолепное жемчужное ожерелье, голову — диадема из бриллиантов. Это был, как все полагали, портрет перуанской принцессы, той самой, на чьи деньги Мендосы выстроили свой родовой дом. Доктору не сразу пришло

в голову, что его Вечная Подруга похожа на перуанку. Он сообразил это только на четвертый день после памятной встречи. Это можно понять, если учесть, что поэтическое воображение доктора было не в ладу с его просвещенным и критически настроенным умом. Рассуждения доктора сводились теперь к тому, что незнакомка, написавшая ему письмо и подарившая его поцелуем, была женщиной из плоти и крови, что ее крестили в приходской церкви, и не в давние времена, а самое большее — лет двадцать тому назад и что нарекли ее Хуаной, Франсиской, Тересой или каким-нибудь другим именем, взятым из календаря.

Доктор рассудил, что имя Вечная Подруга — очень длинное и претенциозное, и потому решил дать ей более близкое его сердцу имя Мария. Возможно, это вышло случайно, но, может быть, в этом проявилось своеобразие романтической эпохи: поэты-романтики перестали называть своих героинь Филирами, Галатеями и Делиями, отказались от других пастушеских имен, языческих и греческих, и ввели в обиход сладкозвучное имя Мария. Даже если они называли свои стихи «К ней», это почти всегда означало «К Марии».

Примечательно, что, дав незнакомке имя Мария и повторив его несколько раз про себя, он не без удивления вспомнил, что перуанка, жившая во времена Филиппа II, тоже звалась Марией. Такое совпадение озадачило его.

Доктор припоминал разные истории из книг и устные рассказы, которые порождали в его воображении абсурдную мысль о том, что между перуанкой и Вечной Подругой могло быть некоторое сходство, но, с другой стороны, они же давали повод для рационалистического толкования этого сходства.

Во-первых, сходство могло быть чисто иллюзорным, поскольку он не совсем четко представлял себе образ перуанки и еще менее четко — образ незнакомки, которую видел всего несколько минут. Он допускал мысль о том, что на его воображение могли подействовать в общем-то сомнительные рассказы о том, что дух перуанки бродит по дому и охраняет сокрытый там клад. Он еще в детстве слышал о том, что дух перуанки был самым беспокойным из всех домашних духов, привидений и призраков. Если комендор Мендоса только и делал, что бродил как неприкаянная душа по чердакам, то перуанка деятельно вмешивалась в семейные дела. По крайней мере так говорили

в Вильябермехе. Доктор отдавал себе отчет в том, что эти и подобные истории могли не в меру подогреть его воображение.

Самым разумным было предположить, что Вечная Подруга — это либо сумасшедшая, либо экзальтированная натура, свихнувшаяся на романтизме, либо скучающая женщина, решившая развлечься и выбравшая неизвестно почему в качестве жертвы доктора. Сходство Вечной Подруги с перуанкой — а оно, несомненно, было — вещь вполне допустимая и вероятная: известны случаи поразительного сходства между людьми, не состоящими в родстве. Могло быть и так, что незнакомка состояла в родстве с доктором, а через него — с перуанкой.

Достоверным было, однако, только то, что и письмо, и свидание, и поцелуи доктор видел наяву. Его чувства безошибочно удостоверяли, что Вечная Подруга была живым существом, обладала речью, дышала, двигалась, что у нее было теплое дыхание и горячая кровь в жилах. Все это доктор прекрасно понимал.

Он был предусмотрителен и приказал Респетилье ни одной душе — даже Мануэле — не говорить, что почти всю ночь, до четырех утра, он провел вне дома. Боясь рассердить господина, Респетилья молчал, подавив в себе природную болтливость, а про себя решил, что донья Констансия не такая притворщица и недотрога, как ее служанка, и что она никак не похожа на памплонские часы, о которых поется в одном известном фанданго.

К несчастью для доня Фаустино, смелые предположения Респетильи были лишены всяких оснований. Донья Констансия все еще никак не могла полюбить своего кузена, а только продолжала желать влюбиться в него, однако виделась с ним еженощно у садовой решетки, правда, очень короткое время.

Напротив, то сердечное расположение, которое доктор вызвал в нежной душе тетки Арасели, возрастало с каждым днем. Это сердечное расположение, в сущности, было любовью, и даже больше, чем любовью. Поскольку эта любовь была бескорыстной, благочестивой и великодушной и поселилась она в душе, заключенной в немощую плоть, обтянутую старой, морщинистой кожей, то она приняла форму свободного, возвышенного чувства, жаждущего найти воплощение в другой душе и в другом теле, молодым и красивым, которое девица Арасели тоже любила и обожала.

Некоторые читатели могут подумать, что я рассказываю о чем-то непристойном и ненормальном. Но если рассудить спокойно, то подобное встречается не так уж редко. К счастью, есть на свете старики и старухи, чье сердце лишено порока себялюбия, не поражено эгоизмом. Они продолжают любить еще более пылко и самозабвенно, чем в молодости. Таким благороднейшим сердцем обладала донья Арасели.

Если бы ее душа вселилась в тело Констансии, которую она любила, может быть, более нежно, чем сам дон Фаустино, то она не только пошла бы на замужество с ним, но — самое главное — готова была бы принять за него все беды, лишения и даже самое смерть.

Вот почему она хотела поженить молодых людей. Они были частицами ее собственной души, и в соединении этих частиц донья Арасели видела свое счастье и утешение.

Горячая, прочная дружба, соединявшая с детских лет донью Арасели с доньей Аной, явилась тем фундаментом, на котором возникло чувство любви к дону Фаустино. Личные достоинства доктора, которые она узнала позже, при встрече с ним, укрепили это чувство. Ее снedaло беспокойство при виде того, как медленно развиваются любовные отношения между племянником и племянницей и как оба они далеки от счастливого их завершения.

Донья Арасели еще дважды разговаривала с Констансией, но результат был тот же.

Полагая, что причиной топтания на месте была робость племянника, донья Арасели решилась наконец поговорить с ним наедине, пригласила к себе и высказалась следующим образом:

— До сих пор я не решалась говорить с тобой напрямик, но теперь вижу, что это необходимо сделать. Мне непонятно, как может такой красивый, умный, способный, ученый молодой человек быть таким безвольным. Мы договаривались с твоей матерью, что ты приедешь сюда, познакомишься с кузиной и, может быть, полюбишь ее. Ты любишь ее. Из дружбы к матери я хотела, чтобы состоялся этот выгодный во всех отношениях брак. С тех пор как ты приехал сюда, я узнала тебя поближе, успела привязаться к тебе всей душой, и теперь уже из любви к тебе я хотела бы устроить этот брак. В этом деле я рассчитывала на тебя, но вижу, что напрасно. Я знаю, ты полюбил мою племянницу. Признайся, что она прелестна, полна обаяния и ты ее обожаешь.

— Да, тетушка, я ее обожаю, — сказал Фаустино.

— Так что же ты молчишь, глупый? Мне известно, что она склонна полюбить тебя. Но где это видано, чтобы женщина сама сваталась и домогалась признания в любви? Дитя мое, ты напрасно теряешь время и упускаешь верную возможность. С тобою может случиться то, что случилось с героем одной старинной комедии под названием «Наказание за нерешительность». Ты почти что прожигаешь и пожираешь ее взглядами, но ведь этого недостаточно: надо говорить с нею.

Доктор, не желая открывать тайну ночных свиданий, возразил на это:

— Но где и когда я могу поговорить с ней, если с нею всегда отец или она в окружении поклонников?

Но здесь донья Ана, нарушая обещание не рассказывать о том, что Констансия прочла ей любовное послание, полученное от доктора, и не будучи в силах скрывать это, воскликнула:

— Не хитри со мной, не скрытничай. Я знаю, что ты писал Констансии, признался ей в любви и просил свидания. Она была со мной откровенна: прочла мне твое письмо и сказала, что собирается ответить. Напиши ей еще раз и увидишь — она тебе ответит. По-моему, она уже тебя любит. Ты либо из трусости, либо из гордости не хочешь ей снова написать. Хотя она и не ответила на первое письмо, но ведь и не отвергла его.

Разговор между теткой и племянником еще долго продолжался в том же духе. Донья Арасели проявила такой напор и так наседала на доктора, что тот, несмотря на свою скрытность, поведал ей о ночных свиданиях и о разговорах с Констансией.

Донья Арасели приняла новость с такой радостью, будто это она сама разговаривала с ним у решетки сада. Ее охватило безумное желание узнать все в мельчайших подробностях: она так смаковала их, словно ее душа была одновременно и душою доктора и душою влюбленной Констансии.

Доктор рассказал все и даже повторял некоторые детали.

— Боже праведный! — воскликнула тетка. — Подумать только: семь раз подряд вы встречались у решетки, укрытые тишиной ночи, при свете мерцающих звезд в саду, где благоухают апельсины и фиалки, вы, такие молодые и красивые, и на тебе, ничего, она даже не призналась тебе

в любви. Надо иметь каменное сердце. Нет, я этого не могу понять. Скажи мне, дитя мое, поведай мне чистосердечно, как на духу, ведь я так тебя люблю, меня так интересует все, что касается тебя: неужели ваши уста не касались друг друга? Неужели ты не поцеловал ее, ну хотя бы в лоб?

— Нет, тетушка. Я только позволил себе поцеловать ее руку.

— Ах, дитя мое, если бы ты не был так правдив, я бы не поверила. Но какова она? Камень, а не женщина. А как скрытна и хитра! Мне — ни слова. Видно, ее ничем не проймешь: ночные бдения и беседы не оставили на ней никакого следа. И кругов под глазами нет, и цвет лица свежий. Вот они, современные девицы! Свежа и румяна как роза. Но ведь и роза теряет лепестки и вянет под палящим июльским солнцем, без единой капельки дождя.

— Тетушка, — отвечал на это Фаустино со вздохом, — я думаю, что Констансия меня не любит. Жар моей любви не может иссушить ее, ибо он для нее просто не существует.

— Нет, дитя мое, не говори так. Констансия тебя любит. Если она тебя не любит и ведет при этом себя так развязно, кокетничает с тобой, то этому нет оправдания. Но этого не может быть. Главное сейчас — чтобы вы полюбили друг друга и поладили на том, чтобы святая церковь скрепила ваш союз, наложив на вас обоих приятное бремя супружества.

Дон Фаустино ничего не мог возразить на столь добрые пожелания и пробормотал слова благодарности. Возбужденная тетка Арасели продолжала:

— Я все устрою сама, иначе — позор мне.

— Тетушка, будьте осторожны, не погубите меня. Ради бога, не говорите Констансии, что я рассказал вам о наших свиданиях.

— Не пугайся и возьми себя в руки. Если так дальше пойдет, то, женившись, ты превратишься в подбашмачника. Успокойся, я ничего не скажу Констансии. Я найду способ завоевать для тебя ее любовь.

— Благодарю вас, тетушка, но нужно быть осторожным и осмотрительным, тут спешить нельзя — мы можем погубить все дело.

— Не беспокойся: партия будет сыграна как по нотам. Твое дело в надежных руках.



— Дай бог, тетушка.

— Слушай, Фаустино, я хочу сказать тебе кое-что. Ты человек ученый, но не смейся надо мной, хотя бы из благодарности за ту мороку, которую я принимаю из-за тебя.

— Какая морока? Может быть, дон Алонсо сердится на вас за то, что вы покровительствуете нам?

— Дело не в этом. Он не сердится, хотя, по правде сказать, и особой радости тоже не испытывает по этому поводу. Этот человек — себе на уме, и сам черт не разберет, чего он хочет. Одно можно сказать наверное: он сделает так, как захочет его дочь, разумеется, если она проявит твердость в известном нам деле. Не стану уверять, что дядя от тебя в восторге. Он считает тебя фантазером, человеком малопрактичным и ненадежным, а кроме того, он обвиняет тебя... Я не решаюсь выговорить, хотя и согласна с ним.

— В чем же он меня обвиняет?

— Он обвиняет тебя... Как бы это сказать?..

— В чем же?

— В недостатке религиозного чувства. Но я-то надеюсь, что ты обратишься на путь истинный. Я читала в Христианском календаре и в других священных книгах, что многие знатные дамы выходили замуж за еврейских, мавританских и языческих царей и потом приобщали своих мужей к истинной вере. Ведь и Констансия может сделать то же самое? Она такой златоуст, так умеет обхаживать людей.

— Разумеется, тетушка. Если Констансия меня полюбит, не сомневайтесь, она может сделать это в два счета — и обратить в истинную веру и все другое. Но в чем же все-таки состоит ваше беспокойство?

— Это сущие пустяки. Я думаю, что ты будешь смеяться надо мной.

— Не буду смеяться. Скажите же наконец.

— Ты знаешь, какие мы, женщины, трусихи. До замужества твоей матери я несколько лет прожила с нею. Да и потом, когда ты уже появился на свет, иногда гостила у нее в Вильябермехе. Позже мы часто переписывались и вообще были близки. Поэтому тебя не должно удивлять, что мне все известно о вашем доме и семье.

— Но что же вызвало ваше беспокойство? Моя бедность? Я этого не скрываю.

— Нет, не то, совсем не то. Повторяю, это бред, глупость, но иногда я испытываю тревогу. Ты знаешь, что бермехинцы рассказывают, будто в вашем доме блуждает дух одного из членов вашего семейства и вмешивается в семейные дела. Твой отец, человек смелый и несуетливый, рассказывал мне, что однажды во сне ему явился этот самый дух и предсказал тебе печальную судьбу. Отец не хотел или не смел сообщить мне подробности. Позже по этому поводу рассказывали всякие нелепые вещи. В одном из залов вашего дома висит портрет некой особы, чей дух отделился от тела и теперь устраивает всякие проделки. В последнее время у меня расходились нервы, и мне показалось, что я видела этот дух в образе женщины, которая изображена на портрете.

— Вы видели перуанскую принцессу? — спросил Фаустино с плохо скрываемым изумлением.

— Да, я видела ее два или три раза во сне. Она гневалась на меня за то — как я поняла, — что я занимаюсь устройством твоей женитьбы. Чепуха, конечно, но это меня пугает. Вот уже несколько ночей под предлогом нездоровья я велела одной из служанок спать в моей комнате.

— Вы видели перуанку только во сне?

— А как же иначе я могла ее видеть? Разве бог допустит, чтобы души умерших разгуливали по свету и пугали людей? Виданое ли это дело?

— Это правда, тетушка.

— Плохо то, что иногда трудно совладать с воображением: когда оно разыгрывается, то порождает видения одно нелепее другого. Я говорю это вот к чему. Как-то на днях я отправилась к ранней мессе, вошла в церковь, выбрала, где было поменьше людей, и стала на колени. Было темно, и я не сразу заметила рядом со мной высокую, стройную женщину, одетую во все черное. Кажется, она усердно молилась. Сама не могу объяснить, но что-то необычное в ее облике привлекло мое внимание. Я еще стояла на коленях, когда женщина вдруг поднялась и, уже собираясь уходить, повернулась ко мне. Тут я впервые разглядела ее лицо, и мне показалось — глупо, конечно, — что она похожа на ту женщину на портрете.

— Вы больше не видели ее? — спросил доктор.

— Нет, больше не видела. Но эта галлюцинация была причиной того, что я еще несколько раз видела ее во сне.

Крестное знамение, надеюсь, избавит меня от этой дьявольщины и я перестану бояться. Я приложу все силы, чтобы женить тебя на Констансин, даже если вмешается сам сатана.

## XI

### ДИПЛОМАТИЯ В ДЕЙСТВИИ

После разговора с племянником донья Арасели пришла к выводу, что нужно ковать железо, пока горячо, либо выходить из игры. Подумала, подумала и решила, что так продолжаться не может — надо предъявить ультиматум и племяннице и своему брату дону Алонсо: пусть они либо дают доктору визу на выезд, либо принимают у себя в качестве официального жениха. К такому решительному выводу она пришла по следующим основаниям.

Дон Фаустино играл теперь довольно глупую роль. В городке все знали — а в маленьких городках все всё знают, — что он приехал свататься, и так как из сватовства ничего не получалось, то это означало отказ, и чем дольше оставался здесь претендент, тем более двусмысленным становилось его положение. Доктор, будучи неопытным в житейских делах, да к тому же влюбленным, не понимал ситуации.

Как ни любила донья Арасели свою племянницу, эта любовь не была безрассудной. Ей казалась дурным признаком скрытность девушки: она давно встречалась с доктором у садовой решетки и ни словом не обмолвилась об этом. Еще худшим признаком была та сдержанность, которую она проявила в течение семи ночных свиданий с красивым молодым человеком, пылко признавшимся ей в любви, не дав положительного ответа и отговариваясь тем, что продолжает вопрошать собственное сердце, какое пока еще молчит. Донья Арасели вспоминала о своей молодости. Из глубоких тайников ее души возникали картины свиданий у садовой решетки, когда она сама вела беседы со своим возлюбленным. Разве можно было устоять — если любишь хоть немного — против нежных и пылких слов, вздохов, признаний, клятв, против желаний, сквозивших в каждом жесте, в томном взгляде, когда все это чувствуешь особенно остро под магическим воздействием тишины, ночной благодати, когда на темном небосводе призывно мигают друг другу влюбленные

звезды, а ласковый ветер доносит благоухание цветов, и вдали слышится воркование горлицы и страстная песнь соловья, и являются тысячи желаний, рожденных и ночью, и весной, и воздухом, и землей, и самим небом Андалусии. Нет, против всего этого девушка в восемнадцать лет не может устоять. Донья Арасели хорошо это помнила.

Надеюсь, читатели поняли — я хотел это показать, — что донья Арасели была скорее податлива и влюбчива, чем строга и сурова. Суровые натуры не станут бегать на ночные свидания и болтать у садовых решеток. Однако могу утверждать, что есть и другие женщины, которые все же бегают к решеткам, влюбляются в своих ночных собеседников и более щедро одаривают их своим благодарным вниманием и милостями, чем Констансия. Хотя, повторяю, может быть и не следует стоять у садовой решетки: нет искушения — нет и преступления. Ведь опьяняет не только вино.

Короче говоря, донье Арасели трудно было понять не то, что скромная, богобоязненная девушка в течение семи ночей бегала на свидания, а то, что она не позволила кузену даже поцеловать себя, ну хотя бы в лоб. Для нежной, страстной, влюбчивой доньи Арасели поведение Констансии свидетельствовало о том, что девушка не любит доктора, а просто забавляется им.

«Действительно, — думала донья Арасели, — надо быть дьявольски толстокожей, чтобы пробираться украдкой в сад глубокой ночью, идти с такой опаской, будто ты совершаешь преступление, и все это для того, чтобы сунуть руку для поцелуя и отделаться фразой: «Не знаю, люблю ли я тебя». Вот и пойми современных девиц!»

Еще одно соображение неизменно приходило в голову тетушке Арасели. Я думаю, серьезные читательницы с ним согласятся. Поведение доньи Констансии трудно было понять до конца. Зачем такая таинственность? Почему бы открыто не сказать, что она любит кузена? Почему нельзя на людях вести себя с ним как с будущим мужем? Донья Констансия этого не делала, но тогда и свидания выглядели делом греховным. Любовью их тоже не оправдаешь: ведь Констансия еще не любила.

После всех этих размышлений и многих других, которые ради краткости я здесь опускаю, донья Арасели накинула мантилью и направилась к дону Алонсо, решив без отсрочки и проволочек уладить дело или, во всяком случае, положить конец неопределенности.

Дон Алонсо был в казино, и тетка застала племянницу одну. Между ними состоялся важный разговор, который я привожу здесь со стенографической точностью.

— Констансия, — начала донья Арасели, поздоровавшись с племянницей и усевшись в кресло, — нам нужно объясниться. Сын самой близкой моей подруги, доверившись моим обещаниям и посулам, приехал сюда, и я не хочу, чтобы его дурачили. Любишь ты его или не любишь? Ты не можешь отговориться тем, что не знаешь, любит ли он тебя. Он признался тебе. Зачем же мучить его? Если ты его любишь, зачем томить его неведением? Если не любишь, зачем обманывать пустыми надеждами? Ведь ты наносишь ему — собственно, уже нанесла — глубокую, может быть, смертельную рану.

— Тетушка, — отвечала донья Констансия, — вы говорите со мной так резко. Это вы наносите мне рану. Подумайте сами, что я вам могу ответить? Я хотела бы полюбить кузена, но я его еще не люблю. Разве это моя вина? Ведь сердцу не прикажешь.

— Что же у тебя за сердце такое? Ты ежедневно видишься с ним, разговариваешь, общаешься, а сердце не говорит ни да, ни нет.

— В том-то и дело, что сердце не молчит. Оно говорит одно, а голова — другое. Между ними происходят жестокие споры. Они приводят меня в отчаяние, просто убивают.

— Доверься мне, Констансита, — мягко сказала донья Арасели, привлекая к себе девушку и нежно ее обнимая.

— Я вас очень люблю, тетя, вы так добры ко мне. Я открою вам мою душу: откровенно и прямо, как на духу, расскажу вам о тех сомнениях, которые меня тревожат.

— Говори, дочка, говори.

— Не смейтесь, тетя, но я еще совсем ребенок, я неопытна и ничего не смыслю в любви. Очевидно, у любви есть свои фазы и степени. Мне кажется, что до какой-то степени я люблю кузена. Он славный, умный, образованный юноша. У него масса достоинств. Для иной девушки половины или четверти той любви, которую я к нему испытываю, вполне хватило бы, чтобы считать его своим женихом или будущим мужем. Но я слишком много рассуждаю, и, чтобы решиться на это, мне необходима любовь удвоенной или утроенной силы. Я верю, что он меня

любит, но и мне нужно, чтобы он любил меня удвоенной или утроенной любовью.

— То есть как это? Не понимаю.

— Очень просто. Удвоенная или утроенная любовь — это значит любовь огромная, возвышенная. Только в этом случае наш союз был бы счастливым. И где бы мы ни жили, здесь или в Вильябермехе, мы жили бы прекрасно. Мы заботились бы о наших имениях и приумножали их. Наши дети, став хозяевами этой земли, приумножили бы ее славу. Так, в мире, любви и согласии, прошли бы мы по дороге жизни, усеянной цветами, и ничто не нарушило бы нашего спокойствия, не отравило бы волшебного, неисчерпаемого источника нашего счастья. Но без огромного чувства любви, которого, увы, у нас нет, мы были бы несчастливы, даже став мужем и женой. Я не захотела бы жить ни здесь, ни в Вильябермехе, Фаустино — тоже. Он очень честолюбив, но у него ничего нет; у меня тоже не много: отец может дать мне самое большее три-четыре тысячи дуро годовой ренты. В Мадриде на эти средства не проживешь. Допустим даже, что Фаустино — гений, чудо природы, но и тогда он вряд ли сможет заработать своими стихами, литературой и философией тысячу дуро в год. Уверена, что и этого не будет. Он может пуститься в политику, занять на полгода, на год важный пост, который непременно потеряет. Фаустино — человек особого склада, он скорее похож на певчую, чем на хищную птицу, и ему суждено быть бедняком. Можно предположить, что ему повезет, он доберется до самой высокой ступени, станет процветать, но и в этом случае сумма, которую он будет копить всю жизнь, едва ли составит двадцать тысяч дуро, то есть не превысит той же тысячи дуро годового дохода. Я не отрицаю: Фаустино может блистать в обществе, прославившись как ученый, оратор или поэт, но блеском нельзя оплатить портниху, завести модную обстановку, карету, лошадей, драгоценности, наряды — словом, ничего такого, в чем нуждается женщина, тоже желающая блистать в обществе. Незавидная участь довольствоваться отблеском славы своего мужа. Ну, раз-другой он вытянет меня в свет, и я окажусь в обществе знатных дам. Все равно для них я выскочка, человек низкого происхождения. Они стали бы спрашивать: «А эта, кто она?», и кто-нибудь ответил бы: «Эта? Жена министра такого-то» или: «Эта? Жена доктора Фаустино». Спору нет: хуже, когда муж безвестен и его знают только по жене. Таких мужчин

тоже немало. Оскорбительно и обидно, когда имя мужчины называют в сочетании с титулами жены: это муж доньи такой-то или графини такой-то. Но не менее обидно и оскорбительно обратное. С этим я никогда не смирюсь. В общем, с отцовскими деньгами, которые у меня будут, и с иллюзиями и туманными надеждами, которые в избытке у доктора Фаустино, жениться глупо, если нет страстной любви, ради которой стоит жертвовать честолюбивыми мечтами и славой и жить в каком-нибудь захолустье. Не думайте, что я не понимаю прелести такой жизни. Прекрасно понимаю и буду добиваться такой жизни всеми силами. Я сделаю все возможное, чтобы сотворить в моей душе страстную любовь. Она смирила бы во мне гордыню и подавила другие страсти. Я готова сделать все возможное, чтобы сотворить в его душе такую любовь, которая убила бы в нем честолюбие и все его ложные иллюзии. Я не обольщаюсь: кажется, мне не удастся сделать ни то, ни другое. То, что я назначала дону Фаустино свидания, разговаривала с ним, разрешала целовать руку и почти призналась ему в любви, я сделала не из пустого кокетства, но движимая жаждой любить, грезами о прелестях скромной деревенской жизни, желанием избыть другие грезы и иллюзии. Он был красноречив, пылок, нежен, но его любовь была замешена на собственных мечтах о славе. Пытаясь увлечь меня, он на все лады расписывал свои планы на будущее, разжигая тем самым и мое честолюбие. Мужчины забывают, что женской душе не чужды страсти.

— Бедная девочка! — печально, чуть не плача, воскликнула донья Арасели. — Меня поражает, изумляет и убивает то, что вы, современные девушки, все знаете наперед, все взвешиваете. В наше время было иначе.

— Тетушка, во все времена было одинаково. С другой стороны, не моя вина, что я все знаю и все взвешиваю. Я рассуждаю так, как научил меня отец. И сам жених, натура поэтическая, учит меня рассуждать точно таким же образом.

— Но ты рассуждаешь плохо и неправильно. По-твоему, чтобы не казаться судомойкой или выскочкой, достаточно иметь в кармане три-четыре тысячи дура. Но ведь в бриллиантах и в прочей мишуре нуждаются либо дурашки, либо дуры, чтобы привлекать всеобщее внимание. Умницы и красавицы вроде тебя завоевывают признание в обществе и блистают в свете без всяких драгоценностей и побрякушек. Разве красота не сокровище? А истинный



ум — разве это не редкий бриллиант? Кто же посмеет не признать такую благородную даму, как ты, даже если у тебя не будет экипажа?

— Запомни, тетушка: в наше время — да, очевидно, и прежде — настоящую аристократию создают деньги. Без денег я буду плебейка, хотя бы и происходила от самого Сида, а с деньгами — я личная дворянка, даже если бы вела свое начало от контрабандиста, лакея, работного или даже разбойника.

Донья Арасели еще пыталась было спорить с Констансией, но скоро отчаялась и сдалась, однако не из-за недостатка убежденности, а из-за неумения логически мыслить и правильно выражать свою мысль.

— Что же ты намерена делать? — спросила тетка.

— Если бы у меня было двадцать тысяч дура годового дохода, — сказала Констансия, — я бы, не раздумывая,



вышла замуж за кузена. Разве это не доказывает, что я его люблю? Если бы у меня ничего не было и я была бы бедна, как он, я тоже пошла бы за него, ибо он, беря меня в жены, доказал бы мне свою истинную, глубокую любовь, удовлетворил бы мое самолюбие и своим благородным поступком побудил бы меня стать такой же благородной. Но мой посредственный достаток устраняет эти две поэтические крайности и помещает меня и его в самую середину обыденной, прозаической жизни, столь мерзкой, что мне не остается ничего другого, как отказать ему, разумеется, самым деликатным образом. И поверьте мне, тетушка, я сожалею об этом. Очень сожалею. Ведь я же люблю его — как же мне не сожалеть?

Сказав это, девушка залилась горькими слезами, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку.

Донья Арасели была в растерянности. Она подумала о том, что неудачи преследуют ее во всем, что касается любовных дел, как тех, в которых она играла первую роль, так и в том, в котором она играла третью. Рок безбрачия преследовал ее. Это все понимали. Жестокая судьба гнала от нее бога Гименея. Раньше, в молодости, ей не удалось собственное замужество, теперь, в старости, ничего не вышло со сватовством. Вот какие печальные мысли теснились в ее голове, и она тоже расплакалась. Дуэт безутешно оплакивал несостоявшуюся любовь доктора Фаустино.

Казалось, это скорбят матери, как скорбели когда-то матери на острове Крите и на других островах, оплакивая кровных своих сыновей, которых вели к жертвеннику на заклание, чтобы умиловить великих богов Кабуров и других неумолимых духов преисподней, ревниво охраняющих сокрытые в недрах земли металлы.

Наконец, вдоволь наплакавшись, они утерли слезы и должны были признать, что делу ничем помочь нельзя.

В тот день, как всегда, светило яркое солнце. Потом пришла ночь, и были все звезды, и ни один цветок не уронил ни единого лепестка. Днем Констансия, как обычно, вышла на прогулку, а вечером принимала гостей. Она была спокойна, словно ничего не изменилось, как не изменились солнце, звезды и цветы.

Донья Арасели тоже пыталась скрыть дурное настроение, но сделать это так, как сделала Констансия, ей не удалось. По заведенному обычаю она села за карты. Проигрывая, донья Арасели всегда волновалась и сердилась.

лась, а в тот вечер — особенно. Она жаловалась на свою злую судьбу, вздыхала, сопела, а когда маркиз де Гуадалбарбо трижды не очень вежливо подтолкнул ее локтем, назвала его грубияном. Ее даже подмывало обзвать его шулером. Вот до какой степени донья Арасели потеряла власть над собой и забыла правила приличия!

В час пополудни доктор в сопровождении Респетилии снова направился к садовой решетке. Донья Констансия запаздывала больше, чем обычно. Наконец она появилась, заплаканная, взволнованная и печальная.

— Фаустино, — сразу начала она, — отцу все известно. Не знаю, кто ему сказал. Он вырвал у меня обещание больше с тобой не встречаться. Отец решительно против нашей любви, и я не могу противиться его воле. Неумолимый рок разлучает нас. Забудь меня. Пожалей меня. Теряя тебя, я хочу открыть тебе мою душу. Я не могу больше скрывать: я люблю тебя!

Это «я люблю тебя» должно было подсластить горькую пилюлю плохо замаскированного отказа. Но доктор понял это «люблю тебя» (может быть, он и не ошибался: чужая душа — потемки) как самую главную правду в прощальных словах доньи Констансии. Он тут же сказал, что похитит ее, увезет ее хоть сейчас, и заверил, что из любви к ней готов преодолеть все трудности и не побоится гнева сильных мира сего.

С необычайной ловкостью, не оскорбляя самолюбия доктора, донья Констансия старалась доказать, что планы умыкания и свадьбы без отцовского благословения и уединенная жизнь в Вильябермехе — чистый бред. Она пыталась также убедить, что отец, противясь их любви, прав, что они, даже сильно любя друг друга, будут несчастны, став мужем и женой, что само небо отвергнет подобный союз, что перед доктором открыта дорога к славе и к счастью, тогда как она, вместо того чтобы дать ему крылья для полета, станет ему обузой, набросит на него такие тяжелые кандалы, что он едва сможет волочить ноги.

В общем, Констансия говорила красноречиво, вдохновенно и была ослепительно хороша. Жаль, что я сейчас не в ударе и не могу точно передать все то, что она говорила. Ее речь могла бы служить образцом и примером для тысячи подобных речей, которые часто вынуждены произносить девушки.

Несчастный доктор, несмотря на то, что чувствовал себя опустошенным, покинутым, поправленным, должен был благодарить Констанцию.

Не надо думать, что Констансия была расчетливой кокеткой, бессердечной обманщицей и лицемеркой. И утром, в разговоре с теткой, и вечером, беседуя с доктором, она была сама искренность и невинность. Она не лукавила, говоря, что любит доктора, ибо действительно любила его и любила пылко, но прежде всего она любила себя, свой привычный комфорт, была по-женски тщеславна, мечтала блистать в свете и добиться успеха в обществе.

Даже убежденность Констансии в том, что ее душа родственна душе доктора в том смысле, что их обоих обуравляют страстные противоречия, терзают противоположные чувства, делала кузена в ее глазах симпатичным. Такого человека можно было любить и даже обожать. Но больше всего она любила его за то, что отказывала ему и прогоняла его от себя.

— У меня разрывается сердце, — говорила донья Констансия, — но нам нельзя больше встречаться, мы должны забыть безумство последних дней, эту мимолетную иллюзию любви, любви опасной и нечистой.

Так, погружая кинжал в сердце своей жертвы, она увенчивала ее утешительными цветами.

Голос ее дрожал и прерывался от рыданий и всхлипываний. По щекам катились крупные слезы.

И тут произошло событие, которое, по мнению доньи Арасели, должно было случиться раньше. Оно случилось — ничего не поделаешь. Донья Констансия, не переставая плакать, приблизила свой чистый, невинный лоб к самой решетке, и доктор в величайшем волнении запечатлел на нем поцелуй.

— Прощай, Фаустино, прощай! — сказала Констансия, собираясь уже уходить.

— Ты покидаешь меня. Это жестоко! — воскликнул дон Фаустино.

— Так надо. Это веление судьбы. Прощай и не презирай меня.

— Презирать... тебя? Никогда. Пусть бог даст мне силы разлюбить тебя.

— Разлюби меня. Полюби другую, более достойную, чем я, более счастливую, чем я. Но сохрани обо мне приятное воспоминание. Прощай, дружок.

Констансия отошла от решетки и исчезла вместе с Манолилей, которая только что любезничала с верным оруженосцем доктора Фаустино, едва сдерживая слезы. Но когда он пришел к себе и остался один, он много плакал и дурно провел остаток ночи.

На следующее утро, сказав, что он получил письмо от матери и что она нездорова, стал поспешно готовиться к отъезду.

После церемонии прощания с дядей доном Алонсо и с кузиной Констансией, распределив пятьсот реалов между слугами, приняв в качестве утешительной компенсации миллион поцелуев от плачущей тетки Арасели, доктор отбыл в Вильябермеху в сопровождении Респетильи, погонявшего мула, груженного баулами с двумя мундирами и прочим нарядным платьем, которое так и не пригодилось.

Пусть едут они в мире и спокойствии, если это только возможно, а мы будем молить бога, чтобы он ниспослал доктору силы и мужество пережить грядущие горести и печали.

Мы с читателем задержимся еще на несколько дней в родном городе Констансии и поведаем о событиях первостепенной важности для нашей правдивой истории.

## ХII

### МАРКИЗ ДЕ ГУАДАЛЬБАРБО

Человеку, именем которого названа настоящая глава, было около пятидесяти; он был вдов, детей не имел, и доход его составлял двадцать пять тысяч дуро в год.

Старый феодальный замок Гуадальбарбо располагался на обширных и плодородных землях, откуда, по рассказам маркиза, его пращуры в течение шести-семи веков свершали набеги против мавров. Злые языки утверждали, что дед маркиза был сборщиком податей; разбогатев при Карле III, он купил землю и несколько ферм; отец маркиза получил титул позже и добился этого благодаря умению развлекать королеву Марию Луизу разными остроумными шутками и проделками. Как бы там ни было — то ли ценой кровопусканий в борьбе с неверными, то ли за счет слез и пота верных христиан, то ли благодаря умению развлекать королеву и вызывать ее улыбку, — Гуадальбарбо оказался обладателем титула маркиза

и ренты. Это достоверно известно, а откуда и как они появились, не так уж важно.

Маркиз унаследовал от отца веселый нрав, остроумие и обходительность, которые оказались в свое время очень полезными, но, по существу, это был человек серьезный, сдержанный и даже суровый. Его старшая сестра, графиня дель Махано, была святой женщиной; он постоянно советовался с нею, а вся ее жизнь служила ему образцом и примером для подражания.

Желая осмотреть свои владения и отвлечься хотя бы ненадолго от придворных интриг и суеты столичной жизни, маркиз предпринял эту поездку и заехал к дону Алонсо, с которым у него были хозяйственные дела.

Уже месяц, как он находился здесь, и графиня дель Махано буквально ломала голову, стараясь найти причину столь длительной отлучки. Маркиз писал редко и в письмах был лаконичен.

Однако по истечении десяти дней после отъезда доктор Фаустино он разразился длинным посланием к сестре, которое мы приводим здесь целиком.

В письме говорилось:

«Дорогая сестра! Когда я объясню тебе причины моего затянувшегося пребывания здесь, ты перестанешь удивляться. Ты сама постоянно говорила мне о безалаберности столичной жизни, о распущенности нравов, о сварах и ссорах, происходящих при дворе, и сама побудила меня поехать в деревню и пожить среди простых, неиспорченных людей.

Мне здесь очень нравится. Здесь я обрел друга в лице знатного родом помещика дона Алонсо де Бобадилья, который счастливо сочетает в себе два редких достоинства: деятелен, умеет вести свои дела, отлично разбирается в земледелии и скотоводстве, словом — хозяин не промах, и в то же время набожен, благочестив, ревностный католик. Я редко встречал таких людей. Когда он свободен от забот по хозяйству, он умеет принять гостей, соблюдает праздники и изредка посещает казино.

Дружба с ним полезна в двух отношениях: его хозяйственные советы помогут мне наладить мои собственные дела, а его обходительность делает приятным духовное общение с ним.

Дон Алонсо — тоже вдовец, как и я, но, в отличие от меня, у него есть очаровательная дочь. В жизни не встре-

чал более чистого создания. Не думай, что это какая-нибудь провинциальная дурочка, темная и необразованная. Совсем нет. Констансита — так зовут девушку — умна, образования, у нее веселый нрав, ум ее достаточно развит, и при этом она получила строгое религиозное воспитание, даже несколько суровое. Одно удовольствие наблюдать в ней сочетание детского лукавства, шаловливости, веселья с чистосердечием и непосредственностью. Оттого и шалости ее милы и невинны.

Воспитывала ее родная тетка, девица Бобадилья, и держала ее в такой строгости, что это принесло удивительные плоды. Теперь Констансита — настоящая женщина, вполне, как выражается ее отец, оперившаяся, и не нуждается больше в опеке своей наставницы. Тетка живет отдельно, а Констансита — с отцом, который словно аргус ни на минуту не оставляет ее без присмотра.

Девушка не прочла ни одного безнравственного романа, которые теперь в моде, но зато знакома с благочестивыми книгами, читает Христианский календарь и кое-что из истории. Она умеет шить и великолепно вышивает: в подарок отцу она расшила футлярчик для трубки с таким искусством, что просто диво; она хорошо готовит самые разнообразные кушанья и сладости: ее научили этому монахини монастыря, где она провела года два-три вместе с теткой и откуда отец увез ее только что не силой — так она подружилась со своими духовными сестрами и столь велико было ее желание остаться там и принять обет. Словом, это сущий ангел, спустившийся на землю. Она помогает нищим, посылает цветы и свечи в церковь того монастыря, где ее воспитывали, и горячо поклоняется мадонне.

Тетушка, которую все зовут барышня Арасели де Бобадилья, очень добрая женщина, но сердится, когда играет в карты и проигрывает, хотя играем мы по маленькой. Я говорю «мы», потому что часто составляю ей партию.

Мне никогда еще не приходилось видеть людей, которые так мало заботились бы о своих личных выгодах, как донья Арасели и добряк дон Алонсо. Суди сама. Есть у них один родственник, проживающий в небольшом местечке неподалеку отсюда, он гол как сокол, но они решили — веришь ли? — пригласить его к себе и выдать за него Констансию, если молодые люди понравятся друг другу.

К счастью, этот самый родственник, пробывший здесь несколько дней, оказался педантом, начиненным дурными и отвратительными идеями, которые внушаются ныне в университетах, и безбожником: здесь никто ни разу не видел его в церкви. Разве мог этот ничтожный человек понравиться Констансии? Она едва смотрела в его сторону, хотя была с ним вежлива, как и положено обходиться с родственниками. За жениха она его, конечно, не принимала. Наверное, ей даже в голову не приходило, что он приехал просить ее руки. Несмотря на свою сообразительность и непримиримость ко всему, что могло бы склонить ее на дурное и толкнуть на путь греха, бедняжка ровно ничего не смыслил в некоторых вещах, словно наивный ребенок. Я в этом убедился, и это особенно меня в ней восхищает.

В конце концов кузен-безбожник убрался восвояси не солоно хлебавши и не добившись, я уверен в этом, ни единого благосклонного взгляда. Я вообще сомневаюсь, чтобы ее прекрасные глазки были способны на такое бесстыдство. Я наблюдал за нею и не заметил, чтобы она смотрела на кого-нибудь со значением, взгляд у нее всегда естественный и открытый. С любовью она смотрит — и как смотрит! — только на отца и статуи святых в церкви.

Как не похожа она на мадридских девиц, у которых женихи водятся стаями, которые кокетничают направо и налево, которые все познали и ведут себя развязно.

Ты не можешь себе представить, как часто я вспоминаю о тебе: ты всегда справедливо осуждала девиц из высшего мадридского общества; мне было это на пользу, так как я иногда готов был вступить с ними в близкие отношения, а ты отвращала меня от гибельных поступков, указывая на опасности, которые мне угрожали.

И теперь я говорю себе: «Как Констансия не похожа на наших девиц. Моя сестрица не стала бы ее осуждать».

Однако ближе к делу. Тебе первой я сообщаю новость: я до безумия влюбился в Констансию. За ней нельзя водочиться, как за иными девицами, ей не будешь шептать на ушко двусмысленности, не вытянешь просто так на танцульку, с ней невозможно вступать в отношения, которые не завершились бы браком. Этого не позволяет ее порядочность, чувство собственного достоинства, строгость поведения, прямота и невинность, а также то уважение, которое внушает ее отец. Плененный достоинствами девушки и влюбившись в нее до безумия, я нашел един-

ственно возможный и достойный выход: попросил у дон-Алонсо де Бобадильи руки его дочери доньи Констансии.

Дон Алонсо ответил, что считает за честь иметь такого зятя, но не хочет ни в чем поступать против воли дочери, что он с нею посоветуется, а она сама решит все окончательно.

Констансия попросила десять дней на обдумывание.

Сегодня истек срок, и Констансия сделала меня счастливейшим из людей, дав свое согласие».

Так заканчивал маркиз свое письмо. Я опустил только пожелания здоровья и многочисленные приветы.

Забегая несколько вперед и нарушая строго хронологический порядок изложения, скажу, что через три недели после этого письма была отпразднована свадьба Констансии с влюбленным маркизом в присутствии добродетельной графини дель Махано, прибывшей дилижансом из Мадрида. Констансия держалась, как всегда, скромно: она вообще не признавала шумихи, пышности и помпы. Дон Алонсо вместо обещанных трех-четырёх тысяч годового дохода определил ренту в две тысячи. К ним щедрый маркиз добавил еще несколько тысяч, с тем чтобы жена могла достойно одеться и существенно пополнить запас драгоценностей и украшений, который, как он заметил, был невелик.

### ХІІІ

#### КРИТИКА РАЗУМА

Доктор вернулся в Вильябермеху без каких-либо приключений, достойных упоминания.

Фаустино поведал матери историю своей любви к донье Констансии (в письмах он этого не сообщал) и рассказал о печальной развязке. Матушка напустилась на племянницу, но более сурово осудила поведение дон-Алонсо де Бобадильи.

После этой естественной и извинительной вспышки у доньи Аны Эскаланте де Лопес де Мендоса сжалось сердце: ей больно было сознавать, что так жестоко унизили и оскорбили ее бедного сына. И теперь уже доктор должен был утешать ее, говоря, что едва ли отказ можно считать оскорблением, ибо влюбился он в Констансию, а не в ее отца, и что унижения тоже не было, поскольку



свадьба расстроилась по соображениям материального характера, выдвинутым доном Алонсо, и по соображениям благоразумия, высказанным Констансией, которые и сам доктор принял и одобрил.

Прошло несколько дней, когда вдруг они получили по почте письмо с официальным уведомлением о предстоящем бракосочетании доньи Констансии с маркизом дель Гуадальбарбо. Гнев, охвативший донью Ану, не поддается описанию, и доктору пришлось немало потрудиться, чтобы успокоить ее разумными доводами. В конце концов они успокоились, ибо всякое волнение когда-нибудь проходит, оба впали в состояние тихой меланхолии и стали жить-поживать в своей Вильябермехе еще более замкнуто и уединенно.

Донья Ана продолжала умело распоряжаться своим небольшим капиталом, хотя почти все доходы с него уходили на уплату процентов по закладным, и со знанием дела вела домашнее хозяйство. Благодаря строгому режиму экономии ей удавалось содержать барский дом в порядке.

Между тем доктор занимался науками, размышлял, совершал длительные прогулки пешком и, желая увеличить кругозор, взбирался на холмы, особенно часто на Аталайю. Иногда он брал лошадь и ехал на лучшую из своих ферм. Она располагалась в приятном месте: на одном из холмов, вдали от больших дорог.

Единственным лицом, кроме матери, с которым доктор общался, был Респетилья, который умел развлечь его, а иногда даже выжать улыбку рассказами и небылицами о местных жителях. За отсутствием другого партнера доктор упражнялся со слугой на саблях и в фехтовании, довольно часто ставил ему синяки и шишки, но нередко страдал и сам, ибо, не получив достаточного образования в этом роде занятий, он не стал большим мастером. Хотя у доктора была достаточно быстрая реакция и на каждый выпад противника он отвечал десятками ударов, однако редкие удары и уколы Респетильи были такой страшной силы, что десятая часть уплаты фактически стоила всего урожая синяков и шишек, собранных слугою. Эти упражнения были полезны обоим для души и тела. Барин и слуга испытывали необходимость в ежедневных сражениях, и оба получали от них удовольствие.

Несмотря на разговоры и сражения с Респетильей, несмотря на длинные беседы с матерью, у доктора была

уйма свободного времени и днем и ночью. Оставаясь наедине с самим собою, он с удовольствием сосредоточивался на собственной персоне, разбирал случаи из своей жизни, зондировал глубины своего сознания.

Доктор ничего не сказал матери о таинственной незнакомке, но сразу же по приезде пошел в квадратный зал, чтобы посмотреть на портрет перуанской принцессы. Он внимательно всматривался в изображение, но не мог определить, было ли действительное сходство между перуанкой и Вечной Подругой или мнимое. Правда, Вечная Подруга, кажется, совсем его забыла, и воспоминание о ней хотя и не исчезло полностью, но сделалось каким-то размытым.

Произведение Пантохи было великолепно, но это было только изображение: оно ничего не могло пробудить в докторе, кроме приятного художественного впечатления. Кроме того, доктор знал, что это был портрет его прапрабабки, умершей триста лет назад, а это подрезало, конечно, крылья воображения.

В одной восточной сказке доктор прочел о принце, который среди сокровищ своего отца нашел портрет прекрасной женщины и влюбился в нее, так как считал, что модель жива и здравствует. Он стал искать по свету свою любимую. И только после многих лет странствий принц узнал, что дама, в портрет которой он влюбился, была одной из самых прекрасных и любимых жен в гареме царя Соломона. Если бы принц знал, что женщина эта жила в глубокой древности, он никогда не влюбился бы в нее.

Получалось, что доктор вел себя так же сумасбродно, как принц из восточной сказки.

И все же доктору доставляло такое удовольствие смотреть на портрет, он проникся к нему такой нежностью, что перетащил его с верхнего этажа к себе, в нижний, а вместо него повесил портрет одного из своих предков, украшавших нижний зал.

Надо сказать, что доктор не забывал о своей Вечной Подруге и продолжал строить догадки о письме и о странном свидании с нею. Отправной точкой для гипотез служил реальный факт существования этой красивой женщины, которую можно было видеть и ощущать во плоти, в материальной оболочке. Но кто она такая? Он прекрасно понимал, что сущность ее состоит не в том, что у нее есть глаза, рот, руки, лоб, тело, а в чем-то другом; главное заключалось в чем-то невидимом, и это невидимое зовется

духом. Но, определив ее сущность таким образом, он не продвинулся ни на шаг вперед. Его безбожная наука не могла проникнуть по ту сторону сущего. Можно ли считать дух некой самостоятельной сущностью, или это только результат сцепления и согласования отдельных материальных частей, некая божественная гармония, источаемая конгломератом органов? Если дух — самостоятельная сущность, то он пребывал до рождения и пребудет после смерти. Но в таком случае разве не может быть так, что и в той женщине из плоти и крови пребывает ныне дух перуанской принцессы? И нельзя ли предположить, что дух, который вдохновляет его ныне, — это тот же самый дух, который вдохновлял одного из его предков — возлюбленного и мужа перуанской принцессы? Но тут же он отвергал эти допущения, как бессмысленные.

«Какие основания думать так, — рассуждал он, — если я ничего не помню из того, что было до меня? Я не могу ничего припомнить даже из той поры, когда я покинул детство и вышел на яркий свет. Вероятно, можно сказать, что материальный свет дал моим глазам возможность запечатлеть предметы чувственного мира, человеческое слово, коснувшись звуковыми волнами моего слуха, открыло мне истину, и только тогда дух, находившийся в зародыше, обрел самостоятельную сущность и познал ее, утвердив тем самым собственное бытие».

Хотя доктор и был более склонен к сомнениям, чем к утверждению или отрицанию чего-либо, все же он пришел к выводу, что его Вечная Подруга не могла быть перуанкой, а он был не кем иным, как доктором Фаустино. Он не утверждал, что загробная жизнь существует, но и не отрицал этого: он колебался. Когда доктор допускал возможность потусторонней жизни, он воображал себя таким, каким он был в прошлом: те же формы, тот же характер, то же имя, тот же облик. Мысль о возможности продолжения жизни по ту сторону приходила ему в период приступов энтузиазма, и тогда все идеальное, возвышенное, что можно было представить себе в загробном мире, в иных сферах, в небесных высях, он находил у земного доктора Фаустино, хотя тело его и состояло из материальных атомов, а не было соткано из божественного небесного света.

«Однако, — продолжал размышлять доктор, — куда девается мой дух, когда я сплю? Ведь жизнь не обрывается, не останавливается. Может быть, сон — это вид смерти?»

Но если я сплю не очень крепко, я ощущаю себя, и когда я просыпаюсь, ясное и четкое воспоминание о предыдущей жизни подтверждает истинность моего бытия. Если понимать смерть как долгий, глубокий сон между двумя фазами существования, то почему моя душа, просыпаясь, то есть рождаясь заново, не сохраняет четких и ясных воспоминаний о прошедших фазах бытия? Если таких воспоминаний нет, то нет никаких оснований верить в науку древних индусов, которая некогда пришла к нам в Европу, правда, в несколько измененном виде. Я всегда остаюсь тем, кто я есть. Несмотря на изменения и смену состояний, сущность моя постоянна: это золотая нить, на которую нанизывается ожерелье из отдельных жемчужин. Весь видимый мир и мои впечатления о нем, мои радости, горести, надежды, разочарования, сомнения, знания — все это нанизано на золотую нить, которая неизменна. Иногда мне кажется, что у нее нет конца. Но можно ли верить в ее бесконечность? Можно ли верить в ее безначальность, если я вижу начало нити? Если мы видим во сне, что она оборвалась, то воспоминание о том, что было до сна, сразу же связывает ее. Почему же после телесной смерти воспоминание не связывает то, что есть сейчас, с тем, что было до нее? Может быть, это происходит потому, что со смертью тела дух омывается в реке забвения? И не сливается ли мой дух с мировым духом? Да и существует ли отдельно мир духа, подобно тому как существует мир природы? Может быть, взаимопроникновение этих двух миров и есть Человечество? Если бы это было так, то, не веря в существование моей личности до моего рождения и после моей смерти, я должен был бы сомневаться и в реальности моего теперешнего существования. Кем же я тогда являюсь, если не видимостью, эфемерной иллюзией? При этой концепции реальные две сущности: природа, с одной стороны, и дух — с другой, как две формы той же субстанции. Но тогда и мое бытие и мое сознание — иллюзорны, и утверждение себя как существа смертного и преходящего означало бы противопоставление себя всем другим существам».

В подобных рассуждениях доктор проводил дни и ночи, сидя в нижнем зале, где висели портреты его предков, включая перуанскую принцессу, и где было зеркало. Пребывая в полном одиночестве и не боясь, что его могут увидеть и принять за сумасшедшего, он ощущивал себя, смотрелся в зеркало и видел свое отражение, шагал по

залу и слышал свои шаги, разговаривал сам с собою и слышал свой голос. Ему самому было смешно доказывать реальность своего существования столь наниным образом. Потом он закрывал глаза и долго сидел в неподвижности, отрешившись от всего, даже от мыслей. Доказательство собственного существования было полным: он существовал не потому, что видел себя, ощущал наощупь, ходил, слышал, мыслил, а потому, что просто был. Потом он манипулировал нитью своего бытия. Она состояла из отдельных отрезков как бы разделенных узлами. На некоторых отрезках его бытие подтверждалось нанизанными мыслями, идеями, желаниями, далее нить оказывалась оголенной — ни единой бусинки, потом он видел начало нити, потом — нити не было.

Однажды ночью, дойдя именно до этой стадии рассуждений, он захотел увидеть начало нити, для чего подошел к письменному столу и извлек метрическое свидетельство о рождении, которое подтверждало, что родился он в 1816 году, и тогда он понял, что до этой даты не было доктора Фаустино ни в духовном, ни в материальном смысле, он понял также, что все существа, населяющие беспредельное пространство, и все события и изменения, случающиеся во времени, существовали и случались без какого бы то ни было вмешательства с его стороны.

Потом он продолжал рассуждать:

«В вечном движении жизни, в смене событий и поколений я появился совсем недавно. Так что же со мной будет? Неужели я низвергнусь, уйду в ничто, исчезну навсегда, или я буду существовать вечно? Разве та субстанция, которой являюсь я теперь, не претерпевала изменений? И моя оболочка — разве она не подвергалась изменению под влиянием случая? Но, может быть, моя форма тоже не меняется существенным образом. Отчего бы ей меняться?»

В результате подобных рассуждений доктор пришел к заключению, что дело не в том, мог или не мог дух перуанки бродить по дому и вступать с ним в общение, а в том, что его Вечной Подруге незачем быть перуанкой, ибо она сама — дух, заключенный в живую плоть, она сама в тысячи раз реальнее тени перуанки, воспоминания или идей о ней, поскольку она сама заключена в чувственную оболочку, приданную ей чудодейственной силой воображения.

После стольких размышлений доктор снова возвращался к исходному вопросу: кто такая Вечная Подруга? Неужели правда, что он видел, знал, любил и даже забывал ее?

В связи с этим доктор вспомнил рассказ о донье Гьомар, который он в детстве слышал от слуг.

Могущественная колдунья похитила красавицу Гьомар и заточила ее в высокую башню без дверей. Двери были не нужны ей, потому что она забиралась туда по воздуху. Башня стояла среди долины, куда не ступала нога человека. Но судьба устроила так, что молодой прекрасный принц, сын могущественного монарха, охотился однажды в тех местах, отбился от охотников, сокольничих и остальных членов свиты, заблудился и забрел в мрачную, таинственную долину, где стояла башня. Солнце уже было очень высоко. Донья Гьомар сидела у окна и расчесывала свои шелковые волосы серебряным гребнем. Лучи солнца падали на золотые волосы красавицы и блестели так, что слепили глаза. Голова доньи Гьомар, казалось, была обвешана светлым нимбом.

Девушка была так прекрасна, как только могло нарисовать самое пылкое и богатое воображение. Принц был знатен, смел, красноречив и тоже прекрасен. Молодые люди



были созданы друг для друга, пленились друг другом и влюбились.

Из простыней и покрывал, из одежды и всяких других тканей донья Гьомар сплела длинную лестницу. По ней девушка спустилась вниз и оказалась подле принца. Они дали друг другу слово, что поженятся, и скрепили клятву долгим жарким поцелуем. Донья Гьомар села на лошадь позади принца, и влюбленные бежали от колдуньи.

Хотя они ехали очень быстро, донья Гьомар скоро заметила, что колдунья преследует их: старуха вернулась домой, увидела, что пленницы в башне нет, и все сразу поняла. Колдунья была так близко, что, казалось, вот-вот настигнет беглецов. Тогда донья Гьомар кинула наземь серебряный гребень, тот самый, которым она расчесывала свои волосы, и сразу встала стена гор с вершинами, покрытыми снегом. Колдунья осталась по ту сторону, но сил у нее было так много, а гнев и злость так велики, что она перелетела снежные вершины, спустилась на равнину и снова стала настигать донью Гьомар и ее возлюбленного. Тогда девушка бросила горсть душистых отрубей, которыми она мыла свои белые руки, и тут же земля поросла густыми колючими растениями и покрылась туманом. Но колдунья сумела миновать непроходимые заросли кустарника, хотя и разодрала в кровь свое тело. Несмотря на туман, она не сбилась с пути и снова стала настигать донью Гьомар и ее похитителя. Тут донья Гьомар швырнула зеркальце, в которое она обычно смотрелась, и между беглецами и колдуньей стала река, глубокая, быстрая и бурная. Колдунья переплыла реку и, уже теряя последние силы, почти настигла беглецов. Донья Гьомар закрыла лицо, чтобы не видеть ее, и заткнула уши, чтобы ее не слышать.

— Поверни ко мне лицо, дитя мое, поверни лицо, чтобы я могла тебя видеть, прежде чем потеряю тебя навсегда, — говорила колдунья. — Сжался надо мной, дитя мое, ведь я тебя поила-кормила. Взгляни на меня хоть разок — ведь ты покидаешь меня.

Донья Гьомар не хотела смотреть, но принц попросил ее сжалиться над колдуньей и исполнить ее просьбу. Тогда донья Гьомар посмотрела, и колдунья сказала:

— Пусть тот, кто тебя увозит, забудет тебя.

Ужасное проклятие сбылось. Когда принц и донья Гьомар подъехали к столице царства, где царствовал отец принца, юноша оставил донью Гьомар в усадьбе, пообещав

приехать за ней, чтобы затем торжественно представить ее ко двору. Но едва он оставил свою подругу, как образ ее, и имя, и любовь к ней стерлись в его памяти. Шли годы, и получилось так, что по счастливой случайности, о которой повествуется во второй части рассказа, он наконец вспомнил о ней.

Этот рассказ, как и все другие рассказы о волшебниках, феях и чародеях, может быть переведен на язык символов и аллегорий. Для доктора донья Гьомар была олицетворением поэзии, творческого начала, веры, которые вершат чудеса во имя того, кто завладевает ими, чтобы спасти себя от холодного рассудка, который мешает их видеть. Как только ты оставляешь их, они начисто уходят из твоей памяти и забываются.

Вечная Подруга была для доктора доньей Гьомар из сказки, то есть была его верой, его поэзией, квинтэссенцией его собственной души. И все это он забыл и оставил, повинувшись магическому слову колдуньи, которая соединяла в себе честолюбие, практицизм, зависть, тщеславие, гордыню и прочие дурные страсти.

Неважно, кем в действительности была женщина в черном, которую однажды встретил доктор, важно то, что она превратилась для него в аллегорическую фигуру. Когда он сотворил это превращение, ему все стало ясно: от поэзии у него в душе осталось только себялюбие; болезненное неверие в собственные силы убило в нем подлинную веру.

В одну из бессонных ночей доктор чувствовал себя особенно угнетенным. Анализируя события своей жизни, он то обвинял себя, то оправдывал.

«Если посмотреть на вещи здраво, — рассуждал он, — то я добился от Констансии гораздо большей любви, чем дал ей сам и чем я заслуживал. Ведь только по соображениям выгоды я влюбился в нее и собирался на ней жениться. А если это так, то она была тысячу раз права, выбрав то, что казалось ей выгодным: она вышла замуж за маркиза, за человека с таким общественным положением и с таким состоянием, которых мне во всю жизнь не удалось бы достигнуть. Правда, красота и молодость кузины тоже вызывали у меня чувство любви к ней, но это была какая-то вялая, робкая и неопределенная любовь. Если бы я сильно, всем сердцем полюбил ее, то и ей пердалось бы это чувство, вызвало бы в ее сердце ответную любовь, сделало бы ее способной пойти на жертвы. Мы слишком часто жалуемся на отсутствие любви и друже-



ских чувств к нам со стороны других людей, но разве мы всегда в полной мере одариваем их равными чувствами? «Ах! — часто говорим мы. — Я испытываю к такому-то огромное чувство любви!» Однако любовь эта не настолько сильна, чтобы пойти ради любимого человека на жертвы, но достаточно сильна, чтобы превратить его в свою собственность. Для меня источника истинной любви больше не существует: он иссяк. Истинная любовь начинается тогда, когда ты наделяешь предмет своей любви всеми достоинствами и совершенствами, которые можно себе представить, и, наделив его этими качествами, ты начинаешь ему поклоняться, боготворить его и готов пойти из-за него на все мыслимые жертвы. Любовь эгоистическая, вроде моей, не одаривает любимое существо высокими достоинствами и совершенствами. Напротив, она придирчиво ищет предмет любви, при этом изучает его, критикует и, разумеется, не находит. В этих случаях говорят: «Если я найду женщину, о которой мечтаю, то пойду ради нее на любые жертвы, проявляю все свои возможности и способности, полюбую ее страстно. К несчастью, я не нахожу такой женщины и потому никак не могу себя проявить. Моя любовь остается беспредметной, а потому она бездейтельна. Если бы я верил в прогресс человечества, в крепость уз, соединяющих сердца, в возможность духовного единения, в постоянное стремление душ и сердец к добру, к свету, к красоте, чего бы я только не сделал, чтобы хоть как-нибудь способствовать этому движению рода человеческого к величию и счастью? Увы, я не слишком во все это верю и потому ничего не делаю. Мне жаль, что моя любовь к человечеству бесплодна. Если бы я верил, что родина, народ, нация, частью которых я являюсь, достойны моей любви, какие героические подвиги я совершил бы для еще большего их возвеличения! Однако я ничего такого не делаю, так как не уверен, можно ли считать родиной тот клочок земли — а таких клочков много, — где я случайно родился, можно ли считать нацией сборище людей различного происхождения и социального положения, связанных своей подчиненностью общим законам, институтам власти, насильно внедряемым предрассудкам? Выходит, что любовь к родине тоже беспредметна и бесплодна, хотя она и может быть очень сильной. Любовь к красоте и к добру — это любовь к абстракциям и равнозначна любви к самому себе, поскольку я нахожу красивым и добрым только то, что

мне кажется таковым. И тем не менее душа моя влюблена. Кого же она любит? Может быть, она любит тот недостижимый идеал, который я постоянно творю в себе и для себя и никак не могу завершить».

Чтобы усмирить свое сердце, доктор должен был найти другой предмет любви, более возвышенный, более близкий его душе, и все же не искал его, боясь, что он окажется призраком, хотя верил, что подобный предмет где-то существует.

Доктор увлекся чтением поэтов отчаяния, модных в ту эпоху. Дерзкие концепции философов отчаяния либо не были еще опубликованы, либо не получили широкого распространения. Шопенгауэр и Гартман еще не проникли в Вильябермеху.

Доктор прочел много книг материалистов-безбожников. Он хорошо видел их противоречия, и обычные сомнения еще больше одолевали его.

В те дни им владела меланхолия и все окрашивала в мрачные тона.

Отрицая существование предмета, достойного любви, он старался объяснить, откуда происходит такое отрицание.

«Отрицать существование предмета, достойного любви, очень удобно. Так оправдываются лень, безразличие, трусость. Вероятно, я просто ничтожный человек, не способный ни на какой благородный порыв, и, желая оправдаться перед самим собой, убеждаю себя в том, что не верю в возможность существования предмета, ради которого творятся жертвы и который был бы достоин великой любви».

Потом он задумывался над тем, почему философы и поэты-пессимисты стали пессимистами: в результате чистых размышлений и рассуждений или потому, что они немощны и бедны, то есть из-за отсутствия здоровья и денег? Последнее предположение ничего не объясняло. Неужели физическая немощь и материальные лишения могут так решительно влиять на мировоззрение людей? К тому же утверждать подобную зависимость — это значит проявлять крайний скептицизм, поскольку тем самым утверждается никчемность, корыстность, ложность всякого чувства, всякой идеи. Если предполагать, что некая материалистическая философская идея родилась только потому, что у ее создателя было несварение желудка, или потому, что он испытывал недостаток в деньгах, дурно питался, то не меньше оснований предполагать, что и

оптимистическая религиозная философская система могла возникнуть лишь потому, что ее автор обладал завидным здоровьем и сумел удовлетворить все свои потребности.

Когда доктор дошел в своих рассуждениях до этого пункта, он вспомнил очень известные стихи Лопе де Веги, в которых говорится о том, как переодетый врачом слуга дает советы дворянину, страдающему черной меланхолией. Между ними происходит следующий диалог:

— Все не по сердцу мне тут,  
Всем я недоволен вечно.

— Денег нет у вас?

— Конечно.

— Ну, так пусть вам их дадут<sup>1</sup>.

Бескрылая философия доктора способна была излечить его от меланхолии не более, чем совет лже-врача из пьесы Лопе де Веги. Это было правдой, и доктор имел мужество признаться себе в этом, хотя такое признание и огорчало его и унижало. Разве не унижительно ему, человеку с огромной душой, волноваться, терять власть над собой из-за каких-то случайных и пустячных вещей? Он хочет, например, поехать в Мадрид, прославиться там, блистать в свете, стать знаменитым, но не может сделать этого только потому, что у него просто-напросто нет денег. Тогда доктор сам начинал отговаривать себя от поездки в Мадрид, старался избавиться от своих честолюбивых помыслов. То есть он действовал тем же способом, каким некий мудрец пытался уговорить царя Пирра отказаться от беспокойной и неотвязной идеи завоевать весь мир. «Сначала я завоюю Грецию», — говорил Пирр. «А потом?» — спрашивал мудрец. «Потом — Италию». — «А потом?» — «Потом — Малую Азию, Персию, Индию и, наконец, весь мир». «А потом?» — снова спрашивал мудрец. — «Потом я буду счастлив, буду почивать на лаврах». — «Так считай, что ты все уже завоевал: будь счастлив и почивай на лаврах».

Этот разговор, судя по всему, возымел действие на царя Пирра, хотя он мечтал ни более ни менее как завоевать весь мир. Тем более подобное рассуждение должно было подействовать на доктора, который в самых дерзостных, честолюбивых планах мечтал стать всего-навсего

Одним из дюжины министров,  
Сменяющихся каждый год.

<sup>1</sup> Перевод Ю. Корнеева.

Следует также учесть, что речь в данном случае идет о стране, которая не только не способна завоевать другие страны, но не может победить и самое себя.

Немного успокоившись этими соображениями, доктор подумал: не удариться ли ему в чистую спекуляцию, то есть сменить практику на теорию. Ведь теория — это и есть высшее блаженство и истинная цель человека. Да, мир дурно устроен, если судить только по существам, его населяющим. Жизнь — незавидный дар: физические и моральные страдания неизбежны. Но скоро доктор оставил эту мысль. Нельзя же не замечать величественной картины, которую являет нам мировой механизм. Сколько в нем еще неоткрытого, неисследованного, незамеченного. И в общем механизме и особенно в деталях. Мы не знаем до конца не только того, что есть, но и того, что было и что будет. С чего все началось? Чем кончится? Если на все эти вопросы можно дать удовлетворительные ответы, то не все ли равно, откуда будет исходить голос оратора — из Вильябермехи или из героического города Мадрида, столицы всех Испаний.

Не пускаясь в глубины науки и в глубокомысленные теории, доктор мог довольствоваться поэтическим видением мира, то есть видеть его глазами поэта, восхищаться им, восхвалять его, очистить душу от скверны и превратить ее в надежное зеркало, в котором отразился бы не только пространственный мир, но и мир, протяженный во времени, со всеми изменениями, сменами, переменами и циклами, которые он претерпел. Согласимся, что Вильябермеха как нельзя более подходила доктору для лицезрения этого величественного нескончаемого спектакля. К тому же его душа не просто отразила бы, бесстрастно и слепо, некий порядок вещей, но сделала бы мир еще более прекрасным и совершенным по законам хорошего вкуса и красоты. Да, доктор стал бы искоренять и исправлять недостатки и несовершенства и творил бы гармонию, создавая, по крайней мере для себя, мир в тысячу раз более прекрасный. Доктор никогда ничем подобным не занимался, но есть ли у нас основания сомневаться в том, что он справится с подобной миссией? Право, чего стоит мир со всей его красотой и гармонией, если нет интеллекта, способного воспринять его и осмыслить? Он решил, что, посвятив себя этому, он не будет спрашивать себя «Зачем я нужен?». Он нужен, чтобы объяснить мир.

Поразмыслив над всем этим несколько глубже, он натолкнулся на ужасную трудность. Убедившись на практике, что без любви он ничего не может делать, он понял теперь, что теория тоже требовала любви. Ведь и бог, творя мир, смотрел на него с любовью и говорил, что это хорошо. Чтобы доктор видел вещи хорошими или по крайней мере красивыми, он должен взирать на них с любовью. Нужно иметь огромную любовь, чтобы отразить их в зеркале души более прекрасными, чем они есть на самом деле. Любовь — великий художник, творец, поэт, и Фаустино приходил в ужас от мысли, что он не любит. Он проверял сначала, хорош ли объект любви, и, убедившись, что хорош или даже очень хорош, решился полюбить его. Но в этом случае он не ощущал благородного порыва, не испытывал благородной доверчивости, свойственной любящей душе, которая с любовью устремляется к избранному предмету, а потом уже видит, что он хорош или прекрасен.

Читатель, вероятно, понял, в каком трудном положении я нахожусь, выбрав героем моего повествования человека с таким сложным и противоречивым характером. Но поневоле я обязан приводить здесь его нескончаемые монологи. Я знаю, что они могут показаться докучливыми, но отступать поздно. Постараюсь быть кратким, хотя нужно сказать еще многое.

Итак, доктор пришел в отчаяние оттого, что он не любит, ибо понимал, что любовь важна и для практической деятельности и для спекулятивной философии. Он снова вернулся к идее сочетания теории с практикой и снова стал мечтать о поездке в Мадрид, охваченный жаждой подвигов и приключений. Но недостаток средств сразу же вставал перед ним неодолимым препятствием.

В комнате, где он сидел, горела одна-единственная свеча. Ее слабый свет едва достигал портретов знаменитых Мендоса. Все они были посредственными людьми, кроме перуанской принцессы, конечно. Доктор смотрел на них с ненавистью, ибо, завещав ему громкое имя, они не оставили ему никакого состояния. Его так и подмывало бросить их в огонь. Нет, он заберет их с собой в Мадрид и распродаст по дешевке. Наверняка найдется ростовщик или откупщик, желающий обрести великих предков, он, так сказать, усыновит их или, лучше сказать, усыновится ими и станет благородным. Но на это трудно было надеяться. Вряд ли найдешь нынче таких простофиль ростов-

щиков и откупщиков, которые не понимали бы, что и без славных предков, а только при помощи своих ссуд и откупов они могут откупить целую кучу всяких титулов. Так им и надо, моим предкам! Кажется, все заботы были отброшены. Теперь отпала и забота о предках: раз уж он от всего отказался, то может отказаться и от своих праотцев.

— Вы мало чего стоите, — произнес он, глядя на портреты. — Любой подрядчик в два счета может стать теперь благородным.

От долгих бдений нервы доктора были сильно возбуждены. Одиночество, тишина ночи, слабый свет единственной свечи, наполнявший комнату причудливыми тенями от мебели и от портретов, — все это так подействовало на воображение доктора, что ему почудилось, будто оскорбленные им предки покидают свои рамы и движутся на него, бесшумно как привидения. И перуанка улыбалась не то насмешливо, не то сострадательно. В комнате стало невыносимо душно, как будто ожившие предки наполнили ее своим горячим дыханием. Доктора бросало то в жар, то в холод. Страха он не испытывал, но боялся, что сойдет с ума. Трезвому философу не пристало перить в то, что писанные маслом портреты могут выйти из своих рам с целью попугать его или посмеяться над ним.

Однако доктор кинулся к окну, настежь распахнул рамы и ставни, и в комнату ворвался свежий весенний воздух. Вид из окна был унылый: оно выходило в безлюдный переулок. Напротив возвышалась глухая стена, окружавшая кладбище. Справа была видна круглая башня замка, в которую упирался дом Лопесов де Мендоса. За кладбищенской оградой чернели стены церкви и часть арочной галереи, соединяющей церковь с замком: тут переулок делал крутой поворот. Полная луна освещала безлюдную улицу. Было тихо. Только ветер шелестел в траве, которой поросли и улица и кладбищенская стена.

Доктор ничего этого теперь не видел. Все внимание его поглощало другое: прямо против окна, прислонясь к стене, неподвижно, словно статуя, стояла женщина в черном. Свет луны освещал ее высокую, стройную фигуру и лицо, полное скорби и печали: кажется, в ее прекрасных глазах блеснули слезы. Доктор узнал свою Вечную Подругу.

— Мария, Мария! — воскликнул он, но женщина не ответила, а пошла от него в сторону галереи.

— Мария! — снова позвал доктор.

И тут ему показалось, что женщина вздрогнула, но не отозвалась и даже не обернулась.

Доктор готов был выпрыгнуть прямо в окно и броситься за нею, но не пускала толстая решетка.

— Мария! — крикнул он в третий раз, но женщина в черном свернула за угол и скрылась из виду.

Доктор поспешно схватил шляпу, выскочил во двор и открыл засов двери, выходявшей на улицу. К счастью, калитка не была заперта на ключ: он распахнул ее и бросился вслед за Вечной Подругой. Она не могла далеко уйти.

Было три часа пополудни. Кругом — ни души. Доктор несколько раз обежал ближайшие улицы. Снова вернулся к замку, перелез через кладбищенскую стену, думая, что найдет ее там, где обрели убежище и покой усопшие. Но все напрасно. Она как сквозь землю провалилась.

Доктор решил, что женщина покинула селение. До самой зари он успел обежать все окрестные дороги, и снова безрезультатно.

В церкви звонили к ранней мессе, и он решил пойти туда. Может быть, он там увидит таинственную незнакомку: ведь тетка Арасели видела ее именно в церкви.

Но и там ее не было.

Несмотря на свое безбожие, он был так возбужден, сделался так не похож на трезвого философа, что повел себя непоследовательно и сотворил нечто вроде молитвы — просьбы к Иисусу Назарейскому, главным хранителем которого он являлся, и к маленькой фигурке святого покровителя Вильябермехи, умолая их помочь в розысках Вечной Подруги. Но сверхъестественные силы были глухи к мольбам доктора и не открыли ее местопребывания.

#### XIV

#### СТРАДАНИЯ ВО СЛАВУ ДЬЯВОЛА

Новое появление Вечной Подруги утвердило веру дона Фаустино Лопеса де Мендоса в то, что она была живым существом из плоти и крови, и убедило в том, что она жила здесь, в Вильябермехе. Это вдохновило доктора на новые поиски. Он крайне удивлялся тому, что женщина сумела так надежно укрыться в небольшом селении, и решил не отступаться от своего намерения, пока не обыщет дом за домом.

Предприятие по розыскам таинственной женщины

было такого свойства, что он не решился рассказать о нем даже Респетилье, хотя тот мог быть ему полезен. По совершенно другим соображениям он ничего не стал рассказывать и матери. Если Мария — будем называть ее так вслед за доктором — скрывалась от всех, значит у нее имелись на это веские причины. Если бы он доверился Респетилье, тот непременно открыл бы местопребывание Марии. Поведав об этом деле матери, он только напугал бы ее. Бог знает, что она могла бы подумать о женщине, которая так упорно скрывается.

Было еще одно лицо, чья бесконечная преданность доктору могла сравниться разве что с огромной любовью к нему. Ему-то и решил он открыть свой секрет и попросить помощи. Это было самое подходящее лицо во всей Вильябермехе: именно оно могло разоблачить любую тайну и найти местопребывание кого угодно. От этого лица ничто не могло укрыться: оно знало всех и вся: все, что происходит в семьях, кто кого любит, кто с кем ссорится, кто что ест. И уж если это лицо не найдет Вечную Подругу, то, значит, Вечная Подруга — существо незасаеваемое, утопическое, хотя оно и было существом реальным, видимым и осязаемым. Этим лицом, к помощи которого прибегнул Фаустино, была его кормилица Висента, служившая у доньи Аны с самого рождения доктора.

Доктор уже решил поведать ей обо всем, но через два дня после появления Марии отправился на ферму верхом на лошади. Хозяйка встретила его одна на пороге дома. Хозяин работал в это время в поле.

— Барин, — сказала крестьянка, — сегодня утром меня попросили передать вам письмо.

— Кто попросил?

— Кто-то чужой: я его не знаю.

— Дайте сюда письмо.

— Пожалуйста, — ответила крестьянка и протянула конверт. Доктор взял его с величайшим волнением, так как узнал почерк таинственной незнакомки.

Он сразу отъехал подальше от дома, осмотрелся кругом и, удостоверившись, что никто за ним не наблюдает и не может ему помешать, вскрыл конверт. В письме говорилось:

«Я вовсе не имела намерения пугать тебя своим необычным появлением. Моя очарованная душа испытывает страстное желание объяснить себе ту неодолимую силу,



которая влечет меня к тебе, и говорит мне — может быть, это неправда, — что в другой жизни мы будем беспрепятственно любить друг друга и будем счастливы. Я не требую, чтобы ты разделяла со мной эту веру. Моя душа верит и в то, что во сне она отделяется от тела и летит к тебе. Не знаю, можешь ли ты в это поверить. Я люблю тебя и ни о чем другом не мечтаю, как быть любимой тобою. Впрочем, разве можно рассчитывать на взаимность, если в этой жизни счастье для нас невозможно? Поэтому мое поведение может показаться странным. Поэтому я и бегу тебя и стремлюсь к тебе. Рассудок заставляет избегать тебя, а любовь против моей воли влечет к тебе.

Кроме того, у меня есть ужасная тайна, которую я не могу и не должна тебе открыть. Есть нечто такое — не знаю уж, во мне или вне меня, — что делает меня недостойной твоей любви. Не думай, пожалуйста, что я совершила что-нибудь недостойное.

Бриллиант сохраняет свою чистоту, даже если он лежит в грязи. Грязь не может его замарать, зато свет, свободно проникающий внутрь камня, делает его блестящим, радостным и красивым. Ты — мой свет, а сердце мое — бриллиант.

Зернышко упало в землю, солнце согрело его, и зерно проросло. Но цветок не раскроет своих лепестков, если ты, мое солнце, не обласкаешь его своим теплом.

Я за многое благодарна тебе, хотя ты и не знаешь этого. Если я цветок и бриллиант, то этим я обязана тебе, ибо ты мой свет и мое солнце. И тем, что грязь не замарала меня, я обязана тебе, моему свету. И тем, что я обрела силу, чтобы вырваться из темного лона земли, я обязана тебе, моему солнцу, ибо ты дал тепло стебельку и собрал аромат в нераскрывшейся чашечке цветка, и все это стало твоим и хранится для тебя.

Я была оставлена всеми и погибла бы в скверне и невежестве, ничто не могло бы спасти меня: ни таинства веры, которых я не понимала, ни святые, которым я молилась, ничего не зная об их добродетелях и праведном житии. Но бог избрал тебя орудием моего спасения и вселил в мою душу восхищение тобою, что развило мой ум и сделало его способным понять, что такое добро. Постоянное желание сделаться достойной тебя, внушить уважение к себе с детства владело мною и определяло всю мою жизнь.

Потом ко мне снизошел дух утешения и свел меня с тобою. Душа моя, пребывая подле тебя, открылась всем благородным помыслам и чувствам, на которые способна душа, сотворенная по образу и подобию божьему. Но и тогда, когда я была далеко от тебя, я не забывала тебя и всегда помнила, что ты первый озарил мою душу. И все, что я потом постигала своим умом, все, чему я научалась позже, было следствием того первого озарения, которое сделал ты. Так росла моя любовь к тебе. Твоя любовь запала в мою душу, как зерно падает на невозделанную землю. Позже уже ничто не могло заглушить это зерно, оно выросло и превратилось в прелестный цветок.

Долгие годы разлуки не могли стереть твой образ в моей памяти, но сделали его еще более поэтичным. Когда я вновь встретилась с тобою, то увидела, что ты полностью отвечаешь тому поэтическому идеалу, который я столько лет храню в моем сердце. Итак, я твоя. Я никогда не перестану любить тебя, даже если ты не ответишь на мою любовь, и не разлюблю, даже если ты станешь презирать меня и ненавидеть.

Если я скрываю, кто я, то у меня на это важные причины. Утнесись с уважением к моей тайне и не преследуй меня. Никому не говори обо мне — умоляю тебя.

Если ты меня любишь, я почувствую это и найду тебя. Разве я могу бежать тебя, если ты любишь?

Если же ты меня не любишь, я не нарушу твой покой моим присутствием. Моя любовь так огромна, что я готова полностью отдаться тебе, но и в этом случае ты взял бы от меня только частицу моей любви, может быть не самую драгоценную и не самую лучшую. В любви всегда так: тот, кто хранит для любимого все сокровища любви, не может, даже если захочет, отдать их без остатка, если любимый не может подарить взамен равных сокровищ.

Прошлой ночью ты открыл окно своей комнаты и случайно увидел меня. Если ты полюбишь меня, я приду к тебе по собственной воле и останусь подле тебя. Ты можешь увидеть меня, даже если этой любви не будет: может быть, я не сумею побороть страстное желание видеть тебя и обрету минутное счастье ценой вечных мук и рискуя потерять тебя. Прощай.

Твоя Мария».

По прочтении письма первым желанием Фаустино было пуститься на поиски таинственной женщины.

Хотя Мария умоляла дона Фаустино не искать ее, доктор предпринял все возможное, чтобы ее найти.

Доктор с большим пониманием отнесся к другой просьбе Марии — никому не рассказывать о ней. Желая исполнить эту просьбу, он ничего не сказал даже ниньке Висенте.

Прошло дней десять, а доктор все читал и перечитывал письмо, думал над ним, но так и не додумался, кто был его автор.

На обычном языке письмо означало следующее.

Мария живет в Вильябермехе. Очевидно, она низкого происхождения. Вероятно, она видела дона Фаустино, когда тот был ребенком, и влюбилась в него. Это чувство, посетившее ее в раннем возрасте, спасло ее от гибели. В письме об этом ясно говорилось. В этом доктор не сомневался, хотя не припомнил ни одной бедной девочки, которой он мог бы внушить любовь. Какая-то добрая душа (кто это мог быть, доктор тоже не догадывался) взяла девочку к себе и воспитала ее. Годы учения и разлуки не разрушили любовь к доктору; напротив, они сделали ее более возвышенной и поэтичной.

Не будучи в силах совладать с этим чувством, Мария, сама того не желая и даже понимая бесплодность такой любви, все же стала преследовать доктора.

Дон Фаустино Лопес де Мендоса, как бы он ни был испорчен дурными книгами и подозрительными учениями своего времени, обладал прекрасными достоинствами, щедрым сердцем, благородной искренностью. Кроме того, ему было двадцать семь лет, он хотел любить и быть любимым, но он не хотел никого обманывать. И себя тоже. Как мог он влюбиться в таинственную незнакомку, если он едва ее видел и толком даже не разговаривал с нею?

И все же склонность дона Фаустино ко всему поэтическому и сверхъестественному была столь велика, что он почувствовал себя способным полюбить Марию.

Есть люди, которые, потеряв веру, страстно желают обрести ее вновь. Долгое время они молятся, не всря в молитву, выполняют все заповеди, строго соблюдают церковный ритуал и в конце концов обретают настоящую веру. Автор этих строк знает человека, которого ныне все почитают за святого, хотя, до того как превратиться в святого, он не раз присутствовал на собраниях безбожников и рационалистов. Однажды, когда будущий святой покидал собрание, его спросили: «Куда вы идете?». —

«Иду разыгрывать религиозную комедию», — ответил он. Так он разыгрывал-разыгрывал комедию, а кончил тем, что все стал принимать всерьез, и заделался ревностным слугой божьим, и украшает теперь своим святейшим присутствием лагерь дон Карлоса VII.

Но доктор был человеком твердых принципов. Он ни за что не хотел разыгрывать комедию любви, и вообще — никаких комедий, даже если бы за комедией пришла настоящая любовь или не пришла вовсе.

И все-таки Вечная Подруга интересовала доктора. Душа его жаждала любви. Но если уж любить что-то невидимое и неосоздаемое, то почему это должна быть женщина? Можно любить науку, идеальную красоту, поэзию, еще не нашедшую форму воплощения, моральное совершенство, невозможное в нашей жизни, или, наконец, бога.

Любить женщину с такой же страстной преданностью, с которой любят все эти возвышенные вещи, — чистое идолопоклонство, тем более что идол невидим и неосоздаем.

Данте, великий знаток любви, замечательно выразил это, хотя напрасно обвинил в материалистичности только женщин.

... in femmina foco d'amor dura  
Se l'occhio o il tatto spesso del raccende<sup>1</sup>.

Но почему Данте не обвинил в подобном недостатке мужчин?

Может быть, великий поэт смешал истинную любовь с символическим обожанием женщины, которая является аллегорическим воплощением и своеобразной персонификацией науки, поэтического вдохновения и даже родины. Так он любил свою Беатриче. Так Петрарка любил Лауру. Но мог ли Фаустиню так полюбить Марию? До получения последнего письма это было возможно, но после письма стало почти невыносимым. Женщина, которая становится предметом столь великой любви, должна быть выше того, кто ее любит, должна стоять на пьедестале и чтиться как святая. Но и этого мало: если явится смерть и унесет ее на небо и здесь, на земле, от нее останется только легкий призрак, чудесное видение, запечатленное в нашей душе, то, увидев этот образ во сне или наяву, мы сами

<sup>1</sup> ...Пламень в женском сердце вечно хочет

Глаз и касанья, чтобы он не гас.

(итал.; Данте, Божественная комедия. Чистилище, песнь VIII. Перевод М. Лозинского).

как бы устремляемся в райские кущи, предвкушая вечное блаженство и высшее наслаждение.

Доктор скромно полагал, что он заслуживает всех этих благостей, и считал, что для Марии он был и остается тем, кем была Беатриче для Данте. Как видим, волею судьбы здесь произошла перемена ролей. Но мог ли он после второго письма видеть в Марии свою Беатриче или свою Лауру?

Доктор против своей воли должен был признаться, что он хочет видеть Марию подле себя, что ее любовь льстит его самолюбию, что он испытывает к ней сострадание, глубокую симпатию, даже нежность, но что настоящей любви к ней он не испытывает.

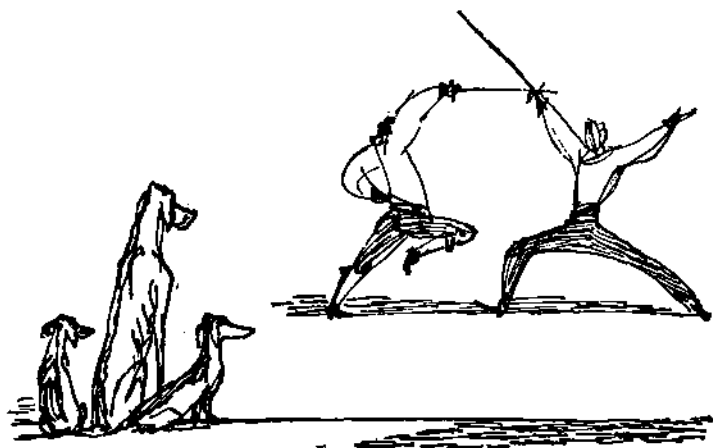
Это признание не только не успокоило доктора, но наполнило его душу печалью и породило в ней мучительное чувство безлюбия, самое острое и мучительное чувство.

Чтобы как-то избыть меланхолию, доктор удвоил физические упражнения, много ездил верхом, совершал длительные прогулки, яростно сражался с Респетильей на шпагах, выжимал огромные тяжести, до седьмого пота орудовал мотыгой. Но давая выход мускульной энергии, он ни на толику не умерил лихорадочной работы мысли.

Респетилья был неглупый малый, к тому же очень любил своего господина и сообразил, что, ведя такую затворническую жизнь, барин может рехнуться. Он неустанно твердил, чтобы тот жил как все люди, что если нет денег на поездку в Мадрид — не беда: можно эту нужду обратить себе на благо, стоит только вообразить, что Вильябермеха — это и есть Мадрид, где можно завести знакомство, развлекаться со своими земляками, и в первую очередь — с дочками земляков, среди которых есть умные, веселые и прехорошенькие.

Однажды утром, в перерыве между боями на шпагах, Респетилья начал такой разговор:

— Слава господу всемогущему и всему сущему! Есть вещи, в которые ни за что не поверишь, пока не увидишься воочию. Поверьте, ваша милость: раньше я не только не сомневался, но считал обыкновенным делом, что есть такие люди — отшельники, и проживают они в пустыне, лупят себя нещадно кнутом или розгами, живут на воде и кореньях, не любят и не дружатся и в конце своей незавидной жизни получают вечное блаженство с небесной музыкой и прочими приятными штуками. Чтобы заполучить такие блаженства, стоит помучиться во славу



божью. Но я никогда раньше, до вашей милости, не знал, не ведал, что есть пустыnnики и страдальники во славу дьявола. Если бы половина всех страданий-воздержаний, на которые вы губите свои молодые годы, шла в угоду господа, то я сказал бы, что вы святой. Худо, однако, то, что вы, как я подозреваю, принимаете мучения, чтобы угодить дьяволу, а это не даст вам ни денег, ни власти при жизни, даже в обмен на адскую жизнь после смерти. Я никогда не верил в колдунов, потому что не верю, что эти чудаки могут служить дьяволу за просто так, из одного удовольствия. Теперь я начинаю верить, извиняюсь, в колдунов. Вы и есть колдун и совершенно отдались дьяволу: губите на него свои молодые годы.

— Я и не думаю поклоняться дьяволу, — ствечал доктор, несколько задетый меткостью, с которой Респетилья поражал цель. — Я склоняюсь перед неизбежностью. Если ты это называешь дьяволом, пусть так: я поклоняюсь дьяволу.

— Кому же нужна такая жизнь, какую вы ведете?

— А как я могу жить иначе? Куда бы я ни ездил, всюду я чувствовал себя униженно, не имея ни гроша в кармане. Чем я могу заняться, если я ни на что не годен? Потому-то я и живу в Вильябермехе. А здесь — какая же может быть другая жизнь?

— Можно и здесь жить иначе. Зачем вы хотите ехать в Мадрид? Затем, чтобы людей повидать. Так людей и

здесь полно — и ехать никуда не надо. Разве здесь не такие же люди, как в Мадриде? Люди везде одинаковые.

— Ну что ты мелешь! Где эти люди? С кем я могу водиться?

— Да со всеми. Есть тут один дом — вам было бы там весело, верьте мне.

— Где это?

— У господина нотариуса.

— Его дочери терпеть меня не могут.

— Это потому, что вы у них не бываете. Вот они и обижаются.

— Ты-то откуда знаешь?

— Откуда? Да они сами мне сказали. Я часто разговариваю с барышнями и с Хасинтикой, вдовой лесничего. Она всегда при них: и в церковь с ними ходит, и в гости, и на прогулки; младшая дочка, Рамонсита, — добрая душа и делает все так, как захочет старшая сестра, Росита. Скоро она выдаст младшую замуж за сына аптекаря. Он учится на доктора и скоро кончит. У Роситы нет жениха, и замуж она не собирается, хотя ей уже перевалило за двадцать пять. А чего ей? Богатая, делает что хочет, сама себе хозяйка, всем распоряжается, командует — и все ее слушаются: и сестра, и отец, и вообще все.

— Она, пожалуй, и мною захочет командовать?

— Тут как раз наоборот: чтобы вы ею командовали, как я понимаю.

— Респетилья, — сказал тогда дон Фаустино. — Ты и есть дьявол, дьявол-искуситель. Ну, подумай, какие глупости ты мне предлагаешь. С какой стати я вдруг пойду к Росите? Чего доброго, она подумает, что я пришел просить ее руки, чтобы заполучить приданое, и она сделает мне от ворот поворот, как это сделала Констансия.

— Уж я-то знаю Роситу: ничего такого она не подумает. Она не собирается за вас замуж, так что ей и отказывать не придется.

— Чего же она хочет?

— Просто поболтать и посмеяться. Ей тут и поговорить не с кем. Один-единственный жених есть, да и тот числится за младшей. Росита книжек прочитала уйму, разных историй, и вообще она что надо. Она была бы рада-радехонька поговорить с вами просто так, без всякой задней мысли. Хасинтика мне рассказывала, что Росита считает, что только вы и можете ее понять, а все остальные в Вильябермехе люди неотесанные и ровно ничего

не смыслят. Хасинтика говорит, что когда она гуляет здесь на праздниках, то все думают, что она из Севильи, или из Гранады, или даже из самого Мадрида. Никто не думает, что она из Вильябермехи. Так она ладно одета, такая умница и на язык остра.

— Ты хочешь уверить меня, что Росита — сокровище?

— Сокровище и есть, чистое золото, без подделки. И чего только она не знает! Какая умница! Даже отец ее слушается. А нотариус и сам кое-что понимает. Правду говорю. Возьмите хотя бы Эльвириту. Это дочка секретаря управы, вдова капитана, — так и она слушается Роситу. Росита к ней не подлизывается, а командует ею, как будто та у нее в служанках.

— Ты рассказываешь чудеса про Роситу, — сказал доктор.

— Она расчудесная девушка. Верно говорю.

— Скажи мне, — продолжал дон Фаустино, — нотариус проводит вечера вместе с дочерью?

— Редко. Днем нотариус в присутствии, а по вечерам возится со своими голубями. В компании бывают только сын аптекаря — это жених Рамонситы, да еще Хасинтика. Может быть, зайдете к ним? Пойдемте сегодня вечером.

Доктор сначала хотел отговориться, но ему было так тоскливо, а доводы Респетильи насчет затворничества и служения дьяволу были так убедительны, что он решил оставить службу дьяволу и отправиться на поиски приключений, рискуя даже закуснуть в Вильябермехе.

## XV

### КОМПАНИЯ ИЗ ТРЕХ ДУЭТОВ

Респетилья, не мешкая, сообщил Росите, что его господин сегодня же вечером пожалует к ним в дом. Для нее это была чрезвычайно приятная новость.

Росите было двадцать пять лет, но она оставалась незамужней, ибо ей никак не удавалось подыскать человека, которого она могла бы подчинить своей воле; девушка завела в доме деспотическую форму правления и осуществляла власть с такой бесконтрольностью и свободой, словно это была королева, не ограниченная конституцией. Она не знала, что такое скука, ибо при ее деятельном характере и энергии скучать было некогда, но и удовольствий она



получала не много. Она наблюдала жизнь как бы со стороны. Ей казалось, что на сцене жизни разыгрывается какая-то глупая драма с малоинтересными исполнителями.

Девушка была великолепно сложена: не высока и не мала ростом, не толста и не худощава. У нее была довольно смуглая кожа, гладкая и нежная; на щеках постоянно горел румянец, рот был немного великоват, губы несколько пухлые, но зато прекрасного кораллового цвета; когда она улыбалась, а это случалось часто, обнажались чистые розовые десны и два ряда ровных, ослепительно-белых зубов. Над верхней губой рос нежный темный пушок; волосы тоже были темные. Две родинки — одна на левой щеке, другая на подбородке — очень шли ей, оживляя лицо, как оживляют гладкий цветущий луг заборные кустики бамбука. У нее был невысокий прямой лоб, как у Венеры Милосской, прекрасно вылепленный, хотя и чуть толстоватый нос, не редкие и не слишком густые красиво очерченные брови и прелестные, загибающиеся в виде арок, ресницы. Все ее существо выражало причудливую смесь лукавства, высокомерия, властности, веселья, нежности и страстности. Жгучие черные глаза, порой томные и грустные, но чаще всего живые, вспыхивающие словно молнии, освещали ее подвижное лицо.

Другая дочь нотариуса, Рамонсита, была беленькая, мушек не имела, ростом превосходила Роситу, считалась красавицей, но и за половину своей жизни не выразила той смены настроений, которую Росита выражала за одну минуту. Один вид Роситы сулил вам и ад и рай. Рамонсита сулила только преддверие рая.

Хотя у Роситы было искушение принарядиться по случаю прихода доктора, но из гордости она не сделала этого и ждала гостя в обычном своем наряде: перкалевое платье, шелковый платок на шее; она не переменила даже розы в волосах, вколотые еще утром и уже несколько поблекшие. Она проделала только то, что обычно делала перед встречей гостей: почистила зубы, о которых очень заботилась, тщательно вымыла руки. Росита и вообще была чистюля, а за руками следила особенно, ибо целый день возилась с ключами от кладовых и чуланов, считала денежные поступления, отсчитывала деньги для уплаты рабочим. Надо сказать, что ни руки, ни лицо Роситы не поддавались пагубному воздействию домашних работ, солнца и воздуха в поле и на скотном дворе, возни в чуланах и кладовых. Роситу никак нельзя было назвать

кисейной барышней, она была красавицей, сотворенной из бронзы.

Доктор сдержал слово и в начале десятого, сопровождаемый Респетильей, явился в дом нотариуса. Общество составляли Росита, Рамонсита, наперсница и компаньонка Хасинтика и будущий врач, сын аптекаря.

Минут десять продолжался общий разговор, но постепенно он стал затухать, так как дон Херонимо, сын аптекаря, проявил желание уединиться с Рамонситой, а Респетилья затягивал дуэт с Хасинтикой, вдовой лесничего.

Желание разбиться на пары стало всеобщим, захватив Роситу и доктора. Всего четверть часа пробыл доктор в маленьком зале, освещенном масляной лампой, а общество уже распалось на группы. В одном углу уединились Рамонсита с доном Херонимо и о чем-то шептались, в другом — Респетилья с Хасинтикой и, наконец, в третьем — Росита с доном Фаустино; они разговаривали так задушевно и доверительно, будто общались всю жизнь.

— Ничего не поделаешь, дон Фаустино, — говорила Росита, — у каждого своя судьба. Конечно, Вильябермеха — это коровий хлев. Согласна. Но где еще можно так хорошо прожить на скромные доходы? Если три-четыре года подряд у вас будут хорошие урожаи, можно и с долгами расплатиться и себе кое-что оставить. Когда вы расплатитесь с долгами и восстановите кредит, то при вашем имени и огромных знаниях можно стать и депутатом. Кандидатуру поддержала бы не только Вильябермеха, но и другие округа. Здесь всем заправляет мой отец, а точнее говоря, я. При благоприятных условиях можно было бы заполучить в вашу пользу все голоса. Тогда можно и в Мадрид ехать. А пока суд да дело, занимайтесь наукой, пишите, размышляйте, набирайтесь знаний и не будьте таким букой. Нельзя бесконечно натягивать тетиву. Душе нужна разрядка. Приходите к нам поболтать. Будем друзьями. Я, конечно, не ученая и могу разговаривать только о самых обыкновенных вещах, но я тоже кое в чем разбираюсь и могу дать вам полезные советы. Характер у меня веселый, думаю, вам со мной будет не скучно. Я постараюсь разогнать меланхолию и развлечь вас хотя бы на деревенский лад.

— Кто бы мог подумать, дорогая Росита, — говорил доктор, — что я так скоро обрету в вашем лице доброго друга. Все твердили мне, что вы надо мной смеетесь, и я боялся встречи с вами. И не думайте, что я нелюдим.

— Что верно, то верно, — отвечала Росита, — мы мало что знали друг о друге, и думали каждый о другом невесть что. Поэтому вместо симпатии между нами возникла вражда и чуть ли не война. Теперь мы познакомились и можем обратить вражду в дружбу. Согласны?

— Что до меня, я никогда не испытывал к вам вражды. Теперь, когда я знаю вас, вы мне очень нравитесь.

Доктор взял руку Роситы и с чувством пожал ее.

Беседа между ними продолжалась в том же дружеском тоне, и на прощание доктор пообещал приходить в эту компанию из трех дуэтов каждый вечер.

Доктор был очень рад тому, что Росита так скоро, с такой простотой и искренностью подружилась с ним. И только одно сомнение закралось в его душу: может быть, Росита склонна видеть в нем своего жениха, и не сменит ли она милость на гнев, когда всем обывателям, да и ей самой станет ясно, что дон Фаустино Лопес де Мендоса вовсе не собирается на ней жениться?

Именно поэтому он и сказал ей со всей откровенностью:

— Не подумав, я обещал бывать у вас всякий вечер. То есть для меня это было бы чрезвычайно приятно. Но что могут подумать люди? Не повредит ли это вашей репутации?

Дочь нотариуса рассмеялась, обнажив два ряда ослепительно-белых зубов.

— Не беспокойтесь, — сказала она. — Я не боюсь за свою репутацию. Пусть себе судачат, меня это мало трогает. Мне уже двадцать восемь, и замуж я не вышла потому, что не хотела, да и теперь не хочу. Я свободна как ветер; знаю, что делаю, и делаю, что хочу. Я никому не обязана отчитываться, разве что отцу, но и отец не требует отчета. Я достаточно взрослый человек, хозяйка у себя в доме, так неужели я не могу принимать у себя кого хочу и разговаривать с кем мне нравится? Этого еще не хватало!

Слова «с кем мне нравится» сопровождались огненным взглядом черных глаз, в которых светилось явное расположение к доктору. Росита была девушкой порывистой и гордой. Желая успокоить дона Фаустино насчет женитьбы, она сказала:

— Неужели и в этом захолустье мы должны бояться пересудов? Неужели мы не имеем права дружить и раз-

влекаться как нам хочется? С кем же тут разговаривать, как не с вами? Мне кажется, что женщина в двадцать восемь лет, то есть уже не первой молодости, незамужняя, которая при этом не ищет женихов и не кокетничает, может рассчитывать на уважение. Неужели только из-за того, что какой-то дурак скажет, будто я жажду породниться с благородными Лопесами де Мендоса, мне нужно лишиться удовольствия разговаривать с вами сколько я хочу и когда я хочу?

— Да, да, чтобы стать графиней Спаржей Аталайской, — добавил доктор смеясь.

— Что же, это недурной титул, — шутливо подхватила Росита, покраснев при этом, и уже серьезно продолжала: — К нему можно было бы прибавить несколько симпатичных названий плодородных земель и ферм, принадлежащих моему отцу: Ла-Нава, Камарена, Эль-Калатравеньо. Но оставим эти глупости. Не будем гоняться за титулами, покончим с брачными союзами. Будем добрыми друзьями и станем называть друг друга просто Росита и Фаустино. Можете даже забыть, что я женщина, сама я давно об этом забыла. Посмотрите, в каком я виде: платье из перкаля, причесана дурно, розы почти завяли, — тут она резко вырвала розы из прически и швырнула их на пол. — Посмотрите на меня хорошенько: у меня вид управляющего, мызника или ключницы. Не правда ли? Разве я могу на что-то претендовать?

Росита поднялась и несколько раз повернулась перед доктором, чтобы тот убедился, как скромно и небрежно она одета: ни намека на кокетливость. И затем продолжала:

— Мы часто говорили о вас с Респетильей и пришли к выводу, что вы мученик во славу дьявола. В этом мы с вами похожи. Я мученица того же сорта. Только я не так серьезна и позволяю себе смеяться даже над моей епитимьей.

Доктор посмотрел на нее и увидел, что она была права. В ее костюме и прическе нельзя было открыть ни малейшего желания нравиться, хотя все в ней дышало здоровьем и отличалось необыкновенной опрятностью. Как мы уже говорили, она была похожа на бронзовую статуэтку. Деревенский воздух и солнце не огрубили ее лицо и руки, но как бы покрыли легкой патиной, как на иных произведениях искусства. Простое перкалевое платье эффектно

облегалo ее тело, не знающее ни корсетов, ни кринолинов, и делало ее похожей на юную Диану-охотницу.

— Все, что вы здесь говорили, — заметил доктор, — необыкновенно умно и справедливо. Но с одним вашим суждением я не могу согласиться?

— С каким же?

— Я не могу не считать вас женщиной. Вы женщина, и очень красивая женщина. Вы сами это прекрасно знаете.

Говоря это, доктор перебирал в руках розы, которые девушка вынула из прически и бросила на пол.

— Эти розы завяли не потому, что были давно срезаны, а из зависти к вашему прелестному лицу. Я сохраняю их на память.

— Глупости какие! Что еще за память? Разве мы не будем часто видеться?

— Разумеется, но это будет по вечерам. А что делать днем, когда я вас не вижу?

— Дайте их сюда! — сказала Росита, вырвала их из рук доктора и отбросила в сторону. — Раз уж вам нужно что-то сохранить на память обо мне, я дам вам другое, получше этих роз.

Сказав это, она развязала шелковый платок и сняла образок мадонны, который носила на груди.

— Возьмите этот образок и храните его как память обо мне. Футляр я вышивала сама, а епископ освятил его. Поделуйте его, — и она поднесла образок к губам донна Фаустино.

И доктор почтительно прильнул губами к образку, еще хранившему тепло его владелицы.

Они беседовали часов до одиннадцати. Хасинта с помощью Респетильи приготовила ужин, накрыв стол на четыре персоны, разложив конверты и поставив графин старого вина. Ужин состоял из аккуратно нарезанных ломтиков буженины и блюда спаржи в собственном соку с крутыми яйцами.

На десерт были поданы инжир, изюм, груши и виноградный сок.

Ужин проходил очень оживленно. Разговор снова стал общим. Графин быстро пустел. Когда господа перешли к десерту, по патриархальному обычаю к столу пригласили слуг, которые доели остатки.

Скоро пришел сам нотариус, вдоволь налюбовавшись на своих голубей. Богатый собственник дон Хуан Крискосто Гутьеррес обрадовался, увидев дочерей в столь

приятном обществе, и наговорил кучу комплиментов доктору Фаустино.

В полночь вечеринка закончилась, и дон Фаустино в сопровождении оруженосца отбыл домой.

В течение шести вечеров доктор Фаустино появлялся в доме нотариуса и был участником одного из трех дуэтов, составлявших общество.

На седьмой день между Роситой и доктором произошел разговор, который мы позволим себе подслушать. Около одиннадцати, то есть перед самым ужином, Росита и Фаустино, уединившись в углу комнаты, вели такую беседу:

— Раз ты настаиваешь, я буду говорить тебе «ты», но я так рассеяна, что могу назвать тебя на ты и при посторонних. Что тогда? Впрочем, пусть болтают. Итак, я зову тебя на ты. Ты носишь мой образок?

— Он всегда у меня здесь, на груди.

— Ты меня действительно любишь?

— Всею душой.

— Знаешь, Фаустино, будем любить друг друга, не спрашивая, как мы любим. В этом есть своя прелесть.



Она может исчезнуть, если мы будем спрашивать: «Что это — любовь, дружба или что-нибудь другое?».

— Все вместе. В наших отношениях есть что-то поэтическое, трудно объяснимое. Я не могу сказать, как я тебя люблю, знаю только, что люблю.

— Так не станем ломать голову над тем, что это за чувство и куда оно может завести нас в будущем, — сказала Росита. — Ведь мы оба отшельники, оба немного служим дьяволу, оба мученики со странной судьбой. Я слышала рассказ о двух других отшельниках. Встретились они в дремучем лесу, через который протекала река с чистой, прозрачной водой. Они увидели у берега легкий, хрупкий челн. Отшельники сели в него, отвязались от причала и поплыли по течению, не зная, не ведая, куда их влечет. И знаешь, куда их принесло?

— Конечно, — отвечал доктор, — прямо в рай земной. Херувим, стерегущий его пламенным мечом, или заснул, или так проникся расположением к отшельникам, что не стал им препятствовать. Они вошли туда и обрели там свое счастье.

— Вижу, что ты знаешь эту историю не хуже меня.

— Скажи, Росита, почему бы и нам не отважиться на то же самое? Давай, как те двое, сядем в челн и доверимся течению реки.

— Посмотрим, — сказала Росита. — Это нужно обдумать. Пока нам и так не плохо: мы находимся в дремучем безлюдном и цветущем лесу, на берегу реки с чистой, прозрачной водой. Разве это малый дар? Разве тебе этого мало? Смирись, жади́на отшельник. Слушай, как поют птицы в лесу, смотри, как цветут цветы, наслаждайся тихим журчаньем реки, собирай себе колокольчики и фиалки и не думай пока о плавании, не проси рая — его надо заслужить. Умей довольствоваться тем, что есть. В рай так не попадешь: взял да поехал. А если херувим не пустит?

— Ты мой херувим, и отшельник, и рай — все вместе. Именно в этот момент беседа была нарушена, так как Хасинта объявила, что ужин готов. Завязался общий разговор. В этот вечер все были особенно оживлены. Хасинта и Респетилья без церемоний подсади к столу почти сразу после господ. Было много шуток и смеха. Респетилья показывал свои разнообразные умения: пел петухом, лаял по-собачьи, мяукал, жужжал как пчела, звенел как муха, кричал как осел, прыгал по-лягушечьи

и квакал, изображал обезьяну. Хасинта умела подражать разным лицам и изобразила некоторых местных знаменитостей. Даже дон Херонимо, человек строгих правил, пытался рассказывать анекдоты, но ему не дали: анекдоты, как говорится, были с бородой, их встречали смехом и шумом. Росита, видя, что все так веселы и оживлены, предложила, воспользоваться чудесными майскими днями и совершить прогулку в очаровательное место, в Ла-Наву.

Все бурно приветствовали это предложение.

— Завтра же едем, — сказала Росита. — Такие вещи не откладывают. Выезжаем ровно в три. Все должны быть здесь к этому часу на лошадях, мулах или ослах.

— Непременно, — сказал доктор.

— Непременно, — подтвердили все остальные.

Вскоре появился нотариус. Росита рассказала ему о поездке, и тот ее одобрил.

— Разумеется, ты едешь с нами? — сказала Росита.

— А как же иначе? — отвечал дон Хуан Крисостомо.

— Итак, мы едем все, и папа разрешит мне пригласить еще одну мою подругу.

— Пожалуйста.

— Я приглашаю Эльвириту — нас будет восемь. Хорошее число. Не правда ли?

— Число хорошее, — подхватил Респетилья. — Лучше не надо! Здорово получается!

Этими глубокомысленными восклицаниями закончились все важные беседы, состоявшиеся в обществе из трех дуэтов, и гости расстались до следующего утра.

## XVI

### РАЙ ЗЕМНОЙ

Иной читатель может подумать, что поскольку поэтическая любовь доктора к Вечной Подруге только развивалась, то было низко и подло с его стороны заводить прозаическую любовь с Роситой, дочерью нотариуса и ростовщика. Доктор сам об этом думал, когда не видел Роситу. Однако когда он ее видел, это был конченый человек; из светлых заоблачных высей он низвергался в мрачную бездну.



Чего стоили все его теоретические рассуждения о вечности, абсолюте, начале, цели и конце всего сущего, если в своей практической жизни он водил дружбу с Респептилей и с доном Херонимо?

Доктор подыскивал всему этому различные оправдания. Некоторые из них уместно здесь привести. Мария, его Вечная Подруга, питала к нему благородные чувства, но доктор при всем желании не мог сотворить из нее богиню, сделать символом всего святого и прекрасного, поскольку она сама раскрыла ему свое низкое происхождение, предстала перед ним как существо, целиком захваченное низкой прозой жизни. Словом, он не мог сделать из нее то, что Данте сделал из своей Беатриче и Петрарка из Лауры. Кроме того, нельзя требовать верной любви даже к обожествленному предмету, когда этот предмет сокрыт от глаз и о нем почти ничего не знаешь, — это выше человеческих сил. Даже Данте позволял себе грешить самым прозаическим образом, при том что у него была Беатриче, а Петрарка тоже не зевал, несмотря на Лауру. Доктор же, хотя и любил некий идеал, все-таки не был уверен, что таковой существует. Он вообще ни в чем не был уверен.

«Если предмет моей любви есть некая абстракция, извлеченная из реальности, вроде эссенции или спирта, полученных путем возгонки или перегонки в перегонном кубе сознания, то глупо менять существенное и осязаемое на нечто кажущееся, призрачное или парообразное. Тем более что я не знаю ничего прекраснее красивой женщины. Если я хочу представить себе — как поэт и художник — богиню, нимфу, сальфиду, религию, философию, то я придаю им облик женщины. Конечно, я устранию при этом все несовершенства, которые я замечал у знакомых мне женщин, делаю их более красивыми, чем они были на самом деле, но это всегда образ и форма женщины, ибо форма есть содержание женщины, женская форма как раз и есть то самое красивое, самое возжеленное, самое поэтическое, что любит мужчина».

Много неясного в том, что считать совершенным, а что несовершенным. Однажды доктор открыл книгу римского оратора, называвшуюся «*De natura deorum*»<sup>1</sup>, и понял из нее, что даже родинки Роситы могут казаться проявлением высшего совершенства. Поэт Алкей был, например, без ума от одной родинки. А тут целых две.

<sup>1</sup> О природе богов (лат.).



Философствуя подобным образом, он нечаянно бросил взгляд на портрет перуанки, и ему показалось, что та хмурится. Доктор отбросил, однако, все одолевавшие его сомнения и решил последовать примеру легендарного отшельника: забраться в челн и плыть по течению.

Донья Ана, узнав о визитах сына в дом нотариуса, была этим фразирована и чувствовала себя как на раскаленных углях. Жестоко требовать от юноши, чтобы он заживо похоронил себя и ни с кем не водил знакомства. С одной стороны, она признавала, что в Вильябермехе только общество Жандарм-девиц было комильфо и настоящим *high life*<sup>1</sup>. Но, с другой стороны, ей было стыдно (такой твердолобой сотворил ее господь), что ее сын про-

<sup>1</sup> Высшим обществом (англ.).

падал в доме ростовщика и якшался с его дочерьми. Кроме того, она опасалась возможных осложнений и неприятностей. Восторожной и деликатной форме донья Ана сказала об этом сыну, но все было впустую. В условленный час доктор верхом на лошади и Респетилья на муле были у дома Жандарм-девиц, готовые отправиться в путешествие.

Окруженная толпой мальчишек кавалькада отправилась в путь. Нотариус и дон Херонимо ехали на мулах, Росита — на лошади, в английском седле, в костюме амазонки, сшитом в Малаге. Шествие замыкали Рамонсита, Эльвира и Хасинтика — на ослах, в дамских седлах. Росита и доктор ехали рядом, впереди всех, и казались королевской четой, за которой следовала свита. Выражаясь по-народному, звону было много. Кавалькада всполошила все местечко. Женщины прилипли к окнам и смотрели, как Жандарм-девицы и доктор трусят по щербатой мостовой. Это было триумфом Роситы, которая выставяла всем напоказ своего влюбленного пленника.

Весь путь Росита ехала впереди, а рядом, слева от нее — доктор, если, конечно, позволяла ширина дороги.

Стояла прекрасная погода: жара еще не наступила, но было не холодно.

Прямо через виноградники и оливковые рощи путники направлялись к одному из тех холмов, которые так сильно ограничивали кругозор бермехинцев. Холм напоминал огромную голую скалу, сплошь заваленную камнями: на пол-лиги вокруг не видно было ни дерева, ни травинки — только камни. Дорога поднималась вверх причудливыми зигзагами и напоминала лестницу, вырубленную прямо в камне. Только очень опытные животные могли пробираться по такой дороге, не подвергая опасности ни себя, ни седоков.

Трудный подъем длился около получаса. Постепенно горизонт раздвигался, и когда путешественники добрались до вершины, перед ними открылись огромные пространства: целые провинции с разнообразным рельефом, разные по цвету. Туман и облака растаяли под яркими лучами солнца, воздух сделался прозрачным. Вдали, на севере хорошо была видна Сьерра Морена, на востоке — снежная шапка Велеты, на юге — горная цепь Ронды. Между ними белели веселые деревушки и хутора, виднелись сады, виноградники, реки и ручейки, оливковые и дубовые рощи, часовенки на вершинах холмов, многочисленные зеленые лоскуты посевов.

— Боже, как здесь славно! — воскликнула Росита. — Какой чудесный вид!

— Я вижу только тебя, — говорил доктор. — Зачем искать красоту далеко, когда она здесь, рядом? Ты вобрала в себя все лучшее, что есть на земле и на небесах. Зачем утомлять глаза и напрягать ум в погоне за ускользающей красотой дальних пространств, когда ты здесь, ты одна являешь собой всю эту красоту?

— Замолчи, бессовестный лстец! От похвал у меня закружится голова, и я могу возомнить о себе бог знает что. Ты видишь эти поля? Красиво, не правда ли? Честное слово, ничто не может сравниться с нашей Ла-Навой. Скоро мы туда приедем, и ты сам увидишь. Настоящий земной рай.

— Для меня рай там, где ты.

Такой разговор произошел между Роситой и доктором, когда они оказались рядом: во время подъема они ехали по узкой тропке друг за другом, иначе можно было свалиться в пропасть.

Респетилья ехал следом за Хасинтикой. Уединиться было нельзя, и он развлекался пением. Вообще говоря, Респетилья был озорником, но к пению относился серьезно и исполнял с большим чувством любовные андалусийские песни. В его исполнении они звучали как стон души, как хватающий за сердце вздох. Среди прочих была и такая копла:

Если умру, в простой  
Просьбе не откажите:  
Тяжелой косой  
Волос смоляных  
Руки свяжите.

Эта страстная мольба, с которой обычно обращаются к святому, безусловно, бередила душу того божества, которому она адресовалась в данном случае, то есть Хасинтики. Впрочем, песня нравилась и остальным слушателям. Ничто не может сравниться с прелестью хорошо исполняемой андалусийской коплы, особенно если она звучит в открытом поле или на пустынной дороге, когда ты едешь один и никто тебе не мешает.

Наконец путники достигли самой вершины холма. Перед ними открывалась чудесная панорама.

Безжизненные каменистые склоны остались позади. Холмы и горы образовали здесь огромную чашу, выстланную плодородной землей. Ла-Нава представляла собой

небольшое плато, шириной не более двух лиг. С одной стороны уступами располагались другие площадки, с противоположной — плато упиралось в высокие горы, откуда низвергались полноводные ручьи, оплодотворявшие этот райский уголок. Виноградники, миндальные рощи, каменные дубы и дикие оливковые деревья покрывали склоны гор. Ла-Наву устилал зеленый ковер, украшенный цветами самой пестрой раскраски. Горные ручьи и реки проложили себе внизу широкие русла; по берегам пышно росли ольха, черные и серебристые тополя, ясень и ракета. Там, где ручьи образуют тихие заводи, разросся тростник, шпажник, сыть, душистая мята и пахучий майоран.

Свежую, нежную зелень лугов, согретых весенним солнцем, украшала узорчатая эмаль из лиловых ирисов, пурпурного шалфея, яркой желтухи и белых маргариток.

По обе стороны тропы, по которой ехали Росита и доктор, было целое море цветов самой разнообразной формы и окраски. Цветы олеандров начали уже раскрывать бутоны, обнажая нежно-розовые лепестки. В воздухе пахло шафраном и тмином.

В поисках тени и прохлады сюда слетались тысячи самых разных птиц. Казалось, что иволги, малиновки, дубоноски, воробьи, щеглы и прочие птицы разноголосым хором приветствуют пришельцев.

Росита была в восторге от всех этих красот и радовалась возможности показать дону Фаустино владения своего отца: они въезжали в Ла-Наву. Здесь было много разных ферм, но та, что принадлежала дону Хуану Крисостомо Гутьерресу, была самой большой и самой лучшей.

Несколько акров земли было занято под молодые виноградники; свыше пяти десятков сезонных рабочих возделывали их. На самом плато у дона Хуана было много отличных лугов, где паслись взрослые быки, годовалые бычки, коровы, овцы и бараны. В огромном саду, огороженном живым забором из гранатовых и мастиковых деревьев и кустов жимолости, росли фруктовые деревья и овощи. Перед самым входом в сад-огород стоял большой, просторный дом, чистый и симпатичный. Кроме нескольких удобных комнат для жилья, здесь были винный погреб, давальня и другие службы.

Небольшая площадка перед домом была затейливо выложена разноцветной галькой и обсажена смоквой, орехом, акацией и бесчисленными кустами роз разных сортов и расцветок — белых, красных, желтых.

Одна из башен дома служила голубятней. Ручные голуби то и дело слетались на площадку: ели, ворковали, любезничали, не обращая никакого внимания на людей. Под кровлей дома гнездились ласточки. Они тоже призывали к людям и приветствовали путешественников веселым писком.

Управляющий, его жена и дети вышли встречать гостей, приняли у них поводья и отвели животных к кормушкам.

Когда все спешились, образовалось четыре пары. Так попарно, взявшись за руки, компания пошла осматривать сад. Он был поистине великолепен: пышное и дружное цветение яблонь, вишен, абрикосов, айвы сулило хороший урожай. Кое-где можно было видеть запоздалые фиалки, любимый цветок Роситы. Именно в поисках фиалок Росита с доктором отправились в самую тенистую часть сада: солнце сюда не проникало, почва сохраняла влагу, а это как раз и продлевало фиалкам жизнь.

И тут доктор сказал своей спутнице:

— Все это сказочно великолепно, но если ты не любишь меня, мне это ни к чему.

— Разве я не говорила, что люблю тебя? — спросила Росита.

— Одних слов мало, — возразил доктор. — Посмотри, как дышит любовью все живое. Учись подражать природе. Кажется, сам воздух напоен любовью, и только ты по-прежнему холодна.

— Помолчи немного. Ты такой беспокойный, такой ненасытный. Неужели тебе мало нынешнего счастья и ты желаешь большего? Послушай, Фаустино, я не умею далеко загадывать. Когда мною овладевает какое-то сильное чувство, я не раздумываю долго. Но теперь меня заботит грустная дума. Представь себе, что мы стоим на берегу таинственной реки, о которой говорится в той сказке, а вот этот листик — лодка; если мы рискнем сесть в нее, то она понесет нас по течению. И может так случиться, что небо покарает нас, и мы вместо земного рая свергнемся в бездну.

— Жестокая, — сказал доктор. — Если бы ты действительно меня любила, то не стала бы думать о будущем. В тебе одной заключено сейчас столько счастья, что его хватило бы на столетия, и никакие будущие беды и страдания не смогут затмить это нынешнее счастье.

Как раз в это время к ним подошли дон Хуан и Эль-вирита, а за ними — две другие пары. Все стали оживленно болтать и смеяться.

Закатные часы в этих местах восхитительны. Запах цветов сделался сильнее, воздух наполнился приятной свежестью. Птицы пели прощальную песнь заходящему солнцу. Оно уже спряталось за золотисто-красной полосой облаков над самым горизонтом.

Потянулись в стойла быки и коровы, зашли в загонь годовалые бычки, на скотный двор вернулись овцы с ягнятами. Возвращались с работы батраки во главе с управляющим. Рабочие несли на плече свои мотыги, а управляющий — палку, или, по-местному, вару, символ власти, который используется им для руководства полевыми работами. В Андалусии партию батраков, подражающихся на какой-то срок и работающих на отдаленных фермах, называют варадой. Несомненно, это слово происходит от «вара».

Партия батраков, или варада, трудившаяся в Ла-Наве, заканчивала работу на следующий день, и потому все пятьдесят человек должны были переночевать в доме, где им отвели просторную комнату.

Когда наступила ночь, на площадке перед домом царило веселое оживление. По случаю приезда хозяев был устроен настоящий праздник. Ночь была великолепная. Тут же на площадке начались танцы. Среди батраков нашлись два недурных гитариста, которые умели не просто бренчать, но владели искусством гитарного перебора. В певцах не было недостатка. Объявились и танцоры. Жена управляющего, совсем молодая женщина, Жандарм-девицы, Эльвирита и Хасинтика ловко отплясывали фанданго. Их партнерами были очень искусные танцоры из числа батраков. Даже дону Хуану, дону Херонимо и самому доктору не удалось отговориться и пришлось сделать несколько пируэтов и фигур.

Респетилья был в ударе, особенно к концу праздника. От щедрот хозяина все плотно поужинали бараниной, которую вкусно приготовили пастухи, бобами с острыми приправами и рагу. Еда была острая. Всех стала одолевать жажда, и вино из погребов пользовалось большим успехом. В ход пошли кувшины — для батраков и кружки — для господ. Во время всеобщего шума, смеха, веселья Росита и доктор могли вдоволь наговориться. Нотариус был очень весел. Респетилья прекомично изобразил разговор пьяного со своей невестой, а под конец



прочел заученный наизусть рассказ «Гусь в винной лавке». Респетилья придумывал игры и сам ими руководил. Под играми здесь понимают нечто вроде драматических представлений, разумеется, самых примитивных. Актеры играют и сами сочиняют текст по ходу пьесы. Респетилья сочинял сценарий и режиссировал игру.

Он поставил в ту ночь две драмы, историческую и фантастическую. В драматической игре рассказывалось о шутках, которые разыгрывала королева Мария Луиза над другими лицами. Она была очень остроумна и любила пошутить. Только Кеведо превосходил ее в подобных проделках и так подшутил над ней самой, что отомстил за всех одураченных. Хасинтика играла королеву Марию Луизу, а Респетилья — самого Кеведо.

Второе представление было попроще и на более известный сюжет: его очень любят разыгрывать в деревнях и на хуторах. Герой драмы — поденщик. Он болтлив, влюблен, отважен и пьян. Словом — деревенский донжуан. Его роль исполнял Респетилья. Герой, несмотря на тысячу дерзких поступков и проступков, добывается благосклонности святого Петра, святого Михаила и еще каких-то святых. И когда за ним приходит дьявол, чтобы тащить



его в ад, он оставляет дьявола в дураках и потешается над ним. Обычно на роль дьявола подбирается кто-нибудь из самых комичных и дурашливых участников действия. К счастью, и здесь нашелся такой, Респетилья все приду-мал наилучшим образом: дьявол вошел со страшными воплями, на голове у него был таганок, что должно было изображать корону Князя Тьмы, он ползал на четвереньках, лицо было вымазано сажей, на каждой ножке таганка факелом горела смоченная в масле тряпка. Потом была потасовка, и все остались довольны тем, как был посрамлен и наказан дьявол.

Постановкой этой дьявольской драмы и закончился праздник.

В доме было достаточно места, и все господа разошлись на покой по своим комнатам. Утром все хотели рано встать, чтобы посмотреть восход солнца.

Дон Фаустино был так восхищен праздником, так очарован сценами деревенской жизни, сельским пейзажем и особенно Роситой, что ему казалось, будто он перенесся в Золотой век. Он начисто забыл о своих славных предках, о перуанской принцессе и даже о Марии, вообразил себя аркадским пастушком, а Роситу — своей любезной пастушкой.

На следующее утро все отправились — кто на лошадях, кто на мулах, кто на ослах — осматривать Ла-Наву, полюбоваться быками, поглядеть, как батраки делают повторное окапывание виноградников.

Доктор ехал рядом с Роситой, прикованный к ней любовью и чувством благодарности. Росита казалась королевой, которая показывала фаворита другим своим вассалам.

К вечеру господа вернулись в Вильябермеху. Варада батраков по окончании работ тоже разошлась по домам. Во всем местечке только и было толков, что о триумфе Роситы.

Компания из трех дуэтов распалась. Перед дверью дома нотариуса все стали прощаться.

— Прощай, до завтра, — сказала Росита доктору.

— Прощай, мое сокровище.

— Ты менялюбишь? Доволен ли ты мною? Счастлив ли ты? — шепотом спрашивала Росита.

Дон Фаустино с чувством сжал ей руку и сказал:

— Я обожаю тебя.

## РЕВНОСТЬ СИЛЬНЕЕ ЛЮБВИ

По возвращении доктор, к удовольствию матери, поужинал вместе с нею, чего давно не случалось, так как каждый вечер он пропадал у Жандарм-девиц.

После ужина Висента, прислуживавшая за столом, сразу ушла. Мать и сын остались одни. Донья Ана завела разговор о хозяйственных затруднениях и под конец сказала:

— Дела наши обстоят неважно, но я все же сожалею, что ты не уехал в Мадрид. Я хочу, чтобы ты отправился туда, ломаю голову, где бы найти средства, и готова пойти на новые долги.

— Почему вы так хотите удалить меня от себя?

— Скажу прямо, без обиняков, как и должна мать говорить с сыном. Меня крайне беспокоят твои отношения с Роситой.

— Неужели я должен жить отшельником, ни с кем не видясь?

— Ты совершенно прав. Мне не следовало удерживать тебя здесь. Я должна была употребить все усилия, чтобы помочь тебе уехать. Здесь ты невольно опускаешься.

— Матушка, вы употребили очень обидное слово. Почему вы считаете, что я опускаюсь?

— Не подумай, Фаустино, что я виню тебя, напротив, я стараюсь всячески тебя оправдать. Я понимаю, что в твои годы нельзя жить отшельником. Такое чудесное превращение пристало человеку, горячо верящему в бога, чего у тебя, к сожалению, нет. Вам, мужчинам, в отличие от женщин — то ли природа у вас такая, то ли из-за вашей науки, — недостает целомудрия, не хватает стимула, чтобы блюсти свою честь.

— Может быть, и так, но все же замечу, что не все сестры и дочери моих предков постригались в монахини из нежелания породниться с плебеями или из боязни уронить честь нашего рода. Многие из них выходили замуж за разбогатевших погонщиков мулов, за удачливых землепашцев и везучих контрабандистов. У нас есть родственники в самых низах здешнего общества.

— Это мне хорошо известно, дитя мое, но мне известно также и то, что ни один Лопес де Мендоса, ни один мужчина из твоего рода в течение нескольких веков

не женился на женщине, неравной ему по происхождению. Ты хочешь быть первым?

— Кто же вам сказал, дорогая матушка, что я собираюсь жениться?

— Тогда зачем же ты туда ходишь? К чему эти ухаживания? Чем все это кончится?

Дон Фаустино густо покраснел, опустил глаза и умолк.

— Все это я могу понять, — продолжала донья Ана, — но ты совершаешь большую ошибку, ты не отдаешь себе отчета в предосудительности такого поведения. Я уж не говорю, что грешно и стыдно завязывать любовные отношения, не помышляя о браке. Предположим даже, что эта самая Росита так бессовестна и безнравственна, что готова принимать тебя просто как друга, так сказать, из любви к свободе и независимости, и не имеет намерений превратить своего друга в законного супруга. Все это я допускаю. Но ты подумал, какую роль ты будешь играть в этих отношениях или уже играешь?

Дон Фаустино ощутил всю тяжесть обвинений, чувствовал себя подавленным и молчал.

— Пороки дворянина, — продолжала донья Ана, — не перестают быть пороками оттого, что он дворянин, но они во сто раз хуже, если ими поражен человек низкого происхождения.

— Матушка, за что вы меня мучаете? Мне оскорбительно слушать все это. Зачем вы так?

— Нет, дитя мое, я мать, я люблю тебя и не могу оскорбить тебя, что бы я ни сказала. Тебе кажется, что мой голос звучит слишком сурово, но отбрось обиды, успокойся и прислушайся к голосу собственной совести: разве он не звучит еще суровее? Я хочу сказать (мы одни, и я могу говорить тебе горькие вещи), что если молодая кровь побуждает тебя завести любовные отношения самого примитивного свойства, то было бы не столь уж неприлично и недостойно дворянина найти их у женщины бедной, низкого происхождения, которую не нужно тешить ложными надеждами. Напротив, ты даже мог бы ее несколько возвысить, приблизив к себе, и вызволить из бедственного положения. При всей твоей бедности ты мог бы позволить себе эту щедрость в нашем местечке. Конечно, ты согрешил бы перед богом и людьми и был бы ужасный скандаляк. Но, совершив грех и вызвав скандал, ты не был бы унижен, как теперь. Богатая дочка ростовщика-нотариуса

принимает тебя в своем доме, везет в свое имение, показывает тебя челяди как своего фаворита, слугу, раба... сутенера. Да, да, не хватало только, чтобы люди говорили, будто она тебя содержит.

Может быть, из-за дворянской спеси донья Ана сильно преувеличивала, но в ее словах была и доля правды. Дон Фаустино чувствовал это. Конечно, его коробила резкая форма и запальчивость, с которой мать выговаривала ему, но в глубине души он ощущал свою вину.

— Поденщики, работавшие в Ла-Наве, — продолжала разбушевавшаяся матрона из Ронды, — толкуют об этом на все лады. Могу себе представить, что они говорят. Девица донья Роса Гутьеррес выказывает тебе свое благоволение, осыпает милостями, приближает к себе, делает своим фаворитом и выставляет напоказ, словно свою куклу. Желая ослепить тебя, раздает направо-налево баранину, дорогое вино. Словом, ведет себя как королева или императрица, которая по капризу вытаскивает из небытия одного из своих вассалов.

Те, кто жил в деревне и хорошо знает деревенские привычки и обычаи, те, кто знает также характер доньи Аны, могут понять ее гнев и раздражение. Злоречивость деревенских обывателей не знает пощады. Донья Ана была права: все, кто видел дона Фаустино и Роситу в Ла-Наве, теперь беспощадно злословили. Все пересуды и сплетни были известны ей от Висенты и от других слуг, и она чувствовала себя пораженной в самое сердце: были задеты ее дворянская гордость и материнская любовь.

— Можешь представить, какой жестокий удар я пережила? — продолжала донья Ана. — Все считают тебя другом и протеже дочери нотариуса. Эти ничтожные люди считают тебя тем, кем был Годой для одной знатной дамы. А раз о тебе так говорят, считай, что все наши честолюбивые мечты и иллюзии потерпели крах. Подумать только: принцесса милостиво протягивает руку и приближает тебя к своей особе. Императрица снисходит до своего милого храброго рыцаря. Разве затем я произвела тебя на свет и воспитала?

Еще никогда дон Фаустино не видел свою мать в таком раздражении и гнев. Он хотел оправдываться, возражать, но не мог вымолвить слова. Между тем донья Ана даже не подозревала, что отношения молодых людей зашли так далеко. Мысль о том, что между ними могла

возникнуть любовь, причем так скоропалительно, даже не приходила ей в голову.

Доктор молчал и сидел понурившись. Лгать он не хотел, а кроме того, боялся ненароком оскорбить или огорчить мать.

Молчание сына, его униженный вид, безответность, а также то, что он не делал даже попыток защитить Роситу, умерили гнев доньи Аны, и она продолжала уже в менее резком тоне:

— Не падай духом, Фаустино. Держись с достоинством. Визиты в этот дом надо прекратить. Постепенно отучи их от себя. Сразу не рви — обижать никого не следует. Тем более что нотариус может стать опасным врагом: будет мстить, окончательно подорвет наш кредит, скупит наши векселя, начнет всячески нам вредить и добиваться нашей гибели. Но если ты постепенно прекратишь свои визиты под предлогом нездоровья или занятости, то ни у нотариуса, ни у его дочери не будет причины для обиды. Вся его месть ограничится какой-нибудь глупой сплетней вроде тех, что распространяют на мой счет. Скажут что-нибудь вроде того, что ты колдун, что ты общаешься с духом командора Мендосы, с перуанкой доньей Марией или с другими неприкаянными душами из нашего семейства.

— Матушка, — ответил наконец доктор, — сейчас я вам ничего не обещаю, но не сомневайтесь, что я постараюсь исполнить ваши желания. Теперь же я скажу только одно: не моя вина, что поденщики и местные кулушники превратно толкуют мое поведение. Может быть, в чем-то я поступил опрометчиво, но я не уронил чести и достоинства дворянина. Если нотариус богат, а я беден, в этом тоже не моя вина. Могу ли я рассчитывать на богатство, оставаясь здесь? По вашему совету я поехал свататься к кузине Констансии и потерпел неудачу. Теперь вы можете не беспокоиться: я научен горьким опытом и, как бы ни был беден, не стану искать спасения ни у дочери нотариуса, ни у кого другого, будь это хоть сама королева.

Донья Ана страстно любила сына и теперь расканьвалась, что обошлась с ним так жестоко. Напоминание о конфузе со сватовством, который произошел по ее вине, смягчило ее сердце. Довольная последними словами Фаустино, она поднялась со своего кресла, обняла сына и, обливаясь горькими слезами, поцеловала его.

— Какое несчастье! Какое несчастье, что мы так бедны! Нас считают здесь почти что нищими.

Бедняга Фаустино успокоил мать как мог, хотя и сам нуждался в утешении.

Скоро донья Ана ушла почивать, а доктор спустился к себе. Он был очень взволнован и не мог спать. Респетилья хотел помочь ему раздеться, но доктор отпустил слугу и остался один в комнате, где висели портреты его предков.

Он не мог ни писать, ни заниматься и все расхаживал по кабинету в сильном волнении, произносил вслух мысли, которые его одолевали, жестикулировал, словом был вне себя.

«Мать права, — рассуждал он, — она права, хотя и не знает всего. Я поступил глупо. Всею виной временное помутнение рассудка и вспыхнувшая любовь самого прозаического свойства. Если бы я по-настоящему любил ее и уважал, будь она дочерью самого сатаны, я женился бы на ней, вырвал бы ее отсюда и совершил бы чудеса только для того, чтобы прославить свое имя и завоевать положение в обществе. Тогда никто не посмел бы сказать, что всем этим я обязан ей. Но люблю ли я ее? Разве это любовь? Разве тот взрыв безумия похож на настоящую любовь? Нет, под истинной любовью я понимаю другое, я чувствую ее в себе, но она... беспредметна. Я несу в своем сердце все добродетели, великие страсти, благородные чувства, но обречен на то, чтобы совершать только низменное, грубое, грязное, прозаическое. Я веду себя так, как вел бы себя младший брат Респетильи. Что случилось с моей Лаурой, Беатриче, Джульеттой? И все-таки она лучше меня. Я подлец, обманщик и лгун. Какова бы ни была ее любовь ко мне, это все же любовь — пылкая, искренняя, благородная. В силу этой любви она одарила меня своим вниманием, проявляла нежность, говорила лестные слова, в общем, отдала мне свое чувство бескорыстно, слепо доверившись мне. А я, который еще испытывает желания, в ком не угасло еще живое воспоминание о ее нежности и жажда новых наслаждений, осмеливаюсь презирать ее, предавая ее во имя никому не ведомой идеальной любви, которой у меня никогда не будет. Когда я заглядываю себе в душу, я вижу ее огромной и готов сравнить себя с самим богом. Но стоит мне взглянуть на мои поступки и истинные пружины моего чувства, и я ощущаю себя ничтожным, как самая жалкая тварь».

Наконец дон Фаустино в изнеможении опустился в кресло, стоявшее посередине комнаты, перед столиком, на котором горела одна-единственная свеча.

И снова печальные мысли завладели им.

Он еще глубже заглянул в свою душу и увидел, что он способен вершить великие дела. Но почему же до сих пор он поступал так, как поступает самый заурядный смертный? Какой пружины ему не доставало?

И тут доктор пришел к выводу, что ему не доставало счастья, что он был жертвой жестокой судьбы. Судьбу можно было одолеть только верой, но его вера была слаба и половинчата. Он верил только в себя и не верил в то, что находилось вне его, что могло бы его взбудоражить, подстрекнуть, подтолкнуть.

Мир не обещал ему побед, возвышенной любви, безмятежного благоденствия, триумфов, о которых он некогда мечтал и все еще мечтает. В мире до сих пор получалось так, что все его иллюзии превращались в разочарования; за каждую мимолетную радость приходилось платить унижением. Когда он спускался с заоблачных высей на землю, отказывался от мечтаний, надежд и даже от своих иллюзий, пытался принять мир таким, каков он есть, то оказывалось, что его прекрасный идол, то есть тот образец совершенства, который он создал из себя, в глубинах собственного сознания, недостойн его, обезображен и замаран.

Будучи сыном своего времени, он понимал, что цель и назначение человека состоят в том, чтобы обнаружить все свои лучшие свойства, чувства и возможности, способствуя тем самым общему историческому прогрессу, умножая своей деятельной энергией, благородством и щедростью величие и достоинство всего сущего, в котором и над которым должны проявляться и блистать дух, ум, божественный пламень, чьим вместилищем, храмом и горном были его голова и сердце.

Если ему это не под силу, то почему он не бежит из этого мира? Почему не скроется в пустыне? Нет, не в Мадрид он должен стремиться, а туда, где его никто не будет видеть.

Но не является ли анахронизмом бегство в пустыню из отвращения и ненависти к обществу? Ведь только в давние времена люди бежали из городов.

Что мог ответить на это доктор? Он видел, что отвращение и ненависть наполняют душу многих, и временами

он чувствовал то же самое. Но одинокая душа не может достичь совершенства. Необходимо иметь предмет любви вне ее. Ты веришь в этот предмет любви, падаешь ниц перед ним, даже унижаешься, чтобы потом соединиться с ним. Душа очищается от греха и скверны и достигает наконец той ступени совершенства, к которой тщетно стремится одинокая душа. Ни душа доктора ни другие страждущие души не могут теперь уйти от общества. Возврата к временам Павлов, Антониев и Илларионов нет.

Чему они могли поклоняться в своем отшельничестве, кроме самих себя, пораженные самомнением и манией величия?

Дону Фаустино казалось, что только смерть принесет успокоение его измученной душе. Но как только он вспоминал о смерти, — наперекор ей вставали все надежды, иллюзии, чаяния его прекрасной юности, и были они полны света и красоты, а до его слуха доносились звуки волшебной музыки.

Это было похоже на гимн воскресения, который, как казалось его тезке доктору Фаусту, пел хор ангелов, когда он собирался осушить кубок с ядом.

Кроме того, ужас перед небытием был сильнее страха вечных мук. Он хотел жить, но жить полной жизнью, благородной, плодотворной, деятельной, и оставить после себя яркий след. Он мучительно искал средства, чтобы удовлетворить это желание, не находил его, но вера в собственные силы и радостная надежда еще жили в его сердце.

Он чувствовал себя способным преодолеть все преграды, победить все трудности. Не хватало только мощного толчка, не хватало импульса, который раскрыл бы его возможности, не было такого предмета, который внушил бы ему веру, любовь и вдохнул энергию. Констансия оказалась бессердечной кокеткой; Росита хороша собой, умна, темпераментна, но она не могла спорить с высоким идеалом, сложившимся в его мозгу; Вечная Подруга по-прежнему не появлялась.

Почему она не исполняет своего обещания и не спешит ему на помощь? Кем бы она ни была по происхождению, доктор понимал, что у них были родственные души, — высшая похвала, на которую был способен этот гордый ум.

Тысячи странных мыслей и планов проносились в голове доктора, тысячи желаний возникали в его душе. Если бы он мог пойти на сделку с дьяволом, он все



отдал бы ему в обмен на страстную любовь, дабы обрести путеводную звезду, которая служила бы ему ориентиром в бурном житейском море, центром притяжения, управляющим его движением и определяющим орбиту этого движения.

Доктор был гордецом и отрицал сверхъестественное только на том основании, казавшемся ему неоспоримым, что в его собственную жизнь никогда не вмешивалась никакая сверхъестественная сила. Если бы она существовала, то кто другой с большим основанием мог удостоиться чести общения с ней, мог рассчитывать на ее помощь и содействие, чем дон Фаустино Лопес де Мендоса? Но поскольку она не подчиняется его воле, не откликается на его призывы, значит никаких высших сил не существует в природе.

Экзальтация, только что владевшая доном Фаустино, покинула его и сменилась меланхолией. Он чувствовал себя самым несчастным человеком на земле. Ему почудилось даже, что и перуанка и другие предки смотрят на него с состраданием. Слезы отчаяния полились из глаз и потекли по щекам.

Хотя слезы не очень украшают мужчину, однако скорбь, которая их выжимала, была столь высокой (хотя и несколько неоправданной), что придавала лицу доктора удивительное выражение и делала его в те мгновения прекрасным.

Было три часа пополудни. Полумрак, глубокая тишина, царившая вокруг, близость кладбища, портреты предков, скудно освещаемые одной-единственной свечой, воспоминание о последнем появлении таинственной женщины — все это располагало к любви и порождало желание снова увидеть незнакомку.

Он поднялся с кресла и готов был открыть окно, почти уверенный в том, что увидит Марию, что она здесь, рядом, что она стоит прислонившись к стене, как в прошлый раз, и на глазах у нее слезы, как вдруг дверь тихонько отворилась и в комнату скользнула какая-то темная фигура. Он не видел лица и вообще ничего не мог рассмотреть, но чувствовал, что это была она, его Вечная Подруга.

В руках у вошедшей был фонарь, которым она светила перед собой, сама она оставалась в тени. Она подошла к столу, где стояли вазы и ароматницы, поставила туда фонарь, повернулась лицом к доктору, и тот с изумлением и восторгом узнал свою Вечную Подругу, еще более кра-



сивую и пленительную, чем раньше. Если бы его поэтический идеал и самые смелые мечты обрели материальные формы, то и они не могли быть более прекрасными.

Свет масляной лампы, стоявшей на круглом столике, хорошо освещал лицо Вечной Подруги. Доктор увидел ее тонкие, благородные черты и был заворочен этим дивным видением. Он онемел от неожиданности.

— Ревность сильнее любви, — тихо и печально сказала Мария. — Ревность заставила меня все забыть, все презреть — и вот я здесь, я пришла к тебе.

Доктор не стал даже задумываться, как она сюда пришла: проникла сквозь стены, словно привидение, прилетела с помощью дьявола, внявшего его жалобам, явилась самым обычным путем, как все люди? Какое это имеет значение? Важно, что она здесь, важно, что его до краев наполнило чувство страстной любви. Это была не какая-то

неуловимая, неясная любовь, которая не выдерживает анализа критического разума, а любовь весомая, совершенная, зримая, неодолимая, подавившая все другие страсти и достойная его души.

— Я здесь, — повторила Мария. — Сила, большая, чем моя воля, влечет меня к тебе. Я твоя. Разве я хуже той... другой? Неужели ты не можешь полюбить меня?

Кровь бросилась ему в лицо. Он подумал о том, что все те слова любви, нежности, обожания, которые срывались с его уст еще вчера, предназначались для другой женщины, были чистой профанацией.

Он ничего не ответил, только рванулся к ней и сжал ее в своих объятиях.

## XVIII

### ЛЮБОВНЫЙ ДОГОВОР

Первые лучи солнца проникли в комнату сквозь бесчисленные щели в старых деревянных ставнях. До слуха дон Фластино и его возлюбленной уже доносилось пение птиц, славивших наступление нового дня.

Мария бросилась в объятия дон Фластино, движимая ревностью, нарушив все предписания морали, божеской и человеческой, презрев всякую осторожность, повинувшись любовному порыву, граничащему с фанатизмом, сильная верой в нерасторжимость уз, связывающих ее с доктором.

— Теперь не удерживай меня, — сказала Мария, освобождаясь от объятий. — Мне пора идти, не провожай меня. Помни наш уговор.

— Я исполню обещание, хотя мне трудно это сделать. Но скажи мне, к чему такая таинственность?

— Причина таинственности — это тоже тайна, и я не могу ее открыть. Более того — я снова прошу: обещай не преследовать меня, не старайся узнать, как я сюда попала, а если даже и выяснишь, то сразу забудь об этом. И еще: никому не говори о наших встречах. Обещаешь?

— Я уже обещал и не нарушу слова, — отвечал доктор.

— Я люблю тебя всем сердцем и буду всегда твоею, — прибавила Мария, — но пойми меня хорошенько: я сохраняю за собой свободу покидать тебя, когда сочту это необходимым, и ты не удерживай меня, не препятствуй этому, не спрашивай о причине. Тебе достаточно знать, что я связана с тобой вечными узами. Когда я уйду от

тебя, ты свободен, но я останусь твоей подругой, рабой, даже если бы против нас восстал целый свет. Ты был, есть и будешь моей единственной любовью. Ты можешь назвать это безумием, но я любила тебя вечно в тысячах меняющихся земных существований, ты душа моей души, а я не только твоя Вечная Подруга, но твоя вечная жена, сущность твоей души.

— Нет, мое сокровище, ты ее энергия, сила, слава, путеводная звезда, магнит, божественная воля, которая станет началом, корнем, неисчерпаемым источником всех моих высоких помыслов и поступков. Мука безлюбия терзала мою душу, ужасная мысль о том, что сердце мое не способно любить, отравляла мое существование. Ты сняла эту муку. Жажда любви была моим мучением. Душе моей, лишенной предмета любви, грозила гибель. Теперь моя душа живет в твоей: я люблю тебя. Эти три слова, банальные, произносимые миллионы раз без смысла и без чувства, обрели теперь бесконечно глубокое, абсолютное значение.

— И еще одно условие нашего любовного договора, — продолжала Мария, стараясь скрыть свое волнение, хотя голос ее дрожал, — это главное условие. Соблюдение его необходимо, чтобы пощадить мою гордость, сделать спокойной мою совесть, несмотря на мой великий грех, который, я надеюсь, бог простит мне. Ни сейчас и никогда в будущем ты не сделаешь меня своей законной женой. Даже если обстоятельства изменятся и мне не нужно будет скрываться, я не захочу усугубить мой грех, став причиной скандала. Итак, я должна быть свободной и покинуть тебя, когда возникнет настоятельная необходимость.

— Не мучай меня, Мария, — сказал доктор. — Я не знаю, кто ты, не хочу знать никаких подробностей — они мне не нужны. Важно, что я узнал твою душу и моя душа слилась с твоею. Я хочу быть твоим возлюбленным и твоим мужем перед людьми, ибо перед богом я уже твой муж и твой возлюбленный.

— Не богохульствуй, Фаустино. Наш безумный союз не освящен богом.

— Ты сама назвалась моей вечной женой.

— Я говорю это и верю в это. Наши души соединены. Но во имя этого союза мы не должны идти против бога: это было бы нашей гибелью. Никто не освящал здесь, на

земле, союз Марии и Фаустино. Я сама не хочу такого союза. Он не может быть освящен.

— Но почему же? — воскликнул дон Фаустино. — Ты молода, свободна, красива. Ты пришла ко мне и отдала мне свою красоту и свое сердце, не требуя ничего взамен. Я сам предлагаю тебе мою руку, мое имя, мою жизнь. Будь моей женою!

— Никогда.

— Останься со мной навсегда.

— Нет.

— Но почему? Почему ты говоришь «никогда»?

Мария колебалась какое-то мгновение, молчала, обдумывая что-то, потом сказала:

— Твоя искренность и пылкость, с которой ты все это говоришь, побуждают меня включить еще одно условие в наш договор. Ты просил меня стать твоей женой, и я ответила «никогда». Я беру назад это слово. Я уверена, что всегда буду любить тебя, и торжественно обещаю: если когда-нибудь, когда пройдет твоя молодость, и твои честолюбивые мечты исполнятся или разлетятся в прах, и ты будешь еще свободен, и все еще будешь любить меня, и я буду жива, и ты найдешь меня, я стану твоей женой. Теперь это невозможно. Ты ничем не связан. Я связала себя словом.

— Клянусь, я женюсь на тебе, когда ты захочешь!

— Не клянись — я не принимаю твоей клятвы. Бог ее тоже не примет. Прощай.

Дон Фаустино снова обнял свою возлюбленную. Освободившись от любовных цепей, Мария направилась к двери и скрылась. Доктор не решился последовать за нею.

Мария обещала вернуться следующей ночью.

## ХІХ

### НА ЧТО СПОСОБНО ПРЕЗРЕНИЕ?

Дон Фаустино перестал сомневаться и колебаться. Радости его не было границ. Кажется, пружина, которой недоставало его душе, начала разворачиваться, и он почувствовал себя готовым к любой деятельности, способным преодолеть все препятствия и преграды.

И все же он испытывал угрозы совести.

Конечно, он ничего не обещал Росите, ни в чем не клялся, ничем себя не связывал. Но это-то и подтверждало благородство и доверчивость дочери нотариуса.

Дон Фаустино твердо решил не видеться больше с нею, пожертвовать ею ради Марии, которую страстно любил и будет любить, даже если она окажется дочерью палача. Но он не мог избавиться от чувства жалости к Росите, которая так незаслуженно становилась жертвой забвения. И все же своего решения не видеться с Роситой не переменил.

Настал день и час трех дуэтов, но Респетилья отправился к Росите один. Она очень удивилась этому и опечалилась. Респетилья старался утешить ее, взяв на себя смелость сказать, что дон Фаустино болен и лежит в постели. Недоумение Роситы сменилось сочувствием и озабоченностью.

В течение четырех вечеров Респетилья удавалось поддерживать версию о болезни дон Фаустино. Респетилья передавал господину нежные приветы от Роситы и по собственной инициативе приносил ей не менее нежные приветы от доктора.

Росита хотела было написать письмо, но она писала так дурно и с такой массой орфографических ошибок, что, боясь показаться невеждой, оставила эту мысль.

Она спросила у местного врача о здоровье дон Фаустино, но тот сказал, что он не был у него и ничего не знает о болезни. Но и тут Респетилья развеял сомнения, уверив, что его господин лечится сам.

Поскольку дон Фаустино не выходил из дому и никто его не видел, версия о болезни казалась правдоподобной.

А доктор ломал себе голову над тем, как порвать с Роситой, не оскорбляя ее. Он собирался послать ей письмо, в котором выразит самые дружеские и нежные чувства и в завуалированной форме, нагромоздив всякие любезности, простится с нею. Однако придумать всю эту изысканную казуистику в голове оказалось легче, чем изложить на бумаге.

В общем, письмо оказалось делом трудным: время шло, а дон Фаустино не писал.

Когда Респетилья в очередной раз стал приставать к нему с расспросами, то, не зная, что ответить, дон Фаустино просто прогнал слугу.

Даже донье Ане такой способ рвать отношения казался резким и грубым. Хотя она многого не знала, ей

Словом, все меры предосторожности были приняты. По крайней мере так думал доктор. Несчастный и не подозревал, что его ожидало. Росита уже стояла за пологом, отделявшим кабинет доктора от спальни.

И тут она увидела дона Фаустино, веселого, целого и невредимого, радостно возбужденного, к тому же он декламировал стихи Соррилья:

Если ты воспоминанье, то украсишь жизнь мою.  
Если совести терзанье, не бывай тебе живой.

Ее охватила ярость. Как? Она думала найти его больным и печальным, а тут нá тебе! Уж не превратилась ли она в воспоминанье, и не собирается ли он задушить ее, свою больную совесть?

Росита продолжала прятаться за портьерой, ожидая, точнее — ожидая и страшась, появления соперницы. То она воображала, что это какая-нибудь служанка или судомойка, то не без страха думала, что доктор немного колдун, и ожидала увидеть здесь призрак, неприкаянную душу, привидение. Но гнев ее был столь велик и решимость так бесстрашна, что она готова была отомстить самому дьяволу, если бы он в женском обличье пришел сюда на тайное свидание с доктором.

Она сожалела, что не захватила на этот случай пистолета или на худой конец кинжала. Однако она возлагала большие надежды на свой язык и на свои руки.

Доктор поставил свечу на круглый столик, вытянулся в кресле и продолжал декламировать тихим, но внятным голосом:

Не открыта мне тайна твоего бытия.  
Имя мне незнакомо, неизвестна судьба.  
О, в каких ты пределах, не ведаю я.  
День-деньской колесить — не отыщешь тебя.  
Если дан тебе голос, позови, отзовись.  
Если тело из плоти, не утайвай лик.  
Предо мною воочию, призрак, явись.  
Хоть виденьем мелькни, воплотись хоть на миг.

Стихи возымели эффект заклинания.

Дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошла женщина в черном. Мелодичный голос отвечал на стихи доктора такими стихами:

За тобой я бреду, словно робкая тень.  
Мне навек суждено быть твоею рабой.  
Ночь иду напролет, а за нею весь день.  
Вот смотри — распростерлась я перед тобой.

Мария опустилась на колени перед доктором. Тот поднял ее, обнял и покрыв ее прекрасный лоб и щеки поцелуями.

Росита потеряла всякое самообладание. Поначалу она готова была подумать, что существо, которое дон Фаустино покрыв поцелуями, было существом сверхъестественным, демоническим, но как только увидела, что оно имеет облик женщины, волна ревности захлестнула ее, заставив позабыть суеверный страх.

Она выскочила из своей засады, как тигрица бросилась к любовникам, разъединила их и разразилась упреками против дона Фаустино, который оторопело смотрел на нее.

— Негодяй! Так-то ты платишь за мою любовь! Как ты подло меня обманул! Почему не поберег всех живых слов, коварных заверений, которыми ты меня дурачил, для этой дьяволицы? А ты, треклятая, с какого шабаша прилетела? Где твоё помело? Из какого вертепа тебя вытащили?

Раньше чем дон Фаустино успел прийти в себя и вымолвить слово, Росита схватила со стола подсвечник и, поднеся его к самому лицу Марии, мгновение рассматривала его, буквально пожирая и прожигая его взглядом. Глаза ревнивицы метали молнии. И тут она разразилась громким смехом. Ненависть вспышкой осветила ее память. Сомнений не было: она узнала Марию, которую не видела с самого детства.

— Я знаю тебя, подлая тварь. Хорошую любовницу подцепил себе этот нехристь, шелудивый пес, убийца! Ты — Мария, по кличке Сухая. Где же ты пропадала с тех пор, как твоя мать отбыла в пренсподнюю? А где твой ворюга отец? По нем гаррота плачет.

Выпалив все это и не дав никому опомниться, она поставила подсвечник и ринулась к Марии, готовая разорвать ее на мелкие кусочки.

Мария молчала, стояла спокойная и печальная, словно статуя, изображающая скорбное смирение, полная величавого достоинства.

Росита уже готова была вцепиться ей в волосы и расцарапать лицо и сделала бы это, если бы не подоспел доктор. Он схватил ее за руку и силой оттащил от Марии.

— Кто тебя впустил? Как ты сюда пробралась? Я сейчас же выставлю тебя на улицу. Не кричи, не буйствуй, не то я заткну тебе рот.



Росита пронзительно закричала.

— Замолчи, — сказал доктор, — замолчи, или я задушу тебя.

— Не буду молчать, изменник! Не хочу молчать! Дворянин — дырявый карман, шут гороховый, бесстыдный побирушка! И любовницу выбрал под стать себе. Ступай к ней. Может, ее отец примет тебя в свою шайку. Куда как хорошо: граф де ла Спаржа — зятек Хоселито Сухого!

Нужно было обладать терпением Иова, чтобы не раздавить эту гадину. Не говоря больше ни слова, крепко держа Роситу за руку, дон Фаустино почти волоком потащил ее в коридор, к комнате Респетильи.

Он хотел позвать слугу без лишнего шума, но боялся оставить Роситу наедине с Марией, опасаясь за жизнь своей возлюбленной. Он правильно рассудил, что этот подарок устроил ему Респетилья, и потому он должен быть у себя в комнате.

И действительно, как только он дошел до двери его комнаты и позвал слугу, тот появился вместе с Хасинтикой. Вечеринка начатая в другом доме, продолжалась теперь здесь.

Оба были уверены в том, что оказали господам добрую услугу, и полагали, что те давно уже вкушают блага земного рая. Однако, увидев их, страшно перепугались.

Глаза у доктора горели, как раскаленные угли, он был бледен, черты лица искажены гневом. Свободной рукой он схватил Респетилью за ухо и сказал:

— Я убью тебя! Кто надоумил тебя привести сюда это исчадие ада? А ну, живо, открой парадную и выдвори ее. Только без шума.

Респетилья повиновался. Хасинтика трусила за ним следом. Доктор шел сзади, держа Роситу за руку.

— Отпусти руку, изверг. Ты мне выкрутил ее и едва не сломал. Чем я заслужила такое обращение? Ведь я любила тебя, ничего от тебя не требовала, была тиха и покорна. Неужели ты променяешь меня на бандитскую дочку? Оставь ее, прогони, и я буду твоей рабыней, буду целовать землю, по которой ты ступаешь. Я все прошу тебе. Прости и ты меня. Люби меня!

— Это невозможно, — отвечал доктор. — Я не люблю тебя и никогда не буду любить. Ступай с глаз моих. Убирайся.

После этих слов прилив нежности сменился приступом бешеной ненависти. Росита вся ощерилась и сказала:

— Мужлан! Ты меня попомнишь. Ты кровью ответишь мне за все. Я сделаю тебя нищим и добыюсь, чтобы твою матушку-колдунью сожгли на костре.

Доктор был не в силах дольше сдерживаться, терпению его пришел конец, и он занес уже руку, чтобы дать ей пощечину. К счастью, он этого не сделал.

— Трус! Ты поднял руку на женщину!

— Нет, ты не женщина, ты ведьма!

Не успел он произнести эти слова, как Росита вцепилась ему в лицо и расцарапала ногтями до крови.

Теперь сбывалась и угроза доктора: Росита ощутила на своей щеке удар, скорее робкий, чем хлесткий.

— Убей его, Респетилья. Прошу тебя. Ты сильнее его. Ты его одолеешь. Сейчас ночь — никто не увидит. Я дам тебе тысячу дуру. Я дам тебе тысячу дуру и лошадь в придачу. Ты убежишь в Гибралтар, в Америку. Не трусь. Убей его, и я тебя озолочу.

Респетилья молча открыл дверь и выпустил Хасинтику, потом вернулся за Роситой и почти вынес ее на руках.

Доктор захлопнул дверь и вернулся к себе в комнату.



Но Марии там не было. Он обегал другие комнаты и не нашел ее.

На своем письменном столе он увидел записку, в которой Мария писала:

«Серьезные причины заставляют меня покинуть тебя. Прощай! Теперь, может быть, навсегда».

— Нет, ты не оставишь меня! — пробормотал доктор. — Я нарушу договор, разыщу тебя и никуда от себя не отпущу.

Доктор сообразил, куда она могла уйти. Взяв свечу, он, не мешкая, выбежал во внутренний двор. Одну сторону двора образовывала стена. В стене была дверь, соединявшая двор с замком.

Доктор толкнул дверь, но она не поддавалась — была заперта на ключ. Ключ от этой двери раньше хранился в доме, но либо его потеряли, либо каким-то образом им завладела Мария. Оставалось только одно — взломать дверь.

Дон Фаустино схватил топор и яростно ударил по ней несколько раз. Дверь была старая, изъеденная чернем, и сразу рухнула.

Так, держа топор в одной руке и свечу — в другой, он прошел несколько коридоров под низкими полуразвалившимися сводами, миновал несколько оружейных комнат, заваленных мусором.

Он не знал этого лабиринта, вернее, забыл его (хотя когда-то частенько заглядывал сюда из чистого любопытства). Двигаясь наугад, он вдруг споткнулся о камень и, чтобы удержаться на ногах, выпустил свечу: свет потух, он очутился в крошечной тьме, не зная, где он находится и куда нужно идти.

## XXI

### В ПОГОНЕ ЗА ЖЕНЩИНОЙ

Доктору удалось нащупать впотьмах подсвечник, но он был ему ни к чему: зажечь свечу было нечем, а так — он только мешал. Пытаясь найти выход, доктор ощупью двигался вдоль стены. Но в этом каменном мешке не было ни окна, ни отверстия, и свет месяца, украшавшего небо в эту майскую ночь, не проникал сюда.

Там, снаружи, в кронах деревьев и в высокой траве тихо шумел приятный свежий ветерок, но здесь, где нахо-

дился теперь доктор, от него делалось жутко. Гуляя по галереям и узким проходам, он стонал, натапливаясь на мрачные полуразвалившиеся стены, дробился на тысячу печальных, хватающих за сердце звуков. Отвратительно было слышать и шум, поднятый крысами, встревоженными вторжением непрошеного гостя в их владения.

Несмотря на свою ученость, доктор не был твердо уверен в том, что на свете нет чертей, привидений и других сверхъестественных существ. Однако бешенство, охватившее его, когда он увидел себя в заточении, оказалось сильнее смутного страха перед разгуливающими чертями.

Эти соображения невольно облеклись у него в форму звучащего слова: из его уст вырвалось несколько проклятий, да простит его бог. И как бы в ответ на свои слова, он услышал близко от себя шаги какого-то существа, несомненно, покрупнее крысы. Но не было видно ни зги. Доктор напряг зрение, и перед его глазами пошли какие-то светлые круги, они росли, ширились, заполняли пространство причудливыми, фантастическими узорами. Внутри этих кругов, красных, желтых, зеленых, как портреты в рамках, возникали то голова Хоселито Сухого в железном ошейнике и с высунутым языком, то видение женщины, похожей на Марию, или на перуанскую принцессу, или на обеих сразу, то фигуры старцев-отшельников вроде святого Антония. Доктор не испугался и не растерялся, напротив, как бы бросая кому-то вызов, он выкрикнул новое проклятие.

Но едва с его уст сорвалось это последнее проклятие, как существо, шаги которого он только что слышал, навалилось на него. Доктор почувствовал, как уродливые сильные и сухие, как у мумии, руки охватывают его, и ощутил на своем лице прикосновение чье-то волосатого лица. Инстинктивно — размышлять было некогда — доктор оттолкнул чудовище, но оно снова навалилось на него, ткнулось своей мордой в его щеку и запечатлело на ней холодный слюнявый поцелуй.

Надо признать, что подобное происшествие могло напугать кого угодно. Ветер стонал, свистел, бормотал, подражая плачу, пению, стону и даже каким-то непонятным словам на непонятном языке. А тут еще отвратительное таинственное существо облапило дону Фаустино и тыкалось мордой ему в лицо.

Несмотря на свою просвещенность, доктор почти поверил в то, что с ним связался сам дьявол. Какое-то

мгновение он колебался: пустить ли ему в ход топор, чтобы одолеть чудовище, или осенить себя крестным знаменем, чтобы прогнать его. В этот самый момент раздался жалобный вой, совсем не похожий на человеческий.

Доктор расхохотался и немного смущенный и пристыженный произнес:

— О Фаон! И ты здесь? Черт возьми, это же Фаон!

Это был самый красивый, самый крупный из всех его охотничьих псов. Полный добрых намерений, соблюдая благоразумную осторожность, Фаон все это время тихо, чтобы не испугнуть дичь, следовал за хозяином, даже не подозревая, что может его напугать.

Доктор погладил собаку и еще раз убедился, что в ответ на его проклятия явился именно Фаон, а не что-нибудь другое. Он решил полностью довериться собачьей сообразительности, надеясь, что Фаон, друг красавицы по кличке Сафо, выведет его из крошечной тьмы. Для верности он обвязал шею поводья носовым платком и взялся за кончики.

Пес каким-то необъяснимым чутьем понял, что хозяина надо вести. Но куда? Однако Фаон двинулся в путь, доктор — за ним.

Скоро доктор почувствовал, что собака потянула его вверх. Это была лестница. Поднявшись по ней, он увидел лунный свет, ощутил на лице свежий ветерок и тут же определил, что находится неподалеку от выступа башни, соединяющейся с церковью сводчатой галереей. К несчастью, отсюда не было входа в церковь, а через узкие стрельчатые окна едва ли мог пролезть даже очень щуплый человек.

От досады и огорчения доктор топнул ногой. Фаон снова потянул вперед, повел хозяина вниз по лестнице, по которой они только что поднялись, и вывел его во внутренний двор замка, поросший высокой травой. Хотя дон Фаустино не был опытным следопытом, но заметил, что трава местами примята, следы свежие и оставлены маленькой женской ножкой. Ошибки быть не могло: Мария прошла здесь.

По жесту хозяина Фаон понял, что тот доволен, понял он также, что след взят правильно, и с радостным лаем ускорил бег. Доктор поспешил за ним.

Они попали в какой-то коридор, снова поднялись по лестнице и очутились на втором этаже башни. В одной



из стен открывался арочный проход, соединяющий замок с церковью.

Они миновали арку, спустились по какой-то узенькой лестнице вниз и оказались на хорах замечательной бермехинской церкви. Здесь было тихо и темно, хотя внизу горели лампы: одна — перед главным алтарем, а две других — перед нишами святого покровителя Вильябермехи и Иисуса Назарейского.

С хоров ничего не стоило спуститься в неф церкви — этот путь был хорошо известен доктору.

Затем он проследовал к двери, ведущей в ризницу. Доктор предположил, что Мария могла пройти именно здесь. Правда, он не был в этом твердо уверен, но, заметив нетерпение, которое проявлял Фаон, понял, что его предположение было правильным.

Какова же была его досада, когда он обнаружил, что дверь в ризницу заперта. С этой дверью было не так легко совладать: она была сделана из толстых ореховых

досок и могла выдержать град ударов. Пытаться выломать ее не было смысла. Да он и не осмелился бы это сделать. Рядом с дверью, недущей в ризницу, в нише алтаря, выполненного в стиле чурригереско, помещалось изображение Иисуса. В склепе, под тяжелыми каменными плитами, по которым шел доктор, покоились останки его предков. Каждый его шаг гулко звучал в недрах церкви и многократно повторялся, отражаясь от стен.

Однако он несколько раз постучал в дверь тыльной частью топора. Никто не отозвался. Он постучал сильнее — безрезультатно. Наконец, потеряв терпение, он стал стучать изо всей силы. Каждый удар многократно отдавался усиленным эхом, и возникал единый мощный гул. Казалось, что это сам бог звал на страшный суд монахов-доминиканцев и членов семьи Мендоса, покоившихся в склепе. Ни одна живая душа не откликнулась.

Тогда доктор наклонился к замочной скважине и крикнул:

— Отец Пиньон! Отец Пиньон! Вы что, оглохли?

Отец Пиньон и правда был глух. Кричать было бесполезно — никто не отзывался.

Вдруг ему пришла мысль, что он сделал глупость, избрав эту дорогу. И еще подумал, что, пока он здесь стучал, Мария успела покинуть жилище отца Пиньона через другую дверь.

Сообразив все это, он сорвался с места и как сумасшедший бросился бежать на хоры, а оттуда обратно по той дороге, по которой только что шел сюда. Теперь собака едва поспевала за ним. Но как только они добежали до внутреннего дворика, хозяин и пес снова поменялись ролями: теперь собака пошла впереди и быстро довела его до дома.

Респетилья, который снова приступил к исполнению своих обязанностей слуги, увидев господина с топором в руке и крайне возбужденного, подумал, что тот рехнулся.

Доктор схватил шляпу и выбежал на улицу, оставив Фаона дома и запретив слуге сопровождать его.

В несколько прыжков он достиг двери жилища отца Пиньона и принялся яростно колотить.

То ли отец Пиньон вообще стал лучше слышать, то ли ему с этой стороны было слышнее, но результат был налицо: через три-четыре минуты в окне появился отец Пиньон собственной персоной и спросил:

— Кто это стучит так поздно?

— Это я, — ответил доктор. — Не узнаете?

— Ах, это вы! Что-нибудь случилось?

— Ничего страшного. Откройте, мне нужно с вами поговорить.

— Эй, Антонио! — крикнул отец Пиньон. — Отвори сеньору дону Фаустино!

Но прежде чем рассказывать дальше нашу историю, сообщим читателю, кто такой был отец Пиньон.

Отец Пиньон был последним из монахов некогда существовавшего здесь монастыря. За свой малый рост он получил прозвище Пиньон, что значит «шишка», и едва ли кто-нибудь помнил теперь его настоящее имя.

Хотя часть здания, где раньше жили монахи, была продана, а в другой разместилась маслобойка, одна комната, просторная, удобная и светлая, оказалась свободной. Эту комнату, примыкавшую к ризнице, прихожане и полагали отцу Пиньону, которого очень любили.

С помощью пономаря Антонио и двух служек отец Пиньон исправлял должность настоятеля огромного храма, составлявшего славу и гордость Вильябермехи, ревностно охраняя его сокровища: расшитые золотом роскошные облачения священников (парадные ризы, епитрахили, стихари и прочее), усыпанную изумрудом и жемчугом дароносицу и другие драгоценности и произведения искусства. Все это хранилось в нишах, ларцах, сундуках и шкапулках, стоявших в ризнице.

Прихожане были в восторге от отца Пиньона не только из-за его добродетелей, но и вследствие его веселого, доброго нрава и острословия. В общем, это был образцовый духовный отец, пример добронравия и воздержания, и сам знаменитый отец Бонета, несомненно, воздал бы ему хвалы, если бы знал его.

Некоторые не в меру строгие и суровые люди обвиняли его в корыстолюбии, но, по нашему мнению, без всяких к тому оснований. Правда, он был — особенно в период высшей своей славы — очень модным исповедником, ну, а умение хорошо исповедовать должно хорошо оплачиваться. Ему была отвратительна старая пословица «Согрешил, помолился — и квиты». Он прекрасно знал, что милость божья беспредельна и что всевышний охотно прощает того, кто раскаивается в грехе, замаливает его и дает обещание исправиться. Но зло от содеянного остается злом и не избывается раскаянием или покаянием, если покаяние



не направить по верному пути. С этой целью отец Пиньон придумал и осуществил практически свою собственную пенитенциарную систему, смысл которой состоял в следующем. Если грех не удалось предотвратить и он уже совершился, то его можно было обратить во благо, наказывая штрафом богатого грешника в пользу нуждающегося бедняка. При определении штрафа учитывалась тяжесть греха и размер состояния грешника. В зависимости от этого в пользу бедных передавалась дюжина яиц, курица, окорок, индюшка, какая-нибудь другая еда или предмет одежды. Конечно, все это отец Пиньон делал с умом, и когда он налагал епитимью на согрешившую замужнюю женщину и требовал с нее, к примеру, индюшку, то делал это осторожно, чтобы не узнал муж. В противном случае, прикинув по шкале наказаний размер совершенного греха, равного индюшке, муж мог подумать бог знает что.

Когда и эти средства не достигали цели, отец Пиньон подвергал грешника публичному наказанию, резонно полагая, что ему будет стыдно и он сам постарается найти пути к исправлению.

И тут нашлись строгие судьи, которые сочли этот метод смехотворным, а на голову отца Пиньона сыпались всякие обвинения. Может быть, я чего-то не понимаю, но этот метод кажется мне таким разумным и действенным, что заслуживает всяческого поощрения и широкого распространения. Отец Пиньон вовсе не побуждал к греху применением своего метода, но коль скоро грех был уже совершен и подлежал наказанию, он хотел извлечь из него пользу для неимущих. Как это не похоже на то, что обычно делается в больших городах, когда устраиваются, например, балы-маскарады в пользу приютских детей, что даже с экономической точки зрения абсурдно, ибо затраты на благотворительность почти равны или даже превосходят сумму отчислений для приюта.

Обвинения отца Пиньона в корыстолюбии всегда исходили от местных реакционеров, и на то у них были свои причины. Рассказывают, что в эпоху абсолютизма, когда для произведения расчетов с церковью нужно было заполучить индулгенцию, отец Пиньон очень легко отпускал грехи вольнодумным либералам в обмен на пожертвования в пользу церкви. Но такая сделка заслуживала похвалы, ибо отпадала необходимость выслушивать лицемерные исповеди и совершать богопротивные причащения. Рассказывали также, что однажды, отпуская грехи, отец

Пиньон вручил грешнику пол-унции и будто бы сказал: «На, держи. Отслужишь молебен за здоровье Риего».

Что бы там ни говорили, а отец Пиньон был добряком каких мало, имел веселый нрав, был снисходителен и милосерден как ангел. Едва ли он за всю свою жизнь прочел что-нибудь, кроме требника, но зато знал его наизусть и хорошо понимал прекрасные мысли, возвышенные чувства и поэтические красоты, которые в нем содержались.

Надеемся, дон Фаустино извинит нас за то, что мы задержали его на пороге дома отца Пиньона, из-за которого и сделали отступление. Пономарь Антонио явился на зов отца Пиньона, отпер дверь и впустил дона Фаустино.

— Чем могу служить, сеньорито дон Фаустино? Что скажете своему духовнику?

— Святой отец, буду говорить прямо и откровенно. Здесь скрывается Мария, и вы знаете, кто она. Я ее ищу. Это моя жена. Мне нужно ее видеть. У меня на то веские причины.

— Сын мой, что за безумие!

— Отвечайте мне: где Мария?

— Раз ты так настоятельно требуешь, я отвечу тебе: *Dominus custodivit eam ab inimicis et à seductoribus tutavit illam*<sup>1</sup>.

— Оставим шутки, мне не до шуток. Я ей не враг и не соблазнитель. От меня не нужно ее прятать.

Доктор хотел было уже обыскивать помещение, но отец Пиньон мягко его остановил.

Тогда доктор крикнул:

— Мария, Мария! Не прячься от меня, не покидай меня!

Отец Пиньон сказал на это:

— *Dominus, inter caetera potentiae suae miracula, in sexu fragili victoriam contulit*<sup>2</sup>.

— Что вы хотите этим сказать, черт возьми? Какая такая победа?

— *Dominus deduxit illam per vias rectas*<sup>3</sup>.

— Не обманывайте меня, святой отец! Она убежала? Куда? Когда?

<sup>1</sup> Господь охранял ее от врагов и от соблазнительей ее оберегал (лат.).

<sup>2</sup> Господь среди прочих чудес своего могущества отдал победу слабому полу (лат.).

<sup>3</sup> Господь наставил ее на путь истинный (лат.).

— Сын мой, ты гневаешься, и мой долг умерить твой гнев. Мария ушла, но я не скажу куда. Я не хочу, чтобы ты следовал за нею. Вчера она мне покаялась в своих грехах. Я наложил на нее епитимью: она должна удалиться. Кроме того, у нее самой есть важные причины, чтобы бежать отсюда.

— Какие еще причины? Нет никаких причин, — произнес доктор с раздражением.

— Есть причины, сын мой. Существует лицо, которому природа дала власть над нею, но бог отнял у него это право в наказание за дурные поступки. Мне известно, что этот человек разыскивает ее. Я знаю, что он открыл ее убежище. Это человек дерзкий и жестокий. Он мог явиться сюда... Собственно, уже направлялся сюда, чтобы забрать ее. Это тоже причина ее бегства. Больше я ничего не могу сказать: не имею права.

— Но я сумел бы ее защитить, святой отец. Никто не посмел бы отнять ее у меня.

— В качестве кого я могу передать Марию под твою защиту и охрану?

— В качестве моей законной жены.

— Послушай, Фаустино. Мы, монахи, всегда были, как теперь говорится, демократичными в хорошем смысле этого слова. Никакая молва не заставила бы меня отговаривать Марию сочетаться с тобой браком. Это было бы средством искупить вашу обоюдную тяжкую вину. Я согласился бы на это, но Мария решительно отказалась выходить за тебя замуж. Она считает, что должна бежать, и бежала.

— Куда? Скажите мне куда?

— Не могу.

— Вы меня обманываете. Она еще здесь.

— Не говори глупостей, — сказал отец Пиньон, несколько задетый словами доктора. — Разве я похож на обманщика? Уверяю тебя: Мария ушла.

— Я буду искать ее, я найду ее, удержу ее.

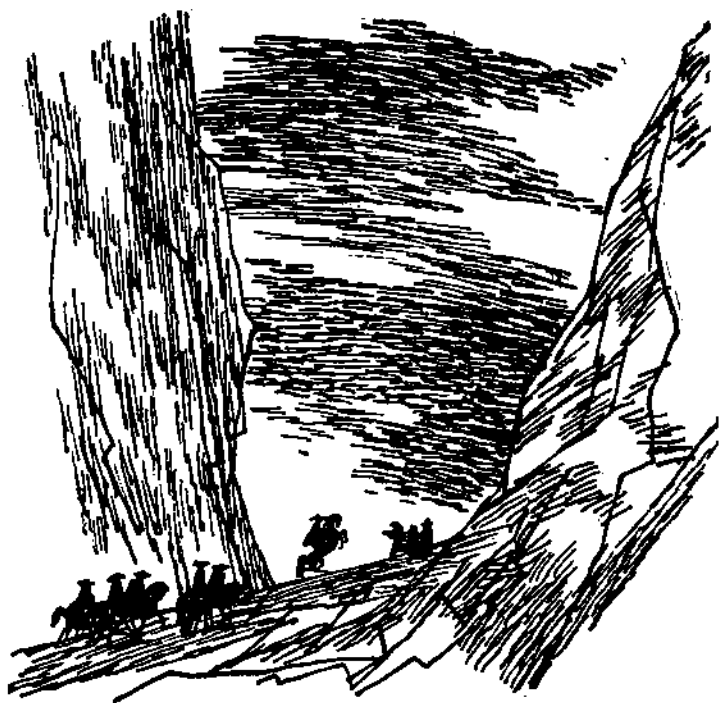
— Делай как хочешь. Но все это напрасно. Имей в виду, что Хоселито Сухой рыскает где-то поблизости, и ты можешь угодить ему в лапы.

— Хоть к самому дьяволу!

— Святая мадонна! В своем ли ты уме? Ты вполне мог бы сказать о себе словами псалмопевца: «*Miser factus sum quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus*»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Я несчастен, ибо вся плоть моя исполнена видениями (лат.).



Но дон Фаустино ничего не ответил, ибо ничего не слышал, а бросился бегом из дома отца Пиньона. Святой отец был почти уверен, что доктор не сумеет осуществить свою угрозу, и спокойно пошел спать.

Четверть часа спустя вооруженный мушкетом и пистолетом доктор выехал верхом на лошади, которую ему приготовил Респетилья, по направлению к городку \*\*\*, расположенному в трех лигах от Вильябермехи.

Он предполагал, что Мария бежала туда в дилижансе, который останавливался в Вильябермехе в двенадцать часов.

Из города дилижансы уходили утром на Севилью, Кордову и Малагу. Таким образом, доктор мог перехватить Марию по дороге либо в самом городе, раньше чем ее дилижанс отправится в путь.

На соборных часах пробило два. Следовательно, Мария, опережала его на два часа. Доктор пустил лошадь галопом.

Он проехал только половину пути, а лошадь уже тяжело дышала и бока ее были в мыле. Только тут доктор сообразил, что если даже он до смерти загонит лошадь, то все равно не настигнет беглянку в дороге, а если поедет шагом, то успеет прибыть в город \*\*\* до отхода дилижанса. Хотя его снедало нетерпение, он придержал лошадь и пустил ее шагом. Дон Фаустино был уверен, что найдет Марию, если бы даже пришлось обыскать весь город.

Прошло около четверти часа. По обеим сторонам дороги тянулись оливковые рощи. В чистом небе сияла полная луна и заливала все вокруг серебристым светом. Доктор преодолел крутой спуск и очутился в ущелье, по дну которого бежал ручей. Его берега поросли тополями и густыми кустарниками, что придавало ущелью мрачный вид.

Погруженный в свои думы, он не заметил, как пятеро всадников выехали из чащи и загородили ему дорогу. Маневр был сделан так молниеносно, что доктор не успел опомниться и услышал только, как один из них крикнул:

— Стой!

Тут дон Фаустино заметил, что четверо всадников направили на него мушкеты. Он хотел было повернуть назад, но увидел, что трое пеших, тоже вооруженных мушкетами, преграждают ему путь к отступлению. Он был полностью окружен, и податься было некуда.

— Стой! Ни с места! Сдавайся! — крикнул один из конных.

Разбойники окружили его так плотно и опасность была столь велика, что оставалось только одно — сдаваться. Но наш герой, крайне раздраженный тем, что его задерживают, решился на отчаянный шаг: он выхватил из кобуры пистолет и, направив его на одного из всадников, закричал:

— Прочь с дороги! Не то я разможу тебе голову!

С этими словами он прищипорил лошадь, рассчитывая пробиться сквозь кольцо разбойников.

Те тоже держали мушкеты наготове и могли его за просто продырявить, если бы не раздался приказ их главаря:

— Не стрелять! Это мой земляк, дон Фаустино Лопес де Мендоса.

Услышав эти слова, доктор не выстрелил.

Все, что произошло дальше, заняло не более секунды. Пришпорив лошадь, доктор, кажется, уже вырывался из окружения. Разбойники стояли почти вплотную к нему, и он мог в упор застрелить любого из них. Времени не было ни на обдумывание, ни на объяснения. Его, конечно, убили бы, несмотря на приказ главаря шайки, но тут он почувствовал, как чьи-то руки хватают его, стаскивают с лошади и валят на землю. Два огромных парня навалились на него.

Стараясь вырваться, доктор нажал на курок, раздался выстрел, но пуля никого не задела.

Лежа на земле, он услышал голос предводителя шайки: — Сеньор дон Фаустино, вы мой пленник. Сдавайтесь и дайте слово, что не будете пытаться бежать, поедете, куда мы вас повезем, и не окажете нам сопротивления. При соблюдении этих условий лошадь останется при вас, а мои люди отнесутся к вам с должным уважением.

Доктору ничего не оставалось делать, как повиноваться.

Он дал честное слово, и один из разбойников подвел к нему лошадь. Доктор сел верхом и по знаку предводителя направился по тропинке, ведущей в сторону от большой дороги, сопровождаемый ватагой вооруженных людей.

## XXII МЕСТЬ РОСИТЫ

Прошла неделя после событий, рассказанных в предыдущей главе, а в Вильябермехе никто не знал, куда исчез доктор Фаустино. Донья Ана, крайне встревоженная, тщательно старалась выяснить судьбу своего любимого чада.

Между тем Росита, снедаемая ревностью и оскорбленная поведением доктора, повсюду распространяла слухи о том, что он воспылил страстью к Марии, бежал с ней и стал разбойником в шайке Хоселито Сухого. Поскольку пообщие поговаривали, что в ночь бегства дон Фаустино шайка Хоселито рыскала где-то поблизости, а Росита и Хасинтика уверяли к тому же, что между доктором и Марией были любовные отношения, то никто, кроме отца Пиньона, не сомневался в добровольном вступлении беглеца в банду.

Тот факт, что дела семьи Мендоса были в сильном расстройстве, способствовал укреплению версии о героическом

поступке дон<sup>а</sup> Фаустино. Полагали, что он сделал это, преследуя цель вырваться из затруднительного положения.

Только отец Пиньон знал, что Мария не бежала с доктором, ему одному было известно ее местопребывание, но он никому не хотел сообщать об этом.

В отличие от многих других, он полагал, что доктор Фаустино не по своей воле попал в шайку Хоселито, но молчал и по этому поводу, не желая увеличивать тревогу доньи Аны.

Распуская слухи, Росита сама была уверена в том, что доктор с Марией находятся в стане разбойников. Бешеная ревность, ни на минуту не покидавшая ее, укрепляла в ней эту уверенность.

Дон Хуан Крисостомо Гутьеррес, хоть был жаден и не очень щепетилен в делах морали и чести, обладал двумя чертами характера, которые заставляли его благодушно отнестись к сложившейся ситуации, если бы Росита не наседала на него: дон Хуан Крисостомо был сострадательн и трусоват.

С одной стороны, он страдал горю доньи Аны и не хотел его усугублять. С другой стороны, будучи убежден, как и Росита, что дон Фаустино подался в разбойники, боялся, как бы тот не стал ему мстить: захватит его с целью убить или выпороть, совершит набег на его имение и, чего доброго, спалит его или разобьет все кувшины с вином, маслом и уксусом и сделает из всего этого ужасную мешанину.

Фигура доктора Фаустино в окружении разбойников и сам главарь шайки Хоселито стали постоянным кошмаром бедняги нотариуса. Во сне он видел себя в плену у бандитов, видел, как они его мучают, а наяву боялся, что внезапно к нему пожалует либо доктор-разбойник, либо кто-нибудь из его подручных.

Нотариус дрожал при одной мысли, что может вызвать гнев доктора, но еще больше дрожал перед Роситой. Дочь приставала к нему буквально с ножом к горлу. Что было делать? Мог ли он ослушаться приказов дочери, которой подчинялся полностью? К тому же дочь была крайне разгневана.

Выхода не было; нотариус собрал всех кредиторов доньи Аны — те слушались его, как жалкие банкиришки слушаются самого Ротшильда, — и скупил у них векселя на сумму около восьми тысяч ду<sup>ро</sup>. Все векселя, расписки и долговые обязательства были просрочены, так что долж-

ник попадал в полную зависимость от кредитора. Кредитор мог пойти на уступки и получать долг долями, а мог и не согласиться на это. Тогда он получит право унижать должника, держать его в страхе, требовать благодарности. Должник вынужден будет пойти на унижения, боясь полного разорения и описи имущества.

Дела семьи Мендоса были в плачевном состоянии. В этом был виноват покойный дон Франсиско, который не умел вести хозяйство. Другой причиной были нерасторопность, беспечность и невезучесть дона Фаустино и его матери.

Их накопления быстро таяли, а плохо используемый капитал давал так мало прибыли, что ее едва хватало на погашение процентов по закладным. Неоднократно делались попытки продать фермы, чтобы рассчитаться с долгами. Однако в таких селеньицах, как Вильябермежа, любят, что называется, подергать покойника за нос. Те, у кого водятся деньги, постоянно выискивают людей, попавших в беду и вынужденных что-то продать за полцены или даже за третью часть цены, и при этом строят из себя благодетелей, так как дают деньги в обмен на земли, которые не плодоносят, только потому, что прежние владельцы не сумели правильно использовать капитал и умно распорядиться недвижимым имуществом.

Дон Хуан Крисостомо делал похвальные попытки образумить Роситу, но та прямо заявила, что предпочла бы иметь отцом разбойника Хоселито, потому что он непременно отомстил бы за свою дочь, если бы ее оскорбили.

Дону Хуану Крисостомо показалось обидным, что его ставят ниже Хоселито Сухого, и тогда почтенный нотариус послал своего управляющего к Респете с сообщением, что кредиторы семьи Мендоса не желают больше ждать и дают для оплаты векселей срок в десять дней; в противном случае дело кончится описью имущества.

Росите этого показалось мало, и она написала донье Ане дерзкое письмо, полное угроз. Нотариус, скрепя сердце, дрожащей рукой поставил свою подпись.

Респетилья, узнав обо всем от отца, отправился в дом нотариуса и говорил там с Роситой, стараясь внушить, что она поступает дурно, и вообще пытался ее утихомирить. Увидев, что добром девушку уговорить не удастся, он попробовал ее пристыдить, но та сама перешла в наступление и выдворила его из дома. У Респетильи появилось даже



желание задать трепку Росите и хорошенько потрясти самого нотариуса, но он опасался кровавого столкновения с кем-нибудь из слуг, в результате которого он мог угодить на каторгу, поэтому порыв верноподданинских чувств к своему господину тут же угас. Он и так много потерял: путь в дом нотариуса ему теперь заказан, а главное, он лишился благорасположения Хасинтики и вынужден был порвать с нею всякие отношения.

На донью Ану обрушивался удар за ударом. Сын не появлялся, и беспокойство ее росло. В довершение всего ей грозили теперь полным разорением и распродажей имущества.

Единственное, что оставалось в доме — ведь был май месяц, — это немного вина, общая стоимость которого не превышала десяти тысяч реалов. Донья Ана послала Респетилью к виноторговцам просить их взять товар за любую цену. Но что значил какой-то десяток тысяч реалов, когда ей нужно было собрать сто шестьдесят тысяч?

Бедная женщина перерыла все свои шкафы и комоды, собрала уцелевшее серебро и кое-какие золотые украшения, надеясь в лучшем случае выручить за них еще десять тысяч. Она была и на это согласна.

Донья Ана превозмогла гордость и — как это ни было унижительно — написала письмо единственной подруге, изобразив в ярких красках свое бедственное положение и прося ее помощи.

Респетилье было поручено передать письмо и драгоценности. Он сел на лошадь и отправился к донье Арасели.

Не выдержав ужасных волнений последних дней, донья Ана слегла в постель: у нее открылся жар.

Между тем Вильябермеха разделилась на два лагеря. Одни одобряли месть Роситы, считая ее справедливой, а поведение доктора отвратительным, особенно потому, что тот пошел в разбойники. Другие осуждали Роситу, называли ее дьяволицей и считали, что поскольку она сама пыталась соблазнить дона Фаустино, то у нее не было оснований гневаться за то, что он ее бросил, и она не должна была мстить столь жестоким и бесчеловечным способом. Вильябермеха бурлила в спорах, пересудах, сплетнях.

Отец Пиньон оставался усерднейшим защитником семьи Мендоса. Вместе с врачом он часто навещал больную донью Ану. Висента заботливо ухаживала за нею.

«Куда это задевался дон Фаустино? — спрашивал себя отец Пиньон, не решаясь ни с кем делиться своими тайными мыслями. — Наверное угодил в лапы Хоселито. Похоже, что так... Надо сообщить об этом Марии. Она-то, слава богу, в безопасности. Это мне хорошо известно. Посмотрим, нельзя ли вызволить из беды дона Фаустино».

## XXIII

### ОТКРОВЕНИЯ ХОСЕЛИТО

Теперь пора вернуться к доктору, который, как, вероятно, догадывается читатель, все еще находится в плену у Хоселито Сухого.

Попав в шайку, дон Фаустино скоро понял, что Хоселито разыскивает дочь и намерен увезти ее из дома отца Пиньона, где она пряталась, если верить донесениям лазутчиков и друзей, проживающих в Вильябермехе.

Доктору пришлось выдержать длинный допрос. Хоселито было известно, что дочь влюблена в доктора. Он не знал только, зачем тот предпринял ночное путешествие.

Хоселито не подозревал, что дочь знала о его намерениях и потому бежала и что доктор преследовал ее. Даже если бы он знал это, было поздно: дочь была уже далеко.

Дон Фаустино словом не обмолвился о бегстве Марии и объяснил свое ночное путешествие другими причинами. Вскоре он заметил, что они достигли Вильябермехи, и понял, что Хоселито хочет пробраться в дом отца Пиньона. Чтобы избежать этого, доктор сообщил, что Мария исчезла, и признался, что ехал на ее поиски.

Убедившись, что пленник сказал правду — дон Фаустино дал честное слово, — Хоселито понял, что Мария недосыгаема, и пришел в ярость.

Поэтому он решил не заезжать в Вильябермеху. Вся шайка вместе с пленником несколько дней бродила по тропам и проселочным дорогам, ночуя в усадьбах и на хуторах, где у Хоселито были друзья и сообщники.

Доктор потерял представление о том, в какой части Андалусии он находится.

Взяв с доктора слово, что он не будет пытаться бежать, Хоселито разрешил ему ехать на лошади и иметь при себе оружие. Казалось, доктор полностью свободен, но двое разбойников неусыпно следили за ним.

Доктор настоятельно просил разрешения написать письмо матери, но этого ему не позволили, хотя во всем остальном к нему относились предупредительно, вежливо и заботливо, насколько это было возможно.

Дон Фаустино ломал голову над тем, зачем понадобилось разбойникам держать его в плену, не находил ответа и от этого приходил в отчаяние.

Наконец однажды ночью, когда шайка разместилась в каком-то богатом имении — если судить по хорошо обставленным комнатам, — Хоселито сказал доктору, что хочет переговорить с ним наедине. Они поднялись наверх, в комнату дона Фаустино, и между ними состоялся следующий разговор.

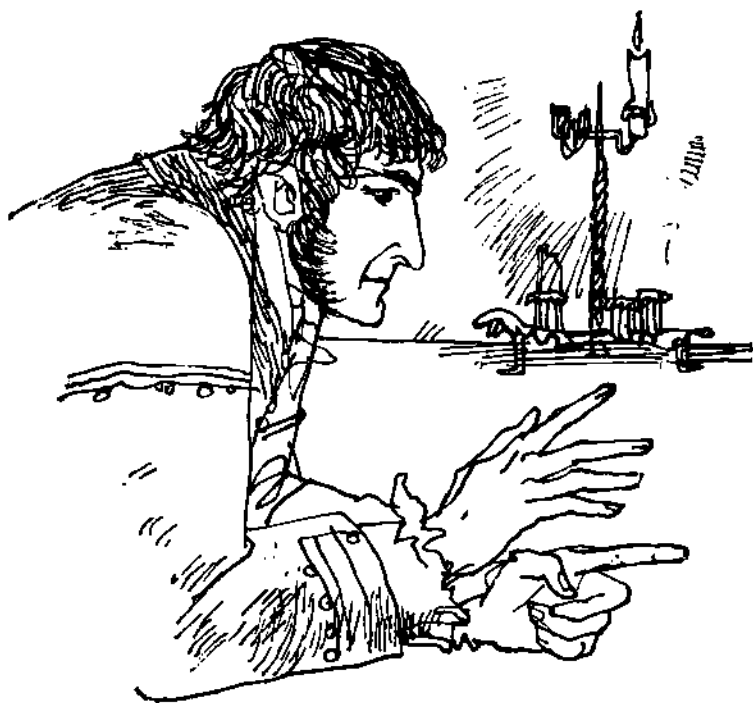
— Сеньор дон Фаустино, — начал Хоселито Сухой, — у меня не было намерения лишать вас свободы. Я разыскал дочь и с вами встретился случайно. Я узнал вас, и благодарите бога, что у меня хорошая память и что вы очень похожи на своего отца. Если бы я вас не узнал, вы давно стали бы добычей воронов. Теперь я хочу рассказать о моих намерениях и вообще о разных вещах, которые важны для меня и для вас.

— Говорите, Хоселито, — вставил доктор, — я уже много дней жду этого.

Собеседники сидели за столом друг против друга. На столе горели две свечи.

Внешность Хоселито совсем не была отталкивающей. Напротив, он был высок, строен, кожа у него была белая, хотя и покрытая загаром; волосы черные, с едва заметной проседью; глаза серо-зеленые, красивого разреза, добрые и печальные; рот небольшой, зубы белые и ровные. Он носил бакенбарды, а усы брил. Словом, Хоселито был красавец мужчина, и, видимо, в недалеком прошлом — теперь ему было лет сорок — он, считался, что называется, ладным парнем.

— Я был рожден для другой жизни, — продолжал Хоселито, — совсем не похожей на ту, которую веду теперь, но человек предполагает, а бог или дьявол располагает. Когда мне пошел восемнадцатый год, я был послушником в монастыре Вильябермехи. Отец Пиньон хорошо помнит то время: он любил меня за прекрасный голос и за ту страстность, с которой я пел в церкви; он ценил смирение и кротость, которые меня отличали, и называл меня ангелом. Я бы и стал им, если бы не встретился с Хуанитой. Лучше бы мне ее никогда не видеть! Она часто посещала



церковь со своей матерью, доньей Петрой, вдовой. Это была очень гордая и суровая женщина. Она считала себя благородной, и не без основания. Ее мать, бабушка Хуаниты, — родная сестра вашего деда. И вот бедный послушник имел дерзость поднять глаза на родственницу самих Мендоса.

— Кто же был мужем доньи Петры? — спросил доктор.

— Разбогатевший погонщик мулов, — ответил Хоселито. — Но не в этом дело. Дело в том, что я влюбился в Хуаниту. Мои пламенные взоры зажгли в ней ответное чувство. Встречаясь в церкви, мы стали разговаривать, но делали это так осторожно и незаметно, что донья Петра ни о чем не подозревала. Однажды мы условились, что я ночью приду к ней на свидание. Нужно было выбраться тайком из монастыря, а потом перелезть через стену, чтобы попасть во двор, где я встречу с Хуанитой. Свидание состоялось, за первым последовали другие. Как-то раз, во

время праздника, красота Хуаниты привлекла внимание богатого помещика из соседнего города \*\*\* и заронила в его сердце любовь. Донья Петра дала согласие на брак дочери, Хуанита не осмелилась ослушаться, но сразу же сообщила об этом мне. Мы решили бежать. Приготовили все для ночного побега; я прихватил мула и поехал за Хуанитой. К несчастью, жених-помещик и его слуга, случайно оказавшиеся поблизости, увидели, как я перелезал через стену. Прежде чем я успел спрыгнуть во двор, жених Хуаниты схватил меня за ногу и дернул с такой силой, что я свалился на землю. Я тотчас же вскочил, несмотря на ушибы, но он не выпускал меня и трижды сильно ударил ногой, обозвав при этом негодяем. Помещик был сильный мужчина, и ему чуть было не удалось снова повалить меня наземь. Несмотря на неожиданность, боль и ушибы, я узнал в моем противнике ненавистного соперника. Ревность, гнев и стыд за то, что со мной обошлись так жестоко и подло, заставили меня забыть и о смирении и о послушании, которые так нравились отцу Пиньону. Кротость мгновенно сменилась бешенством и яростью. Адское пламя мести обожгло мое сердце. Дьявол, которого я, наверное, призывал в тот момент на помощь, не замедлил явиться и снабдил меня своими дьявольскими средствами. Рядом со мной лежала гряда огромных камней. Я схватил камень и бросился на врага так стремительно, что он не успел защитити обнаженную голову — шляпа у него упала во время борьбы, — и получил удар страшной силы, от которого замертво упал к моим ногам. Все это случилось так быстро, что слуга не успел прийти к нему на помощь. Увидев, что его господин упал, он перепугался и закричал: «Убили! Убили!». Меня сковал ужас. Это была первая смерть, учиненная мною. Я был так потрясен и подавлен, что даже не помышлял о бегстве. Из соседних домов бежали люди, задержали меня, передали в руки правосудия, и меня приговорили к каторге. Под грузом несчастий, находясь уже на каторге, я совершенно забыл обо всех добрых наставлениях монастырской братии, я познал дурные стороны жизни, понял, что родился под несчастливой звездой, и решил сам бороться со злым роком. Однажды во время дорожных работ я сговорился с четырьмя моими товарищами по несчастью о побеге, и мы бежали. При этом нам, к сожалению, пришлось убить одного из надсмотрщиков, когда тот пытался нас задержать. С тех пор я и подвизаюсь в этом незавидном ремесле. Ничего

другого мне не оставалось делать. Не выдержав несчастий и горя, Хуанита умерла, когда я еще был на каторге. После нее осталась дочь Мария. Я обожаю мою дочь, сеньор дон Фаустино; я люблю ее еще и потому, что она живо напоминает мне Хуаниту. Но она стыдится меня, бежит от меня, не хочет меня видеть.

Воспитатели вложили в нее кое-какие добрые мысли и чувства, но забыли внушить ей любовь и уважение к отцу. Кто бы я ни был, я отец. Божья заповедь так и гласит: «Чти отца своего».

Многое можно было на это возразить, но доктор счел более разумным не спорить с Хоселито и промолчал.

## XXIV

### SUNT LACRIMAE RERUM<sup>1</sup>

Не дождавшись ответа, Хоселито продолжал:

— Вы молчите, сеньор дон Фаустино, полагая, очевидно, что моя дочь вправе избегать меня, презирать и даже ненавидеть. Я стараюсь непредвзято разобрать мои поступки и не вижу, почему нужно презирать меня и ненавидеть. Признаюсь, что в какой-то момент моей жизни я мог поступить по-разному и от этого зависела моя судьба. «Когда же это было?» — спросите вы. Может быть, тогда, когда мой соперник попираал меня ногами и нанес мне тяжелые оскорбления. Вы считаете, что я должен был безропотно снести все это? Разве моя вина, что под рукой оказался камень и я не рассчитал силу удара? Конечно, благоразумнее было не наносить смертельного удара. Но можно ли было не отомстить обидчику за поправленную честь? Или послушники вообще должны забыть о чести и достоинстве? Может быть, во избежание трагедии я просто должен был отказаться от любви к Хуане, уговорить ее выйти замуж за нелюбимого человека, убаюкать тем самым ее мать и снова податься, как ни в чем не бывало, в послушники? Это было бы удобно для всех, но это было бы низостью. Вы можете, конечно, сказать: «Да, лучше было не влюбляться в Хуану и не соблазнять ее». Но я и не соблазнял ее. Мы бросились навстречу друг другу, движимые неодолимой силой: как реки бегут в море, как дым тянется в небо. Нет, все было предопределено...

<sup>1</sup> Бедствия порождают слезы (лат.).

Это моя судьба, мой рок. Верьте мне: я был бы ангелом, если бы не повстречал Хуану. Но дьявол воспользовался ею как орудием моей гибели и мною, чтобы погубить ее. И ни я, ни она не могли избежать этого.

Доктора подмывало опровергнуть все эти софизмы, которыми разбойник хотел оправдать себя, но понимал, что это ни к чему не приведет. Кроме того, он не приводил достаточно убедительной аргументации. Моральные принципы были ясны ему в теории, но на практике им не хватало ни четкости, ни строгости. Доктор пытался проникнуться теми чувствами, которые владели Хоселито, ставил себя на его место, и тогда ему казалось, что он мог бы убить помещика. Он допускал, что, влюбившись в Хуану, тоже лазил бы через стену на тайные свидания и мог бы решиться похитить ее. Словом, в подобных обстоятельствах он действовал бы точно так же, как Хоселито, но это не значило, что он совершил бы главную его вину. Главная вина, которой, по мнению доктора, замарал себя Хоселито, состояла в том, что тот бежал с каторги и сделался разбойником. Дон Фаустино не мог так поступить, а если бы так поступил, не мог бы себя оправдать. Принципы морали, законы совести, живое ощущение справедливости и доброты не есть результат воспитания. Эти чувства заложены в душе каждого человека, будь он ученый или простой крестьянин. И тот, кто пренебрегает этими принципами, нарушает или извращает эти принципы, законы и понятия, тот всегда виновен и всегда за это в ответе. В основе этих ошибок и нарушений лежит недостаток воли, и чтобы заглушить голос совести, в ход пускаются всякие софизмы. Надо признать, что у некоторых диких и варварских народов подобное поправление норм морали — всеобщее явление. Поэтому нельзя делать индивида ответственным за эти нарушения. Но в цивилизованном обществе вроде европейского невежество и извращенность нельзя считать невытравимыми пороками. Как бы низко ни пал человек, в какую бы темную бездну ни ввергнулся, луч света дойдет до его души и даст ей ясное понимание добра и справедливости.

Так рассуждал доктор — на наш взгляд, правильно рассуждал — и не был склонен оправдывать Хоселито и считать его жертвой судьбы, рока.

Все, что в книгах и газетах говорилось о дурной организации общества, об эксплуататорских способах, которыми достигаются богатства, о зле, которое проистекает из-за дурного использования этих богатств, об унижении

и оскорблении бедняков, которых грабят богачи, — все это Хоселито знал и понимал. Правда, воспринимал он это скорее воображением, чем разумом, и знал многих андалусийских разбойников прошлого и настоящего. Знаменитые разбойники вроде Хромого из Энсинас-Реалес, Курносого из Бенамехи, братьев-разбойников из Эсихи соображали в вопросах критики политической экономии едва ли не столько же, сколько Прудон, Фурье или Кабе. В этих вопросах Хоселито держался примерно на том же уровне знаний.

Подобная критика казалась в те времена столь же безобидной, как и произведения Эжена Сю «Вечный Жид», «Мартин-подкидыш», «Парижские тайны», проникнутые духом социализма и все же свободно печатавшиеся в таких политически умеренных журналах, как «Герольд».

Оставляя в стороне вопрос о том, справедлива ли эта критика и до какой степени справедлива, доктор не мог согласиться с тезисом о том, что если частная собственность приобретается путем грабежа, насилия и обмана, то исправление этого зла должно осуществляться теми же методами, то есть обманом или насилием, учиняемым большим коллективом в лице государственной власти или бандитской шайкой. Хоселито Сухой был сторонником этого тезиса и придавал слишком расширительное значение старой поговорке «Украсть у вора — благое дело». Опираясь на эту сентенцию, он утверждал что не только не совершает ничего преступного, но, напротив, творит акты милосердия. Действительно, Хоселито грабил только богатых, изымая у них то, что казалось ему излишним, и оставляя необходимое. Он щедро раздавал милостыню, помогал нуждающимся, делал пожертвования на нужды церквей и храмов, то есть поступал как добрый христианин. Он был убежден, что крадет у воров. Его сподручные так и говорили во время ограбления: «Сдавайся, вор, и раскошеливайся!». Он утверждал, что чрезмерное богатство толкает людей к праздности — матери всех пороков, плодит тунеядцев, вводит во множество грехов. А раз так, то, изымая излишки, он способствует улучшению нравов и открывает перед ограбленным дорогу добродетели.

После этой апологетики своего ремесла Хоселито перевел разговор на положение дел семьи Мендоса, которое было ему хорошо известно. Он обрисовал его в самых мрачных красках и под конец сообщил доктору свежие новости, полученные от лазутчиков и от друзей в Вильябермехе: о мести Роситы и об угрозе распродажи имущества.



Трудно описать гнев и боль дон Фаустино, когда он узнал эти печальные новости.

Живо представив себе огорчения и страдания матери, он не мог сдержать слез.

— Черт возьми! — воскликнул Хоселито. — Вы плачете? — Сильный мужчина не должен плакать, он должен мстить. Я помогу вам. Не ждите от людей поддержки. Порвите с прошлым. Объявите всем беспощадную войну. Не вы первый из дворян встанете на наш путь. Одно решительное слово — и вы здесь хозяин. Через пару дней мы будем в Ла-Наве и, если хотите, устроим такую катавасию, что почтенный ростовщик запомнит нас на всю жизнь: разобьем кувшины и бочки с вином и маслом, перережем скот. А можно спалить и все имение.

Доктор Фаустино решил нарушить зарок молчания и сказал:

— Хоселито, у каждого человека свой образ мыслей и свои способы действия. Я не хочу осуждать ваши поступки, но должен заявить, что я и думаю и поступаю иначе, чем вы. Ростовщик-нотариус требует то, что принадлежит ему по праву, и, следовательно, не совершает в отношении меня никакой несправедливости. Мне не за что ему мстить. Даже если моя мать умрет от горя, то и тогда я не могу считать его причиной смерти. Я один во всем виноват. Я обязан был предвидеть такой конец.

— Мне больно вас слышать, сеньор дон Фаустино, — возразил Хоселито. — Я не вправе обижать своего пленника, но не могу удержаться от искушения, чтобы не сказать: вы слишком мягкотелы. Это удобно: сделать вид, что тебя не оскорбили, и тем самым избежать опасности, связанной с осуществлением мести. Вы правы: когда за оскорбление не мстят, его скрывают.

Кровь бросилась в голову дон Фаустино, он забыл, что Хоселито вооружен и что по одному его слову доктора здесь могут прикончить.

— Черт возьми! Я ни от кого не намерен терпеть оскорбления, а тем более от вас! Вор всегда думает, что и другие тоже воры. Неужели вы думаете, что если я в отчаянном положении, то могу вступить на тот гибельный путь, по которому идете вы? Повторяю: нотариус поступает по праву, меня он не оскорбляет, и хватит об этом! Нотариус — низкий человек и поступает низко, но меня он не оскорбляет.

В первый момент Хоселито готов был разmozжить ему голову. Никогда бы он не стерпел такой дерзости, но тут сдержал свой гнев. Про себя он даже радовался смелости, которую проявил избранник его дочери.

— Ладно, — сказал он. — Выходит, это мне приходится простить оскорбление. Не будем ссориться. У кого что болит, тот о том и говорит.

— Простите, Хоселито. Я немного погорячился.

— Пустое. Воображаю, как там у вас в душе подыхает. Вынужден подлить масла в огонь и напомнить об уговоре. Вы человек горячий и могли забыть о нем. Полагаю, что, как человек чести, вы сдержите слово?

— Не собираюсь его нарушать.

— Тем не менее нелишне напомнить, что вы мой пленник, что вы обещали не делать попыток к бегству, не применять против нас оружия, а повиноваться нам во всем и следовать за нами.

— Да, если это не будет противоречить ни моей чести, ни моим правилам.

— Разумеется. Раз вы не хотите вступать в наше сообщество, вам придется остаться здесь в качестве при-манки, или манка, — не знаю, как лучше сказать.

— Как это понять?

— Очень просто. Для чего служит манок? Чтобы привлечь влюбленную птичку. Вы как раз и сослужите нам эту службу. Я хочу, чтобы моя неблагодарная дочь прилетела сюда. Раз ее не приманить любовью к отцу, она прибежит к нам из-за вас. Поэтому я и удерживаю вас. Как только Мария появится, я договорюсь с нею о цене вашего выкупа. Да и зачем ей бежать от меня, если я дам ей надежное убежище, где она будет жить в свое удовольствие и где я смогу ее постоянно видеть?

Это было ловко придумано. Доктор был уверен, что во имя его спасения Мария придет к отцу. Как это ужасно! Из-за него Мария, которой удавалось так долго скрываться от воровской шайки и от своего ужасного отца, попадет теперь в их лапы. Доктор понимал, что ни просьбами, ни угрозами нельзя заставить Хоселито изменить свой план, и поэтому молчал.

Прошло два дня после разговора, о котором мы рассказали, а разбойники все еще находились в богатом имении. Они, несомненно, кого-то ждали. Доктор не сомневался, что ждали Марию.

Было девять часов вечера, когда послышался цокот копыт, и скоро перед домом остановились два всадника. Хоселито, его подручные и доктор находились во внутреннем дворике, когда вошел дозорный в сопровождении двух человек. Один из них, по виду слуга, был без плаща, другой кутался в плащ, закрывавший всю нижнюю часть лица, низко надвинутая шляпа закрывала лоб, и глаз было почти не видно.

Не снимая шляпы и не открывая лица, незнакомец произнес:

— Да хранит вас бог, господа.

— Да хранит вас бог, — ответили ему.

Обращаясь к Хоселито, он сказал:

— Храни тебя господь. Отведи меня в комнату — мне нужно поговорить с тобой наедине.

Хоселито по голосу узнал прибывшего и, повинувшись приказу, почтительно провел его в одну из комнат. Слуга оставался снаружи и хранил молчание.

Переговоры продолжались около часа, и как только они закончились, незнакомец в сопровождении слуги ускорил шаг. Во дворике был слышен топот удалявшихся коней.

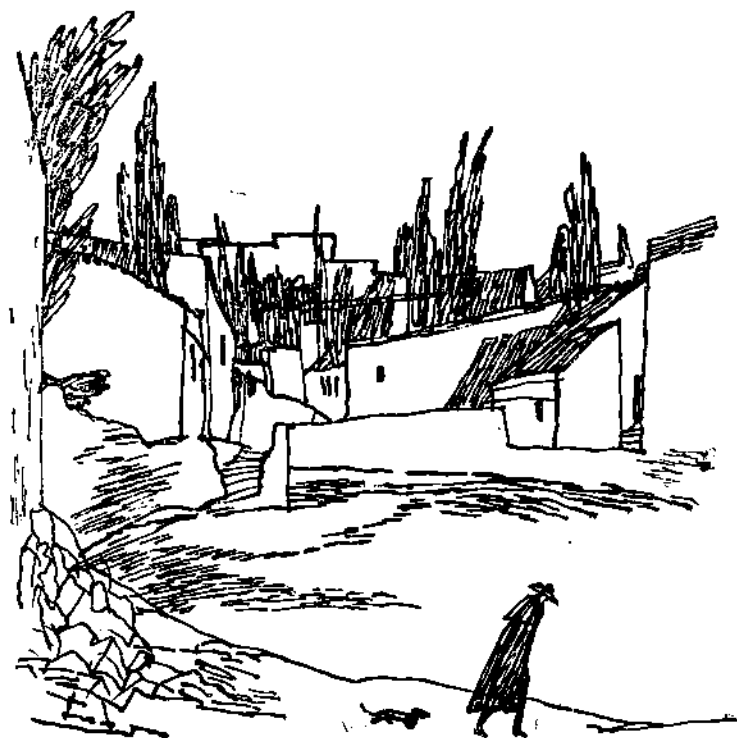
— Сеньор дон Фаустино, — сказал Хоселито, — извольте следовать за мной.

И он отвел доктора в комнату, где только что велись разговоры с незнакомцем. Когда они остались одни, Хоселито, явно волнуясь, сказал:

— Все мои планы провалились. Такова уж моя судьба. Есть высшая сила, воле которой я вынужден подчиниться. Мария жива, но для вас, да и для меня, она все равно что умерла. Мы никогда не увидим ее. Теперь вы мне не нужны. Кроме того, я обещал человеку, который только что был здесь, не задерживать вас. Я выполняю обещание. Хотите ехать сейчас?

— Я хочу как можно скорее повидать матушку, вызволить ее из беды или по крайней мере утешить. Я еду, — сказал доктор.

Как ни старался дон Фаустино выяснить, кто был таинственный незнакомец, благодаря которому он получил свободу, где находилась Мария, что с нею случилось, почему он должен считать ее умершей, он ничего не добился. Хоселито не мог или не хотел сообщать об этом. Он приказал подать доктору лошадь и отрядил ему в проводники наиболее надежных людей из шайки,



Когда все было готово к отъезду, доктор протянул руку атаману, и тот дружески ее пожал.

Пробираясь тропами, тропинками и проселочными дорогами, двигаясь только в ночное время, на третий день пути доктор и двое его провожатых добрались почти до самой Вильябермехи. Остаток пути он мог проделать самостоятельно — дорога была ему хорошо знакома. Разбойники попросили разрешения вернуться. Доктор охотно разрешил, поблагодарив за оказанную услугу. Он хотел вручить им деньги, но головорезы вежливо отказались.

Когда доктор остался один, начало уже светать. Утро было великолепное. Он горел нетерпением поскорее увидеть мать, дал шпоры коню, быстро доехал до Вильябермехи и очутился у дверей родного дома. Несмотря на ранний час, дверь была открыта.

Сердце у него упало. Он почувствовал, что случилось непоправимое. Темное облако заволокло глаза.

Выбежавший ему навстречу Фаон вместо обычного радостного повизгивания протяжно выл.

Доктор спешился и прошел двориком, не встретив там ни души. Пес плелся впереди, продолжая жалобно скулить, словно хотел сообщить нечто печальное.

Дон Фаустино уже собирался подняться по лестнице в комнату матери, как навстречу ему вышла тетка Арасели и обняла его.

— Дитя мое, дитя мое! — говорила она. — Где же ты пропадал? Слава богу, ты жив и здоров.

— Тетушка, почему вы оказались здесь? Что случилось?

— Твоя мать больна, дитя мое.

— Не скрывайте от меня ничего. Не нужно. Что с нею? Я должен пройти к ней.

— Только не теперь... Она спит...

— Я знаю, она спит вечным сном! — воскликнул доктор. — Она умерла.

Донья Арасели ничего не ответила и разразилась рыданиями.

Доктор стремительно взбежал вверх по лестнице. Он уже хотел пройти в спальню матери, но кормилица Висента удержала его:

— Она не здесь.

Машинально он пошел за Висентой в большой зал. В дверях стоял отец Пиньон.

— Пустите меня! Я хочу ее видеть.

Отец Пиньон рассудил, что дольше скрывать не имеет смысла, и сказал доктору:

— Не ходи туда. Не нарушай ее покоя. Молись богу за упокой ее души.

Дон Фаустино, рыдая, упал на руки отца Пиньона.

— Умерла! Умерла! — повторял доктор.

— Она жила и умерла как святая, — сказал отец Пиньон.

— Это я убил ее своим безрассудством. Боже, боже, пошли мне смерть.

— *Quia Dominus eripuit animam tuam de morte*<sup>1</sup>, — на память процитировал отец Пиньон фразу из требника, который он держал теперь в руке открытым на странице с текстом заупокойной молитвы. — Сын мой, — прибавил он, — молись за нее, молись за себя. Ничто так не уте-

<sup>1</sup> Ибо господь вырвал душу твою у смерти (лат.).

шает, как молитва. *Tribulationem et dolorem inveni, et nomen Domini invocavi*<sup>1</sup>.

— Истинная правда. Я познал и скорбь и печаль, но не познал веры.

— Какой ужас! Не говори так; лучше уйди: не оскверняй память о матери.

Доктор машинально взял требник из рук священника, вперил взор в открытую страницу и прочел одну из печальных сентенций из книги Иова, как бы отвечая отцу Пиньону:

— «Моей душе опротивела жизнь моя. Буду говорить в горести души моей. Скажу богу: „Не обвиняй меня: объяви мне, за что ты со мною борешься? Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих?..“».

Священник пришел в ужас от того, как доктор обратил бальзам в яд, и вырвал у него требник.

Дон Фаустино поспешно вошел в зал, посреди которого на высоком катафалке с четырьмя зажженными свечами лежала его мать. В благоговейном молчании он приблизился к усопшей, опустился на колени, чтобы испросить у нее прощения, затем поднялся и, склонившись в глубокой печали над лицом покойницы, воскликнул, словно желая разбудить ее:

— Матушка, дорогая моя!

Респетилья, отец Пиньон, донья Арасели, кормилица Висента молча стояли подле гроба и плакали.

Доктор в последний раз посмотрел на бледное, преображенное смертью лицо матери и трижды поцеловал его.

Присутствующие при этой скорбной церемонии почти силой оторвали дона Фаустино от гроба и отвели в его комнату.

## XXV

### ОДИНОЧЕСТВО

Отчаяние доктора в первые дни после смерти матери не знало границ. Оно было вызвано не только горячей сыновней любовью, но и чувством вины перед нею.

Перед его мысленным взором прошла вся жизнь доньи Аны, которая была сплошным мучением. Главными мучителями были его отец и он сам.

<sup>1</sup> Я познал раскаяние и скорбь и призвал имя господне (лат.).

Донья Ана, женщина умная и образованная, принуждена была жить в Вильябермехе, где буквально не с кем было перемолвиться словом. Муж был слишком груб и неотесан, чтобы оценить ее достоинства. Он не испытывал даже чувства благодарности к жене за то внимание и заботу, которыми она его окружала. Не щадя ни чести, ни достоинства доньи Аны, он постоянно волочился за девицами вроде Бусинки и Гитары. Даже простые дружеские чувства были ему незнакомы: за всю совместную жизнь он едва ли говорил с женою более пяти минут. Проводя все свое время в кутежах, карточной игре, увеселениях, разъездах, он совершенно расстроил хозяйство; бесчисленные подарки любовницам и разные дурацкие начинания и прожекты поставили семью Лопесов де Мендоса на грань катастрофы.

И вот теперь он, дон Фаустино, своим легкомысленным поведением возбудил гнев Роситы, который пал на голову доньи Аны, а его бегство и плен окончательно ее убили. Он был безутешен и не искал себе оправдания.

Донья Арасели и отец Пиньон старались утешить его, как могли: призывали к смирению и уверяли, что донья Ана, обладавшая неисчислимыми добродетелями, безупречно, вознеслась на небо. Наряду с этими доводами, основанными на вере, отец Пиньон, проявляя подкупающее простодушие и здравый смысл, лишенный всякой сентиментальности, высказывал и другие мысли и соображения, которые не казались доктору убедительными, но отвлекали его от мрачных дум.

— Фаустино, — говорил ему священник, — не печалься без меры. Зачем так сокрушаться? Разве смерть не естественное дело? Если бы люди не умирали, они заполнили бы всю землю. И разве могли бы мы вынести все страдания, если бы были бессмертными? Жизнь превратилась бы в скучнейшую штуку, если бы не было смерти. Думаю, что бессмертная жизнь на нашей грешной земле — хуже муки бессонницы или крайней усталости. После долгих бдений и трудов человек чувствует себя усталым и хочет спать. Не правда ли? То же самое происходит, когда человек долго живет и трудится: он желает смерти. Смерть — это отдохновение, это сон после долгих бдений и тяжелых трудов. Мне иногда кажется, что от смерти человек получает огромное удовольствие, сходное с тем, когда он, славно потрудившись и употребив день на всякие богоугодные дела, получив поденное вознаграждение, приходит домой, ложится в постель, вытягивается и засыпает.

— Да, святой отец, — говорил доктор, — но этот человек засыпает, надеясь, что он утром проснется, увидит свет божий и будет чувствовать себя свежим и отдохнувшим.

— Но твоя матушка отошла ко сну с более вызвышенной и прекрасной надеждой, — возразил отец Пиньон, оставив свою доморощенную философию и возвращаясь на стезю доброго христианина и духовного наставника. — Твоя мать погрузилась в сон с надеждой проснуться утром, но это нескончаемое утро не принесет ей новой усталости, насладиться светом, но более прекрасным, насладиться вечным днем, получить чудесное вознаграждение за свои труды и добродетели.

К сожалению, ни житейские примеры, ни метафизические доводы отца Пиньона, ни цитаты из требника не принесли утешения дону Фаустино. В его жизни было два человека, которых он глубоко понимал и любил всем сердцем, — мать и Мария. И вот их нет: одна умерла, с другой он был разлучен, может быть, навсегда, непреодолимыми препятствиями. Было, от чего прийти в отчаяние.

Кроме того, когда матери не стало, он корил себя за недостаточное внимание к ней, не мог простить себе, что мало проявлял к ней любви и уважения.

Донья Арасели старалась утешить племянника, как умела, но это удавалось ей еще меньше, чем отцу Пиньону.

Между тем тетка оказала их дому неоценимую услугу. Мало того, что она передала Респете более двух тысяч дуро — все свои сбережения — на уплату по векселям, мало того, что осуществила продажу драгоценностей доньи Аны и кое-каких продуктов из ее имения на сумму около тысячи дуро, но, заложив часть собственного имущества, привезла с собой еще шесть тысяч дуро. Этих девяти тысяч вполне хватило, чтобы выйти из бедственного положения и избежать катастрофы.

Перед смертью донья Ана сама могла оценить великодушные своей кузины. Верная подруга заботилась о ней до последней минуты и сама закрыла ей глаза.

Поскольку в смерти матери отчасти был повинен нотариус-ростовщик, то доктор подумывал о мести, но скоро оставил эту мысль. Смешно и нелепо замысливать месть против тех, что сами были оскорблены Мендосой и виновны разве только в том, что по праву требовали свои деньги. Дон Фаустино не испытывал к нотариусу и к Росите ничего, кроме презрения, с чем мы тоже не можем согласиться.



Дон Хуан Гутьеррес был совершенно подавлен и обескуражен смертью доньи Аны и возвращением доктора. Ему часто снилось, что покойница приходит к нему в спальню и трясет его за ногу; наяву он страшился дона Фаустино, который в любую минуту мог ворваться к нему и поколотить.

Большинство обывателей местечка ненавидело нотариуса. В этом проявлялась извечная ненависть бедняков к богачам, тем более что в данном случае богач был еще и скуп. Даже те бермехинцы, которые враждебно относились к Мендосам и жаждали отмщения, после смерти доньи Аны резко изменили отношение к ним и стали сверх меры поносить ростовщика за бессердечие и непорядочность.

Росита была мрачна, держалась замкнуто, однако хотела казаться безразличной и невозмутимой. Где-то в глубине души у нее порой возникало чувство раскаяния, но она старалась подавить его, вспоминая о нанесенном ей оскорблении. В ее воображении живо вставали картины ночи, проведенной в Ла-Наве, со всеми ее безумствами, любовным бредом и мечтами, которые так неожиданно развеялись в прах. Воспоминание о поездке было той чашей, из которой она пила нектар и на дне которой осталась только мутный осадок горечи и яда. К этому воспоминанию примешивалось иное: она не забыла ту, другую ночь, когда застала Марию в комнате Фаустино. Она ни в чем не раскаивалась, но ее угнетала проявленная ею слабость, ей было стыдно, что у нее не хватило храбрости всадить доктору кинжал в сердце.

Подавленный смертью матери, дон Фаустино не выходил из дому, делами не занимался и поручил отцу Пиньону и Респете снести с нотариусом — уплатить ему долг, чтобы снять арест, наложенный на недвижимое имущество.

Все хозяйственные и денежные дела в доме нотариуса вела Росита. Она приняла священника и Респету в конторе, и, когда управляющий вышел, отец Пиньон сказал:

— Тут все деньги; таким образом долг погашен.

— Нет, святой отец, долг дона Фаустино нельзя погасить всем золотом мира. Его не оплатить ни кровью, ни самой жизнью.

— Ты закоренелая грешница, — сказал на это священник. — Меня считают слишком снисходительным. Но грех, вызванный любовью, не самый тяжкий. Может быть,

я неправ, считая, что сильная любовь многое оправдывает, но я не нахожу оправдания тому, у кого любовь превращается в ненависть. Скажи мне, бессердечная, тебя не мучают угрызения совести за смерть доньи Аны?

— Послушайте, святой отец! Из-за чего мне угрызаться? Почему я должна винить себя за смерть этой женщины? Считайте, что ее унесли демоны, с которыми она якшалась по ночам. А нам нет до этого дела. Ишь что придумали! Выходит так, что из боязни причинить беспокойство не в меру чувствительным должникам нам следовало отказаться от своих денег? Если бы жулики умирали по таким пустячным причинам, Испания обезлюдела бы очень скоро.

— Разговаривая с тобою, я понял, что мой глас — глас вопиющего в пустыне, — сказал отец Пиньон и умолк.

Через три недели после смерти доньи Аны тетка Арасели в сопровождении Респеты и слуг отправилась домой. Перед отъездом девушка Арасели подарила дону Фаустино две тысячи дуро из своих сбережений. Напрасно Фаустино уговаривал ее считать эти деньги долгом, который он возвратит с процентами. Что касается тех шести тысяч дуро, которые тетка получила под заклад своего имущества, то доктор обязался в определенные сроки производить выкуп закладных, присылая часть своих доходов.

Со слезами и объятиями тетка и провожавший ее племянник расстались в трех лигах от Вильябермехи.

За все время пребывания доньи Арасели в Вильябермехе доктор ни разу не заговаривал с ней о Констансии. Но словоохотливая тетка сама поведала о том, что маркиза де Гуадальбарбо живет очень счастливо: муж ее обожает, судьба им благоволит, все у них хорошо, они купаются в роскоши, недавно были в Лондоне, где у маркиза — выгодное дело; в Испании он тоже сумел прикупить кое-какие земли.

Единственным человеком, интересовавшимся доктором, была Мария, но отец Пиньон, который знал о ней все, по-прежнему молчал, отговариваясь тем, что ему ничего не известно.

— Мне известно только то, что она любила тебя всей душой, вынуждена была тебя покинуть и, наверное, навсегда, — так говорил обычно священник.

Без матери и без подруги доктор чувствовал себя ужасно одиноким. Респетилья старался развлечь своего

господина, но все было напрасно: доктор не смеялся его шуткам и не интересовался местными сплетнями. Отец Пиньон проявлял к нему самое дружеское участие, часто его навещал, показывал свои проповеди, читал стихи, приводил цитаты из требника, но ум и сердце донна Фаустино оставались глухи. Не действовали ни доводы здравого смысла, ни философская премудрость. В тех редких случаях, когда доктор находил нужным что-то ответить, священник растерянно слушал его и ничего не понимал. Разговор не получался: добрые друзья не находили общего языка.

Доктор стал думать, что другие вообще не могут понять его духовную сущность, что им доступно только поверхностное, очевидное и вульгарное. От этого одиночество становилось еще более невыносимым. Тогда он снова подумал о возможности общения с духом, не заключенным в человеческую оболочку, и мечтал достигнуть взаимопонимания не при помощи звучащего слова, а какими-то другими, не материальными средствами.

Фантазия, возбужденная таинственной тишиной ночи, оказывалась столь мощной, а желание общаться с духами стало сильным, что, казалось, он в самом деле видит, как перуанская принцесса покидает раму портрета и непронизанные слова ее проникают прямо в душу, что он снова видит дорогой призрак — Марию, которая приближается к нему и внушает его душе и рассудку чувства и мысли неизъяснимые и не переводимые ни на один человеческий язык. Но и такое общение его не удовлетворяло. Если существует мир духов, рассуждал доктор, то он должен проявлять себя более реально, зримо, обнаруживать больше жизни, чем мир материи, но все эти видения и привидения сами по себе и те мысли, которые они мне внушают, так расплывчаты, непостоянны, бестелесны, туманны, что я начинаю думать, что все это — мир фантастических теней, химер, а не истинный духовный мир, в который я пытаюсь проникнуть. Кто знает, может быть, сверхъестественное, дух не отделен от природы, не противоплагается ей, а заключен в ней самой: она пронизана им, он одухотворяет ее. Значит, чтобы понять природу, познать ее тайны, мне не следует бежать от нее, ибо сам мир есть проявление божественного начала, есть поток, в котором совершается последовательное раскрытие вечных, постоянных сил, полных тайного смысла, где каждая вещь есть иероглиф, знак, шифр, символ чего-то сокры-

того, оккультного. Решение загадки доступно только тому, кто сумеет прочесть эти иероглифы и шифры. Следовательно, природа есть источник познания духа. Но как проникнуть в чудесные тайны этого источника? Опытная наука никогда не проникает дальше верхнего слоя. Она скрупулезно описывает шифр, но не дает ключа к расшифровке. Где найти этот ключ? В каббале? В магии? В теургии?

Изуверившись во всем, доктор начал немного верить в оккультные науки.

Однако знаний не хватало, нужно было почитать кое-какие книги по магии и мистике, иначе он, не зная азов этих наук, будет блуждать в потемках. Из-за одного этого стоило поехать в Мадрид. Вдали от этого центра интеллектуальной жизни Испании, где худо-бедно, но она все-таки есть, труды доктора в области магии, мистики, равно как в области философии и поэзии, обречены на неудачу, не говоря уже о других науках, искусствах и занятиях более низкого свойства — вроде политики.

Через полгода после смерти матери, подстегиваемый честолюбием, снедаемый жаждой все познать, томимый смутными мечтами и туманными надеждами стать государственным деятелем, поэтом, оратором, философом, мыслителем, даже магом и мистиком, доктор поспешил привести в порядок все свои дела в Вильябермехе; принял отставку Респеты; назначил управляющим Респетилью, наскреб около двенадцати тысяч реалов. С этими деньгами, нежно простившись с отцом Пиньоном, с Респетой, с Респетильей, с кормилицей Висентой и любимым псом Фаоном, доктор отбыл в столицу и поселился там в гостинице, где за один дуро в сутки имел комнату, постель, свет, завтрак, обед и ужин.

## XXVI

### ИЛЛЮЗИИ УТРАЧИВАЮТСЯ

Все поэтическое — с оттенком комического или трагического, — что было в натуре доктора и в той атмосфере, которая его окружала, развеялось, едва он покинул Вильябермеху. Там остались оба его мундира, шапочка и мантис, щегольские наряды, лошадь, пес Фаон и верный оруженосец Респетилья. Там он вынужден был оставить родной дом, замок и должность его коменданта, могилы

своих предков. Из важного барина, хотя и полунищего, полуотшельника и полумага, любимца женщин, предмета возвышенной любви и яростной ненависти, из романтической фигуры а-ля Вальтер Скотт или вроде байроновского Манфреда он превратился в заурядного ловца удачи, неудачника, которые толпами стекаются в Мадрид в погоне за счастьем.

Чудесные мечты безумца, намерение стать теософом, магом и мистиком тотчас улетучились, ибо ум был занят теперь другими мыслями, весьма вульгарного свойства. Фантастические видения и привидения вроде перуанской принцессы или Марии не удостаивали своим посещением третьеразрядную гостиницу.

Долгие годы в нем жили иллюзии, и вот теперь они развеивались одна за другой, разбивались о камни на пути к желанному успеху.

Доктор попробовал свои силы в лирической поэзии и даже опубликовал несколько стихотворений в литературных журналах, но публика была уже по горло сыта вздохами, ламентациями, тоской, меланхолией и не приняла его творений.

Несколько раз он принимался за сочинение драмы в стихах, но запала хватило на два-три акта. Рядом с вдохновеннейшим или с тем, что считают за таковое, в нем жил беспощадный критик. Критик постоянно убеждал его, что все, что он пишет, глупости и чепуха. Тогда доктор забрасывал драму. Пьеса оставалась незаконченной.

Голод не прижимал его настолько, чтобы заставить продолжать работу и опробовать ее на публике, которая могла оказаться более снисходительной, менее строгой, чем он сам, могла принять то, что он отвергал, могла выско оценить то, что ему казалось глупостью.

Иногда вдруг он ощущал в себе силу эпического поэта, чувствовал способность суммировать, сфокусировать в колоссальной эпопее всю современную цивилизацию, озаряя ее светлой перспективой будущего. Несколько раз он садился за эту эпопею, но далес сотни стихов дело не шло: в гостинице снова воцарялся злой критик и учинял расправу над музами.

Попытка заделаться оратором тоже не удалась: выступая в «Атенео», он чувствовал себя косноязычным и ничего не умел сказать толком.

На время он устроился в редакцию одной из столичных газет, но, не испытывая ни интереса, ни вкуса к чу-

жой политической деятельности, вынужден был ввиду угрозы увольнения оставить это занятие.

Глупая вера в бесконечный прогресс, процветание и совершенствование человеческого рода заносила его в облачные выси, и он не замечал того, что разделяет людей на грешной земле. Ему было безразлично, что там творилось: монархия или республика, одна конституция, другая конституция, один избирательный закон, другой избирательный закон. Даже обожаемая им свобода, которую он рассматривал как средство, а не цель, не стала для него идолом, которому хотя бы иногда надо поклоняться и приносить жертвы. Доктору были непонятны тот запал, та страсть и жар, с которыми люди вели между собой борьбу. Он видел во всем этом только столкновение личных мнений. Настоящим мотивом борьбы было упрочение своего собственного положения в обществе.

Несмотря на всю свою просвещенность, в этом пункте доктор являл собой пример типичного обывателя из Вильябермехи, типичного провинциала из любой части Испании, кроме нескольких провинций, где еще умеют желать, знают, чего желать, и потому третируют все остальные провинции, утеравшие это чувство.

Доктор видел, что каждая партия, боровшаяся за власть на страницах газет или с трибуны, состояла из завсегдатаев того или иного салона. Она не вела за собой народные массы, а протаскивала тех, кто жаждал тепленького местечка. Она не представляла никакого значительного коллектива, не была защитницей и проводником высоких идей, интересов и чаяний больших общественных классов. Вождь такой партии сам придумывал символ веры, который был выгоден ему самому, по своей прихоти сколачивал партию, главарем которой сам же и становился. Доктор был убежден, что эти своекорыстные кредо служили только целям захвата личной власти; испанский народ не различал оттенков, он воспринимал только яркие контрастные краски, быстро уставал от дискуссий, не улавливал тонкостей в различиях; ему нравился, как сказал один остроумец, либо Варавва, либо Иисус, но даже домогаясь чего-нибудь от столь несходных личностей, он не просил, как обычно просят, не шел к избирательным урнам, чтобы обеспечить победу своему кумиру, а сидел сложа руки или хватался за прашу.

Все это отвращало доктора от политики и ставило в положение героя одной из повестей Вольтера. Герой

этот приехал в Персию в разгар гражданской войны и на вопрос о том, какого барана он предпочитает, белого или черного, ответил, что цвет шерсти роли не играет, лишь бы баран был хорошо зажарен, и прибавил, что в спорах о белом и черном баране можно вообще потерять всех баранов и что если стоит выбор между Иисусом и Вараввой и большинство склонно выбрать головореза Варавву, то делать это нужно быстро и согласно, а не резать друг другу головы до полного самоуничтожения.

Если бы доктор умел скрывать свои думы и чувства, которых мы, кстати, не разделяем, они не принесли бы ему вреда, но проклятая откровенность побуждала его обнаруживать их. Именно поэтому он не сумел добиться даже депутатского места. К тому же он вообще был скептически настроен по отношению к политике.

Другая, самая трудновывтраиваемая иллюзия доктора состояла в том, что он мнил себя великим философом. Он не мог принять ни одну из философских систем, родившихся за границей и последовательно исповедовавшихся в нашей стране. Он не стал ни традиционалистом, ни приверженцем Фомы Аквинского. Он не взял в соратники ни Кузена, ни Канта, ни Гегеля, ни Краузе. Доктор помышлял прославиться созданием собственной философской системы. Но годы шли, а он ничего не придумывал. Он утешал себя мыслью, высказанной в свое время, кажется, Аристотелем, что расцвет творческих сил и разума наступает тогда, когда человеку исполняется пятьдесят лет. И он стал ждать своего срока, чтобы затмить и Краузе, и Канта, и Гегеля.

Прошло еще какое-то время, и доктор, хотя он и сохранял в душе озарявшее ее сладостное воспоминание о Марии, попытался блистать в аристократических салонах столицы и завоевать любовь знатных дам. Это была самая пустая из всех иллюзий. Вся сложность и трудность этого предприятия заключалась, как он слышал, в том, чтобы его полюбила именно знатная дама. С другими было проще: они сразу оценили бы его и слетелись как мухи на мед. К несчастью, доктору не удалось найти даму, с чьей помощью он мог бы, как говорится, сделать первый шаг. В этих делах нельзя было применить хитрость и начать сразу со второго, как в давние времена поступил один импрессарио: заметив, что публика плохо посещает первое представление боя быков и более охотно — второе, он начал со второго и собрал немало зрите-

лей. Что и говорить, человеку без прочного положения, без славы, без денег, без серии любовных побед, человеку безвестному, незадачливому, бедному как церковная мышь, постояльцу третьеразрядной гостиницы трудно рассчитывать на успех у прекрасного пола. Не часто попадаются женщины вроде сказочной китайской принцессы или красавицы Анжелики, которые влюбляются в юношу без имени, не очень красивого, да еще и меланхолика. В этом отношении жизнь доктора в Мадриде напоминала судьбу Леонардо из «Лузнад» Камозенса: юноша был так невезуч в любви, что даже на острове Венеры, где все было к услугам и удовольствиям героев-португальцев, не мог добиться благосклонности ни одной местной нимфы — все бежали от него как от чумы.

Доктор постоянно сидел без гроша в кармане. Это происходило потому, что он хотел одеваться элегантно, изысканно и вообще следил за своей внешностью, посещал театры, балы и собрания, иногда позволял себе какое-нибудь сумасбродство вроде проигрыша в карты на сумму в несколько сот реалов или посещения харчевни, где сорил деньгами и чувствовал себя этаким Сарданапалом, Бальтазаром Вавилонским, римлянином эпохи упадка или византийским архиграндом. Замечу, что Византия служит для наших писателей-моралистов излюбленным символом роскоши и разложения и предметом сурового осуждения и критики. С другой стороны, лирические стихотворения, эпические поэмы, незаконченные драмы и несозданные философские системы не давали доходов, да и не могли их дать.

Денежных поступлений из Вильябермехи (по моим сведениям, Респеталья был честным управляющим, как это ни кажется невероятным) едва хватало на покрытие долгов и расходов по имению. Ежемесячно доктору высылалась тысяча реалов, которые он тут же тратил.

Оказавшись в столь стесненных обстоятельствах, доктор начал делать долги и был так неопытен в кредите, что является, как известно, краеугольным камнем политической экономии, что умудрился задолжать портному, сапожнику, перчаточнику и хозяйке гостиницы, а те постоянно требовали с него деньги. Забыв о высокой оккультной науке, которой доктор хотел себя посвятить, он вынужден был думать о магии превращения металла в золото. Он, который мечтал открыть движущую силу и божественное начало всего сущего, овладеть этой силой,



чтобы управлять миром, был озабочен только тем, чтобы раздобыть немного денег. Худо было то, что и это ему не удавалось сделать.

Отчаявшись, он пришел к тому, чем некоторые кончают и многие начинают: стал прискивать себе место, ибо понял, что твердое жалованье — это страннопримный дом для нищих в сюртуках, монастырский суп для просвещенной гольтыбы, приют и убежище для начитанных попрошайек. В конце концов доктор определился в министерство внутренних дел с окладом в восемь тысяч реалов в год. Так, падая и возвышаясь, получая отставку и снова оправляясь от падений, наш герой на четырнадцатом году службы и на семнадцатом — пребывания в Мадриде дошел до жалованья в четырнадцать тысяч реалов.

Доктор плохо справлялся с чиновничьими обязанностями, но у него всегда находились друзья, которые его поддерживали.

Иные люди, менее способные, чем доктор, становились столоначальниками, государственными советниками и даже министрами. Так бывает, это всем известно. Но известно и то, что это происходит по несчастливой (не для страны, конечно) случайности. Однако не всем выпадает такой случай. Ведь и в лотерею не все выигрывают. По свойствам своего ума и характера, в силу особой идиосинкретичности, как теперь говорят, доктор принадлежал к тому сорту людей, которые по собственному почину, без вмешательства случая, не могут подняться выше достигнутого уровня. Хоть этого достиг — и то слава богу.

Об этом отрезке жизни мы рассказываем кратко и бегло, ибо он не очень важен для развития основной линии нашей правдивой истории, если читатель вообще согласится, что в ней есть какая-то единая линия в классическом понимании единства действия.

Доктору было стыдно сознавать, что он только помощная фигура в министерстве, и он не хотел ехать в Вильябермеху, пока не возвысится до роли главного действующего лица. Ведь в родном селении его считали кладезем учености, выдающимся талантом, самым благородным рыцарем, помещиком и комендантом крепости из всех, что когда-либо существовали на земле. Так он дожил до срока с лишним лет, был бит судьбой, но от иллюзий не избавился.

Каждый вечер он давал себе слово, что завтра же примется за дело: начнет писать великий трактат по фи-

лософии, закончит начатую грандиозную эпопею, изобретет нечто такое, что весь мир ахнет. Однако он ничего не делал и не сделал.

Каждое утро доктор шел в присутствие, разбирал бумаги и клевал над ними носом, потом ел осточертевший ему турецкий горох, если никто не приглашал на нечто более существенное. Вечерами он ходил по гостям. Знакомые, можно сказать, никак к нему не относились. Он никому не переступал дороги, разве что таким же горемыкам чиновникам, как он сам, но таких скромных людей среди его знакомых не было. Люди светские, с которыми он водился, стремились стать по меньшей мере министрами или главными откупщиками министерства финансов на Кубе, лица духовные — епископами, военные — генералами и диктаторами. Конечно, если бы доктор попал в компанию торговцев маслом или уксусом, то там и его карьера многим показалась бы завидной. Политический трамплин был так пружинист, а правительственная чехарда разыгрывалась столь стремительно, что у любого акробата был шанс на хороший прыжок. Доктор тоже хранил радужные надежды и предчувствовал, что придет его время, и ему станут завидовать. Эти надежды развлекали и утешали его.

## XXVII

### КОНЦЫ СВОДЯТСЯ С КОНЦАМИ

Многим покажется невероятным, что дон Фаустино Лопес де Мендоса не сумел сделать карьеру в Мадриде. «Может быть, он недостаточно умен?» — подумают некоторые. Если бы он был глуп, то автор и нарисовал бы его таким. Однако писатель изобразил его умным, хотя и странным молодым человеком. Тем более непонятно, почему дон Фаустино не мог выбиться в люди в этом суетном обществе, где возвышения происходят удивительно легко и просто.

Об этом уже много говорилось в предыдущей главе. Однако, рискуя прослыть докучливыми, мы добавим еще некоторые соображения — для ясности.

В Испании ум, если можно так выразиться, слишком рассредоточен: у нас почти не встретишь общественную группу людей, которые вместе были бы и полезны, и деятельны, и трудолюбивы, и легко управляемы, и послушны,

и энтузиастичны, как это бывает в других, более счастливых странах, где ум сосредоточен в немногих личностях.

Вообще говоря, в Испании не меньше умных людей, чем в других странах, но зато ум этих людей несколько ограничен. Поэтому у нас чаще говорят о ловкости и смекалке, чем об уме. Однако эти качества не подкрепляются солидными знаниями — для этого мы слишком ленивы, — поэтому они не дают тех добрых плодов, которые могли бы дать. Хотя смекалистых людей в Испании много, все же среди них трудно найти такого, кто обладал бы этим качеством в высшей степени, кто выделялся и возвышался бы над остальными, завоевал бы всеобщее признание и был бы способен руководить другими. Отсюда — неустойчивость власти и руководства и недостаточное уважение к тем, кто их осуществляет. Но отсюда же — обилие желающих исполнять власть и их уверенность в том, что они могут претендовать на самые высокие титулы.

В непрерывной борьбе за возвышение принимают участие тысячи пролетариев умственного труда. Взлеты и падения происходят часто, поэтому те, кто поспособнее, имеют шансы занять высокий пост; какой-то процент умных людей тоже добивается успеха; прочие остаются ни с чем. Таких много, но мы о них забываем, словно их и вовсе не было. Иногда в каком-нибудь нищем попрошайке мы узнаем старого школьного товарища, студента-однокашника или друга детства и вспоминаем, что этот бесталанный человек тоже в свое время надеялся стать важной шишкой.

То, что личные качества людей во многом определяют их успехи в самых различных областях, — вещь бесспорная, но так называемая судьба, то есть комбинация или стечение обстоятельств, которых человек не может предвидеть, влияет еще больше. И все же совершенно непонятно, загадочно, в высшей степени невероятно, что даже в таких странах, где нет сословных привилегий, как в Испании, нет капризных и своевольных королей, возвышаются люди, бездарные во всех отношениях.

Отсюда следует, что если человек вроде доктора Фаустино на всю жизнь остается с жалованьем не выше четырнадцати тысяч реалов, то не нужно считать его идиотом. Такое может случиться с любым неглупым человеком в любой стране.

Пришло время рассказать о важных событиях, которыми завершается наша история, но прежде необходимо,

как говорится, свести концы с концами и сообщить о том, что произошло с главными действующими лицами за семнадцать лет, которые так бездарно провел в Мадриде дон Фаустино.

Нотариус дон Хуан Крисостомо Гутьеррес умер тихой, спокойной смертью в своей постели. Отец Пиньон, присутствовавший при этом печальном событии, настоял, чтобы умирающий обвенчался с Эльвиритой. Нотариус послушался, признав тем самым сына Эльвириты своим законным сыном. Его зовут Серафинито. Мы рассказывали о нем в начале нашей истории. Покойный оставил громадное наследство, и доля каждого из троих детей делала их богатыми людьми.

Серафинито все еще оставался холостым, а Рамонсита была давно замужем за доном Херонимо, успешно осуществлявшим врачебную практику в Вильябермехе. Хотя у них не было детей, которые могли бы еще больше упрочить брачный союз и сделать его более радостным, врач с женой жили очень счастливо.

Несмотря на скандальную историю с доном Фаустино, которая, конечно, не могла забыться, Росита не имела недостатка в женихах. Она была так обворожительна, умна, сильна духом и богата (по тамошним понятиям), что только от нее самой зависело решение, с кем из претендентов заключить брачный союз.

То ли из любви к независимости, то ли по причине памятной истории с доном Фаустино Росита долго оставалась незамужней. Мы уже говорили, что красота ее была прочнее бронзы; и в тридцать лет, и в тридцать два года, и в тридцать восемь она была все той же Роситой, какой мы ее помним в Ла-Наве. Однако, достигнув сорока, она почувствовала приближение старости, ощутила в глубине души беспокойство, хотя и не обнаруживала его. Ее лицо и фигура хорошо сохранились благодаря телесным упражнениям и здоровому деревенскому воздуху. Она не расплнела, но и не высохла: кожа была здоровая, белая, нежная и гладкая, без единой морщинки или пятнышка. Каким-то чудодейственным напряжением воли Росита сумела сохранить молодость, обворожительность, изящество. Однако чуду тоже может прийти конец. Пока единственными предвестниками старости были несколько себрюных нитей, но она стала бояться старости, особенно одинокой старости. Ею овладело неумное честолюбивое желание выбраться из Вильябермехи, возвращаться в высшем

мадридском обществе, блистать там, она жаждала успеха, побед, триумфов на более широком театре действий, пока ее красота окончательно не поблекла.

Между претендентами на руку и сердце Роситы был некто дон Клаудио Мартинес, прожженный политик, почти бессменный депутат кортесов от округа, в который входила Вильябермеха. Он неоднократно выступал по вопросам финансовой политики и стал директором департамента министерства финансов. Там он развил бешеную деятельность, в результате чего сколотил капитал в два миллиона. Это был крупный сановник, важная птица: он мог стать министром, добиться титула, заделаться банкиром или сразу всем вместе.

В свои сорок с лишним лет он жил холостяком, хорошо сохранился, был весел, обходителен, приятен в обращении, популярен среди избирателей, многих из них поставил на выгодные должности и вообще оказал множество услуг и благодеяний. Всякий раз, когда он приезжал из Мадрида, его встречали колокольным звоном и иллюминациями. В его честь устраивались роскошные обеды, балы и загородные пикники. А когда он возвращался в Мадрид, ему слали бочонки первосортного вина, кульки с сахарным миндалем, печености, варенья и прочие гостинцы.

Росита была не из тех женщин, которых можно ослепить подобным великолепием. Не столько умом, сколько интуицией она почувствовала, что дон Клаудио — заурядная личность, или, как говорят в Андалусии, «так себе дядя». Сравнивая его с комендантом крепости и замка, Росита должна была признать, что жестокосердый дон Фаустино был чистейшим золотом, а дон Клаудио — простым железом. Однако пожизненный комендант был драгоценной безделушкой, бесполезной, хотя и красивой, украшением — и только, тогда как дон Клаудио мог стать незаменимым инструментом для достижения самых смелых мечтаний и надежд. Росита представляла себе брак с ним как некое товарищество на вере, как объединение капиталов и способностей, при помощи которых оба вкладчика добиваются богатства и почестей. Такая перспектива устраивала ее, и хотя о любви не могло быть и речи, все же дон Клаудио не казался ей противным, и она вышла за него замуж.

Супруги уже несколько лет жили в Мадриде. Росита блистала в обществе талантами и остроумием, и несмотря на почтенный возраст, от поклонников не было отбоя. Дом дона Клаудио стал центром притяжения для добро-

порядочных буржуа средней руки. Росита была львицей, королевой, императрицей этого салона. По меньшей мере дюжина поэтов воспевала ее хором и в одиночку, называя Лаурой и Беатриче, сочиняла в ее честь баллады, элегии и долоры. Льевца старалась делать вид, что поддерживает с пиитами чисто платонические отношения, и у нас нет оснований сомневаться в этом. Однако злые языки болтали, будто генерал Перес, в отличие от стихотворцев, в своих отношениях с Роситой не был столь ревностным последователем великого греческого философа. Дело в том, что генерал Перес имел большое влияние на министров, особенно на министра финансов и директора казначейства, что позволяло ему оказывать неоценимую помощь и поддержку дону Клаудио, благодаря которой тот мог ловчить, плести бесконечные интриги, хитроумные комбинации в целях наживы и возвышения

Над всей толпой гаупцов ленивых  
И прочей мелкой сошки.

Таким способом дон Клаудио двигался к своей заветной цели: он мечтал стать крупным капиталистом, чью деятельность и назначение сравнивал с искусственным водохранилищем, которое орошает и оплодотворяет огромные пространства засушливой и бесплодной целины. Полагая себя одним из резервуаров, дон Клаудио старался его — точнее, себя — наполнить получше и побыстрее. Жена помогала ему, как могла.

Дон Фаустино никогда не появлялся в доме Роситы, но при встрече с нею — на прогулке, в театре или во время приемов — издали раскланивался и удостоивался ответного приветствия.

Другой важный персонаж нашей истории, знаменитый Хоселито Сухой, как и следовало ожидать, кончил трагически, по пословице «Кто дурно поступает, плохо кончает». Как известно, Хоселито был защитником всякого мелкого люда и безгранично щедрым человеком: две трети своих несправедливых доходов он раздавал в виде милостыни беднякам, а остальные тратил с таким размахом, что ему мог позавидовать любой крупный магнат. Погонщики мулов его обожали, хозяева постоянных дворов предоставляли ему приют и убежище, бродячие музыканты воспевали в своих коплах. Молодые люди набивались ему в друзья, испытывая к нему огромное уважение, восхищались его подвигами, рыцарским поведением и потрясающей щедростью.

У простого люда Хоселито пользовался такой же популярностью, как дон Клаудио — среди своих избирателей. Ввиду этого захватить его живым или мертвым не было никакой возможности, и он продолжал заниматься своим ремеслом, свободно разгуливая по всей Андалусии и пожиная плоды своей славы.

Так могло продолжаться до бесконечности, и он прожил бы дольше, чем Мафусаил, если бы не случилось то, о чем мы расскажем подробно, приведя полный текст письма Респетильи своему господину.

В письме говорилось:

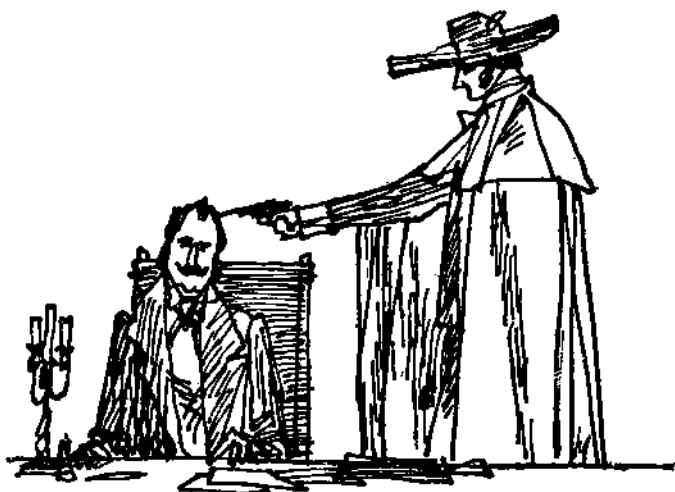
«Вся Вильябермеха возмущена тем, что случилось с Хоселито Сухим. Вам это будет интересно, поэтому для ясности начну издалека.

Вы знаете, какой добрый и порядочный человек этот Хоселито, — он никогда не грабил бедных. В последнее время за ним усиленно гонялись жандармы, поэтому средств у него было недостаточно и он даже нуждался.

Когда стало совсем поджимать, он обратился к одному своему приятелю, богатому человеку, алькальду городка \*\*\* в провинции Малага и попросил сделать милость и прислать три тысячи реалов в условленное место, откуда он их заберет. Алькальд тут же прислал деньги. Через месяц Хоселито снова оказался без денег, попросил еще три тысячи и снова получил. Через некоторое время он попросил еще четыре тысячи. Алькальд поартачился немного, но в конце концов дал еще четыре тысячи. Так все и продолжалось: Хоселито попросит — тот даст, но на седьмой раз алькальд взорвался и придумал дьявольскую штуку.

Он отписал Хоселито письмо, где говорилось, что деньги будут на таком-то хуторе и тот может их забрать в определенный день и час. Но никаких денег он туда не послал, а послал втихую двадцать самых знаменитых и самых метких стрелков.

Хутор, как водится в наших местах, имел четыре одинаковые стороны. В передней части дома были комнаты для господ, когда они туда наведывались, справа — конюшни и стойла для быков, слева — погреб, а сзади — давяльня и маслобойка. Внутри — большой двор, куда со всех четырех сторон выходило много окошек. У окошек засели стрелки с заряженными мушкетами. Управляющий, человек коварный, вызвался провести Хоселито и его лю-



дей во двор, а сам собирался скрыться в доме; подставив всех под пули.

Это было ловко придумано, и алькальд надеялся, что разбойников всех поголовно убьют, а он будет молодец, что избавил округу от разбойников.

Но бог порешил иначе. Когда Хоселито подъехал со своими людьми к хутору, ему было как-то беспокойно, и он в упор посмотрел на управляющего. Тот потерялся и сделался весь бледный как покойник. Все стало ясно. Хоселито понял, что там засада, из которой могут перебить всех его товарищей. Хоселито — благородный человек, он подумал, что управляющий поступил так не по своей воле, отпустил его, а людям приказал поворачивать обратно.

Хоселито дал клятву отомстить алькальду. Тот сразу смекнул, что раз план провалился — жди беды: Хоселито его убьет. И так он перепугался, что перестал выезжать из своего городка. Из дому же выходил, когда на улице было побольше народу, и вообще осторожничал.

Но это не спасло его. Как-то раз около девяти вечера в местечке появился Хоселито и еще восемь его товарищей. Все пешие. Они смело ворвались в дом к алькальду. Никто не ожидал такого. Слуг всех перевязали, заткнули рты полотенцами, чтобы не поднимали шума, и так их напугали, что те не пикнули. Хоселито сам, один, вошел



к алькальду и сказал: «Молись богу за упокой своей души: я лишу тебя сейчас тела и жизни за предательство, которое ты содеял!».

Алькальд хорошо знал Хоселито и понял, что это конец. Просить пощады бесполезно. Сопротивляться — тоже. Хоселито приставил ему мушкет к самому виску: шевельнись — и все. Алькальд решил гордо молчать.

Прошла какая-нибудь минута, Хоселито подумал, что тот успел уже попросить у бога прощения за грехи, и приказал: «Читай молитву!». Алькальд твердым голосом начал читать, и когда дошел до слов: «верую в Иисуса Христа, сына божья», Хоселито выстрелил, всадив ему в голову свинец вместе с пыжами.

Алькальд так и остался сидеть в кресле у своего стола, а Хоселито вышел из дома, и все вдевтером они скрылись. За городом их ожидали товарищи с лошадьми. Они сели на лошадей — и поминай как звали.

У алькальда был восемнадцатилетний сын, неженатый красивый парень. Так как был субботний вечер, то он сидел в цирюльне и брился.

От людей он узнал об ужасном случае. Он не добрился и бросился домой. Там он увидел горячо любимого отца, который был зверски убит и сидел с разможенной головой.

Воздев руки к небу, он поклялся над теплым еще телом убитого не брить бороды, не есть на скатерти, не менять белья, не спать в постели, пока не уничтожит всю шайку и ее главаря Хоселито.

Прошло пять лет после этого случая, и парень выполнял все, как поклялся. Он не считался с расходами и потратил все богатое наследство на отряд пеших и конных людей, с которыми гонялся за разбойниками, вылавливал их по одному, а то и по два и постепенно отправлял на тот свет. Живой остался только Хоселито. Как ни старался парень поймать и убить своего злодея — ничего не получалось. Так он и мотался: не менял белья, не ел за столом, не спал на постели и не брил бороду. Говорят, что страшно было на него смотреть.

Так могло долго продолжаться: Хоселито был ловок и хитер — такого голыми руками не возьмешь. К тому же у него было много покровителей и укрывателей. Но Хоселито (да простит всемиловитый грехи его!), хотя и грешил много, замашки имел как у благородного сеньора. Ему надоело бегать и скрываться, и тогда он передал

парню с одной верной цыганкой, старухой, такой уговор: если тот захочет враз покончить все дела и снова начать бриться и прочее, то пусть явится один в условленное место, где они встретятся без свидетелей и решат спор ножами: кто-то один лишится жизни или оба полягут в честном бою. Предложение понравилось сыну алькальда. Он поклялся страшными клятвами, что встретится без подвоха. Они сошлись в дубовой роще и храбро дрались на ножах. Только старуха цыганка видела этот бой: сидела и смотрела, не моргнув глазом.

Хоселито — настоящий герой, и хотя сын алькальда был не робкого десятка и ножом управлялся запросто, одолеа парня. Говорят, что убил он его метким ударом страшной силы под левый сосок. Так и отправился сын алькальда на тот свет, ни разу не побрившись после смерти отца.

Слава об этом подвиге пошла по всей Андалусии, и скоро под начало Хоселито пришли семь храбрецов. Хоселито, как и раньше, был главарем этой честной братии.

Шло время, и ничего бы не случилось, если бы губернатор провинции не задумал одну гнусную хитрость. Увидев, что в честном бою с Хоселито не справиться, он подговорил одного ужасного преступника, сидевшего в тюрьме, убить Хоселито. Для этого он освободил преступника из тюрьмы, а пустил слух, что тот бежал. Преступник поступил в шайку, втерся в доверие к благородному Хоселито и зарезал его, когда тот спал. Вы представляете себе, ваша милость, как велико и как справедливо было возмущение всей Вильябермехи».

Далее Респетилья, склонный видеть в разбойниках героев и знавший наизусть множество романсов о них, подробно описывал свои огорчения по поводу смерти Хоселито, осуждал предательство и восхвалял добродетели убитого. Для краткости мы решили все это опустить и ограничиться замечанием о том, что Респетилья не читал книг современных социалистов, фаталистов и детерминистов, но в душе его нашли отклик мысли и чувства, давно укоренившиеся в народе. Потому-то он и оправдывал все преступления Хоселито, объясняя их злой судьбой и неустроенностью мира, то есть фатальным поведением личности и недостатками, пороками и несправедливостями, которые царят в обществе. Мы полагаем, что романы мало подходят для проповедей, ибо на горьком опыте убеди-

лись, что они плохо усваиваются. К великому сожалению, та всеобщая симпатия, которую испытывают обитатели наших сел и деревень к бандитам и разбойникам, факт бесспорный. Он свидетельствует о том, что идеи эти не новые и не пришлые, а коренятся в стародавних предрассудках, что бороться с ними можно просвещением, распространением правильных взглядов на мир, а не святым невежеством, которым многие дорожат и даже кичатся.

Донья Арасели умерла семь лет тому назад. Она испустила дух как птичка божья: без боли и страданий, любя всех и вся. В своем завещании тетка не забыла любимого племянника из Вильябермехи, подарив ему одолженные в свое время шесть тысяч дуро. Но у дона Фаустино были дырявые карманы, и, живя в Мадриде на свои скудные доходы, он умудрился наделать еще больше долгов.

О Марии дон Фаустино ничего нового не узнал ни до, ни после смерти ее отца. Единственный человек, который знал о Марии, был отец Пиньон, но он молчал, хотя дон Фаустино неоднократно спрашивал его об этом в письмах. Было еще одно лицо, которое, как полагал доктор, покровительствовало Марии, защищало ее и укрывало. Это был священник Фернандес, о котором мы говорили во вступлении, но он давно умер. Выяснив точную дату его смерти, доктор предположил, что человек в плаще, который беседовал с Хоселито и добился для него свободы, был священник Фернандес. Вскоре после этого он и умер. Так где же находилась Мария?

Читатель не забыл, конечно, о главном действующем лице вступления — о рассказчике всей нашей истории. Позволю себе напомнить о нем: это славный дон Хуан Свежий, племянник знаменитого священника. «Не нашла ли Мария защиту у этого человека? Не уехала ли она с ним в Америку?» — подумает догадливый читатель.

Проницательный читатель, вероятно, так и подумает, но дон Фаустино до этого не додумался. Да и трудно было предполагать такое: у дона Хуана Свежего был единственный родственник — священник Фернандес, — но и тот умер, сам он никому не писал, ни с кем из бермехинцев не поддерживал никаких отношений — не мудрено, что все о нем забыли, и дон Фаустино тоже.

Доктор занялся розысками лиц, которые могли иметь хоть какое-то отношение к Марии, и вот что удалось установить: он узнал, что Хоселито в четыре года остался круглым сиротой и его взяли в приют, что у матери Хосе-

дито лет за пятнадцать до его рождения был сын, который уехал в заморские страны, и пять десятков лет о нем никто ничего не слышал. Доктор не знал, однако, что старший брат Хоселито стал там миллионером и потом возвратился на родину.

Мы уже говорили, что дон Фаустино неоднократно обращался к отцу Пиньону по поводу Марии, однако тот отказывался что-либо сообщить о ней, хотя наверняка знал о ее местопребывании. Но наконец в одном из последних писем священник сам заговорил о Марии:

«Опасаясь, что ты из чувства честолюбия или по молодости лет и нетерпимости станешь презирать или даже ненавидеть ее за темное происхождение, она покинула тебя.

Она до сих пор держится этого решения, хотя по-прежнему любит тебя. Вероятно, она питает надежду соединиться с тобою в лучшем мире.

Бедняжкой владеет странная мысль, мало угодная богу. Но бог простит ее, как, надеюсь, простит и меня за мою снисходительность к ее безумству. Ведь я так люблю ее. Мария продолжает верить, что ты и она всегда любили друг друга в других своих существованиях, что ваши души всегда были и будут связаны, и та жизнь, которой вы сейчас живете, — это испытание для вас обоих. Она уверена, что в тебе имеется нечто такое, что не есть ты, нечто чуждое твоему существу, твоей душе, но принадлежит только твоей плоти, воздуху, которым ты дышишь, среде, которая тебя окружает. Эта материальная оболочка, и среда, и общество мешают вашей вечной любви.

Поддавшись чувству неодолимой тяги к тебе, она стала твоею. Теперь она боится снова увидеть тебя. Боится, чтобы какой-нибудь печальный случай не разрушил союз ваших душ, не вызвал отчуждения и вражды. Она верит в то, что союз этот будет вечен, и боится вечного разрыва. «Лучше не видаться с ним, — говорит она, — не наслаждаться его обществом, не принадлежать ему в этой жизни, чем испытать вечный разрыв».

И все же Мария уповает на счастливый случай, лелеет надежду соединиться с тобою еще в этой жизни, не опасаясь вечного разрыва. Это может произойти только тогда, когда ты испытаешь горечь разочарования, когда скорбь очистит твою душу, когда иллюзии, которые слепят тебя и смущают, развеются, сгинут».

Так говорил отец Пиньон в своем последнем письме, и это были единственные сведения, полученные доном Фаустино. Он по-прежнему жил в Мадриде; днем находился в присутствии, исполняя роль писаря — да и писарь из него был неважный, — а по вечерам ходил из гостей в гости, играя роль беспечного франта. Оставаясь дома, наедине с собою, он был философом, поэтом, честолюбивым мечтателем. Он продолжал любить поэтический образ своей Вечной Подруги, сохранившийся в его душе, но ни за что не согласился бы променять на реальное обладание красивой и любящей его женщиной все свои иллюзии, которые он отнюдь таковыми не считал.

## XXVIII

### КРИЗИС

В это время в Мадриде случилось событие, которое вызвало сенсацию в высшем аристократическом обществе. Все газеты писали об этом.

Маркизу де Гуадальбарбо наскучило жить в Париже и в Лондоне, и он вернулся в город, на гербе которого красовались медведь и земляничное дерево. Старый дом был перестроен, переоборудован и роскошью внутреннего убранства и элегантностью внешнего вида напоминал теперь настоящий дворец. Дорогая мебель, прекрасные картины, мраморные и бронзовые скульптуры, японский, севрский и саксонский фарфор, редкостные французские эмали, редкие книги в роскошных переплетах — все это и многое другое, всего не перечислишь, с большим вкусом и с тонко продуманной небрежностью было расставлено и выставлено в обитом красным шелком кабинете и в многочисленных залах, украшенных позолотой и фресками работы искусных мастеров.

При этом дом не выглядел складом дорогих вещей, как у иных хозяев, демонстрирующих свое богатство и тщеславие, но лишенных чувства подлинной любви к красивым и дорогим предметам, которое и придает им живую душу. Здесь все выглядело так, будто какая-то добрая фея холит их, нежит и придает им вид живых существ. В каждом произведении искусства, в каждом украшении и даже в самом воздухе ощущалось присутствие, след, рука доброго покровителя домашнего очага. Казалось, он омывает

всю эту обстановку чудесным, мягким светом и придает ей какой-то сказочный аромат. Растения выглядят здесь еще более зелеными и свежими, а цветы — еще более яркими и красивыми, чем в саду или в парке. Во всем этом было проявлено столько изящества, такта и вкуса, что всякий угадывал присутствие умной, красивой и благородной женщины.

Этой женщиной была наша старая знакомая Констанция, ставшая маркизой де Гуадальбарбо. Природные достоинства, которыми она отличалась еще там, у себя, в андалусийской деревне, проявились теперь в полном блеске под воздействием достижений современной культуры. Так драгоценный камень, извлеченный из недр земли, или жемчуг, поднятый со дна моря, приобретают особую, рафинированную красоту и изящество, приняв в себя лучи дневного света.

Маркиза прожила эти семнадцать лет, не испытав ни малейшего огорчения, наслаждаясь безмятежностью и благополучием, пользуясь всеобщим уважением, заботами любящего супруга, внушая почтительную любовь мужчинам, вызывая зависть женщин, и потому красота ее несколько не поблекла. Никто не дал бы ей даже тридцати пяти лет. Губы ее были так же свежи, детская лукавая улыбка так же привлекательна, зубы такие же ослепительно-белые, лоб такой же чистый и кожа лица с румянцем на щеках такая же нежная, как в тот памятный момент, когда она вышла из экипажа, чтобы встретить своего кузена Фаустино.

Хотя у нее было двое детей и старшему сыну исполнилось шестнадцать, мы можем повторить то, что говорили и раньше: гибкостью стана она напоминала даже не пальму, а змейку, все, что можно было видеть, предполагать и воображать о ее фигуре, отличалось отсутствием излишеств и преувеличений и такой соразмерностью форм и линий, которыми отличается подлинное произведение искусства.

В довершение всех похвал мы осмелились бы прибавить, что Констанция была неподвластна разрушительной силе времени. Она напоминала сказочных спящих красавиц, которые, проснувшись, остаются такими же прекрасными, а то и более прекрасными — бывают и такие случаи, — чем до волшебного сна. Кожа приобрела еще больший блеск и прозрачность, стала более гладкой и белой, что делало Констансию похожей на мраморную богиню

или нимфу. Благодаря заботам и уходу руки казались теперь еще более красивыми и поражали округлостью линий, изящной формой запястья и пальцев. Уход за внешностью, применение маленьких хитростей осуществлялись так тонко и умно, что даже самый придирчивый критик, обладающий острейшим зрением, не заметил бы этого.

Маркиза де Гуадальбарбо поражала Мадрид своими туалетами и драгоценными украшениями, но еще большее впечатление производили ее добродетели. Маркиза любила мужа, видя в нем чудесный источник своего благосостояния и богатства. Он осыпал ее бриллиантами, одаривал золотыми украшениями и без колебаний исполнял все ее дорогостоящие и смелые капризы. Удачи супруга в делах благодарная маркиза была склонна приписать его выдающимся талантам. Он предстал в ее глазах магом-волшебником, которому достаточно было махнуть палочкой, чтобы любая надежда, иллюзия, прихоть, мечта покидала зыбкий мир теней и химер и чудесным образом превращалась в нечто весьма реальное и осязаемое.

Констансия была о себе весьма высокого мнения, что делало ее неуязвимой для многих опасных искушений.

Бедная женщина, будь она олицетворением самого бескорыстия, всегда рискует дать ослепить себя богатству, блеску, роскоши богатого кавалера. Она может и не принимать от него подарков, но обязательно пленится экипажами, лошадьми, дворцами, блеском и величием той атмосферы, которая окружает ее избранника. На Констансию это не могло оказать никакого действия: она была — или мнила себя — такой богатой, что ни роскошь, ни пышность, ни чудеса ремесла или искусства не могли поразить ее, вызвать ее восхищение или даже любопытство.

Женщину-плебейку всегда привлекает звучное имя кавалера. Женщина, которая не знает высшего света, легко очаровывается поклонником, блистающим в аристократических салонах, и желание победить или уязвить свою великосветскую соперницу оказывается сильнее всех ее добродетелей. Констансия причисляла себя и своего мужа к самому высшему обществу, она блистала в самых знаменитых салонах Парижа и Лондона, поэтому подобные вещи никоим образом не могли подействовать на ее гордое сердце. Она на все смотрела свысока, с пренебрежением.

Слава о маркизе де Гуадальбарбо катилась по всей Европе. Она блистала в Бадене, Спа, Брайтоне, Трувиле, в салонах предместья Сен-Жермен, в замках прославлен-

ных лордов Англии и Шотландии. В Берлине, Петербурге, Ницце, Флоренции, Риме у нее были приятельницы, которые ей писали письма, и поклонники, которые по ней вздыхали... Устав блистать в Европе, она вернулась в Мадрид, и похоже было, что сделала это, желая укрыться от света.

В прежние времена в центрах высокой культуры и цивилизации вроде Александрии эпохи правления наследников Александра Великого, Версаля эпохи Людовика XIV или Людовика XV, может быть, по контрасту с реальной жизнью возник интерес, пробудился вкус — род недуга — к буколической поэзии, к идиллии, к тихой сельской жизни, к пастушеской любви. Нечто подобное произошло и в душе прекрасной маркизы. В Мадриде ей было хорошо, но порой сердце ее тосковало по простой, патриархальной жизни. Воображению рисовались идиллические картины неизъяснимой прелести, сотканные из воспоминаний о родном селении, о своем саде, цветущих апельсиновых деревьях, благоухающих фиалках, о голубом андалусийском небе и о прочих удовольствиях безыскусственной жизни, близкой к матери-природе.

Когда все английские лорды, русские князья и парижские львы были у ее ног и она утомилась от всеобщего восхищения, ей стала грезиться другая жизнь. Она не видела в нынешней своей жизни поэзии и полагала найти ее в чем-то другом, доселе неиспытанном и неизведанном.

Пока жажда блистать в обществе и быть любимой не угасла в ее сердце, поэзия и романический идеал воплощались для нее в том всеобщем поклонении и обожании, предметом которых она была. Главными условиями осуществления этого идеала были несокрушимая добродетель и верная любовь к почтенному маркизу. Нарушить верность мужу или хотя бы бросить тень на его имя значило для нее сойти с того золотого пьедестала, на который он ее вознес и поставил. Надо думать — и, вероятно, сама Констанция думала, — что то восхищение, которое внушала ей удачливость маркиза в делах, и та благодарность, которую она испытывала к нему за безотказное выполнение ее желаний, были проявлением настоящей любви и искренней привязанности к мужу. Ей представлялось, что оба они составляют одно существо или, во всяком случае, неразделимое единство и что могущество, великолепие привалили им не откуда-то извне, под воздействием какой-то



внешней силы, но исходят от нее самой, заключены в собственной ее персоне.

Так жила Констансия все эти семнадцать лет: любила своего мужа, была образцовой женой и матерью, слыла среди ветреников непрístupной мраморной богиней. Все строгие и положительные люди ставили ее в пример супружеской любви и верности.

Даже маркиза дель Махано, сестра ее мужа, которую считали самой суровой и придирчивой дамой Мадрида, была очарована Констансией и ни в чем не могла ее упрекнуть. Разве что в недостатке религиозного рвения. Однако щедрые дары и пожертвования Констансии в пользу церквей, монастырей и приютов умеряли в значительной степени критический пыл маркизы. Как все святоши, она была скупа, но, будучи распорядительницей всех пожертвований, слыла щедрой, не теряя ни полушки из собственных денег.

Маркизу де Гуадальбарбо исполнилось шестьдесят шесть лет, но он на диво хорошо сохранился. Кипучая деятельность, верховая езда, охота, умеренность и полный достаток позволили ему сохранить молодость.

Он не уставал благодарить бога за то, что тот надумил его выбрать себе такую жену. Констансия проявляла заботу о цветах, канарейках, коврах, бронзе, но с еще большим рвением заботилась, ухаживала и ублажала своего мужа: ведь он был так добр, услужлив, внимателен и щедр. Она целиком посвящала себя мужу: угадывала его желания, развлекала шутками и остротами, утешала, когда случалась какая-нибудь (обычно самая пустячная) неприятность, ухаживала за ним как за ребенком, когда он болел (обычно самой пустячной болезнью).

И все же, несмотря на все это, надо признать, что Констансия переживала опасный кризис. Впрочем, мы этого уже частично коснулись.

Идеал ее жизни, которой она жила до сих пор, исчерпал себя: он дал ей все, что мог дать. Фимиам лести, победы в свете, тысячи сердец, пламенивших любовью к ней, — на эту любовь она отвечала, разумеется, только благодарностью, — все это, прошу простить за грубое слово, осточертело ей. Теперь она желала более возвышенных наслаждений, стремилась к более прекрасному идеалу, душа ее жаждала высокой поэзии. Так бывает. В разгар прекрасного дня вы вдруг замечаете, что солнце начинает клониться к закату, окрашивает западный небосвод в зо-

лотистые и пурпурные тона, сердце наполняется томной меланхолией, и грудь теснят тысячи неизъяснимо очаровательных фантазий. Душа Констансии тоже слегка окрасилась в закатные тона; но молодость еще не ушла, она еще длится, и душа пребывает в меланхолии, стремится к неизведанным блаженствам, к прекрасной поэзии, к свету, к ласковому теплу, к благодати, которые продлевают ясный день жизни, наполняя его радостью.

Одно случайное обстоятельство дало толчок чувствам Констансии именно в этом романтическом направлении, подтолкнуло маркизу в сторону открытого моря, чреватого чудесными тайнами, рифами, мелями и обрывами.

Чета маркизов де Гуадальбарбо раз в неделю устраивала приемные вечера. В их салоне собирались сливки высшего мадридского общества. Каждый такой вечер был парадом красоты, знатности, богатства, писательских и военных талантов. Кроме того, маркизы де Гуадальбарбо давали обеды. В числе приглашенных был и генерал Перес, один из самых частых посетителей этого дома.

Генерал Перес, об отношении которого с Роситой мы скромно умолчим, был не только влиятельным политиком, от чьей воли зависели смерть или рождение министерских кабинетов, но самым дерзким, самоуверенным, настойчивым и легкомысленным волокитой. В этом виде сражений, равно как и в военных битвах, генерал Перес почитался настоящим Цезарем, и хотя ему не было известно речение «пришел, увидел, победил», поступал он именно так.

Этот бравый вояка, этот бесстрашный и удачливый герой, прославившийся тысячами подвигов, целиком посвятил себя Констансии. Он пронизывал ее огненными взглядами, ухаживал за ней с этакой генеральской лихостью. Ее пренебрежение к нему, колкости и даже гневливость он понимал не иначе, как притворство, хитрость, тактические приемы, применяемые маркизой с целью возвести преграды вокруг крепости, которая все равно в конце концов будет сдана.

Домогательства самонадеянного генерала бесили Констансию. Она считала, что в рамках светских приличий ею сделано все возможное и невозможное, чтобы осадить свирепого и настырного вояку и отвести от себя, но напор генерала был чудовищным, почти невероятным.

Маркиз де Гуадальбарбо привык к тому, что его жену обожают, был абсолютно уверен в ее добродетельности и либо не замечал, либо делал вид, что не замечает той

жестокой и плотной осады, которой подвергал ее генерал Перес. Констансия была достаточно умна и не просила мужа избавить ее от наглых ухаживаний чванливого кавалера, прогнать эту назойливую муху, когда та становилась особенно невыносимой, если не сказать опасной.

Между тем Констансия вынуждена была терпеть ухаживания генерала. Испытывая неудовольствие и раздражение, она надеялась отвести его своей невозмутимостью и неприступностью. До этого Констансия не понимала тех мифов, в которых рассказывалось о преследовании нимф Паном и Галатен циклопом Полифемом. Но теперь, *mutatis mutandis*<sup>1</sup>, в современной жизни, более упорядоченной и управляемой, она почувствовала себя Галатеей, за которой гоняется разъяренный Полифем — генерал Перес.

Больше всего ей досаждали и уязвляли ее самолюбие величавый вид генерала и та плохо скрытая уверенность, что, ухаживая за нею и снося ее равнодушие, он чуть ли не оказывает ей честь — это ей, считавшей себя выше всех генералов, ей, которой было прекрасно известно, что богатство и высокое положение ее мужа в обществе не зависят ни от каких политических и государственных деятелей! Она-то хорошо знала, что не муж нуждается в заступничестве министра финансов, а сам министр нуждается в его поддержке. И вот эта женщина теряла спокойствие и кусала губы, когда генерал Перес подходил к ней и только что не произносил покровительственным тоном: «Цените мою любовь и удивляйтесь, что я, такой важный, такой могущественный, терплю ваше небрежение».

Как раз в ту пору в дом Констансии каждый вечер приходил и раз в неделю обедал там наш главный герой, некогда отвергнутый ею кузен дон Фаустино Лопес де Мендоса.

Судьба была так сурова к дону Фаустино, что, несмотря на свою склонность к иллюзиям, он приобрел черты характера, совершенно противоположные характеру генерала Переса. Он стал робким, слабодушным, скромным, застенчивым. Его скромность привлекала Констансию и вызывала симпатию маркиза, который всячески расхваливал доктора и считал, что это блестящий пример того, как несправедливо и капризно распоряжается судьба, ставя достойных людей в унижительное положение и незаслуженно возвышая глупцов.

---

<sup>1</sup> Внося соответствующие изменения (лат.).



Поначалу Констансия спорила с мужем, утверждая, что причина неудавшейся карьеры дона Фаустино кроется в его характере, и приписывала ему множество недостатков... Однако маркиз склонялся к тому, что недостатков вовсе не было, а были только одни достоинства и совершенства. Постепенно маркиза убеждалась, что муж прав, и соглашалась с ним. Ей стало казаться, что доктор Фаустино — крупный ученый, увядший в расцвете сил, лев, которому подрезали когти, гений, которому подрезали крылья и помешали взлететь в эмпирей.

Кто же та злая волшебница и коварная колдунья, которая произвела столь безжалостную ампутацию крыльев и когтей? Задумавшись над этим, Констансия впервые почувствовала угрызения совести, так как вынуждена была признать за собой некоторую долю вины.

С чувством нежности, с ощущением какой-то сладостной и горькой печали, какого-то обволакивающего томного наслаждения вспоминала она ночные свидания и разговоры у садовой решетки, слезы, пролитые в ночь расставания, робкий и нежный поцелуй в лоб в благодарность

за рану, нанесенную ему в самое сердце, и тогда ей казалось, что она слышит шум фонтана, погружается в ночную тишину, видит ясное андалусийское небо с мириадами мерцающих звезд, вдыхает пьянящий аромат цветущих апельсинов и любимых фиалок.

Все это, теперь такое далекое, всплывало в ее душе преображенным воспоминанием о светлой юности, и потому более поэтичным, прекрасным и возвышенным.

Неизъяснимая печаль закрадывалась в душу маркизы. Не тогда ли так резко изменилась судьба Фаустино? Если бы она полюбила его, растормошила своей любовью, он мог бы осуществить свои честолюбивые мечты, превратить их в действительность. Неужели это она подрезала тот цветок, который мог раскрыться, согреваемый теплом надежды, неужели это она подрезала ему крылья, порвала струны волшебной арфы и швырнула ее в угол, как в известных стихах Бекера?

И тогда она начинала рисовать картины фантастической жизни, в тысячу раз более прекрасной, чем она жила до сих пор. Она видела в себе самой ту музу, тот импульс, то вдохновение, ту тугую пружину, которая дает толчок чудесному творчеству человека, могущего составить славу Испании. Это казалось ей более поэтичным, прекрасным и благородным, чем все события, происшествия и случаи ее нынешней жизни.

Впервые где-то в самых глубинах ее сознания шевельнулась мысль, которую она не могла произнести вслух даже себе одной, робкая мысль о том, что она из пустого эгоизма, стыдного корыстолюбия, движимая жаждой удовольствий и тщеславным стремлением к роскоши променяла Фаустино на маркиза де Гуадальбарбо.

Здесь, в Мадриде, она не кокетничала с доном Фаустино. Боже сохрани! Ведь она любила и уважала своего маркиза. Битый судьбою дон Фаустино даже не помышлял о том, что кузина, которая не любила его там, в Вильябермехе, могла полюбить его теперь, когда туманно-радужное будущее обернулось столь банальным настоящим, когда с ужасающей ясностью обнаружились тщета, несостоятельность, провал всех его надежд и планов достижения славных побед.

Констансия, выведенная из себя неотступными ухаживаниями генерала Переса, задумала дьявольскую игру. Маркиз не мог прогнать надоедливого поклонника. Кокетничанье с любым другим мужчиной такого же положения

не могло ни задеть, ни уязвить самонадеянного генерала. Верным способом избавиться от него, отомстить ему, ударить по его самолюбию было подыскать соперника ниже его рангом, человека скромного и малозаметного, и, проявив к нему всемилостивейшую благосклонность, приблизить к себе. Тем самым она сделала бы богоугодное дело: могущественный генерал был бы низведен со своего пьедестала и унижен, а безвестный соперник обласкан и возвышен.

Для этой роли Констанция выбрала беднягу кузена, решив вывести его из состояния подавленности и протрации, заставить поверить в свои силы, сделать его счастливым соперником и противником хвастливого генерала. Она живо представляла себе, как тот лопается от злости, получив отставку из-за какого-то чиновника, жалкого писаришки с жалованьем в четырнадцать тысяч реалов. К тому же ей казалось, что этот самый писаришка с жалованьем в четырнадцать тысяч реалов по всем статьям превосходил генерала с его победами. Она не нуждалась в славе генерала Переса, ей не нужны были отблески чьей-либо славы: она считала, что сама, своим собственным блеском, может осветить и украсить кого угодно.

## XXIX

### ЗА ТАЙНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ — ТАЙНОЕ ОТМЩЕНИЕ

Маркиз, сам того не замечая, способствовал осуществлению хитрого плана своей жены.

Высокомерие и самомнение представителей высшего мадридского общества вроде генерала Переса казались маркизу столь необоснованными, что он едва мог их переносить. Маркиз был горячим поклонником порядка, установленного в процветающей Виликобритании, и всегда сетовал на беспорядок, отсталость и дурное правление у себя на родине. Он считал, что наши политиканы и правители должны стыдиться своей бездарности и скромно помалкивать, а не проявлять свою спесь.

Как все преуспевающие дельцы с чистой, незапятнанной репутацией, маркиз был чудовищно самолюбив и испытывал естественное раздражение, когда это самолюбие проявляли другие лица без достаточных, по его мнению, на то оснований.

Маркиз никогда не читал любопытнейшей книги отца Пеньялосы под названием «Пять достоинств испанца, разоряющих Испанию», но даже если бы прочел ее, то не смог бы по свойству своего ума оценить теорию хитроумного монаха. Автор высказывал соображения о том, что гибель Испании происходила не от дурных, а от хороших качеств испанцев: от того, что испанцы — в высшей степени рыцари, католики, роялисты, от того, что они — благородны и воинственны. Маркиз же считал, что страна гибнет от дурных качеств испанцев, и потому корил и бранил своих соотечественников, обрушивал свой гнев на сильных мира сего и был снисходителен и доброжелателен по отношению к скромным и немущим людям.

Поскольку дон Фаустино принадлежал ко второй категории, маркиз испытывал к нему особое расположение, которое непрерывно росло и усиливалось. От прежней предубежденности, возникшей при первом свидании, не осталось и следа. Молодой задор, бравирование безбожием, свойственные молодому человеку, с годами сгладились. Маркиз не видел уже в доне Фаустино соперника, оспаривавшего у него Констансию. Напротив, теперь он видел в нем только неудачника, над которым он взял верх и чьи высокие достоинства увеличивали ценность и важность одержанной победы. Чем больше маркиз возвышал дона Фаустино в своем восприятии, тем важнее казалось ему значение любви Констансии к нему, тем лестнее ее выбор, по которому она отвергла доктора и предпочла его, маркиза.

Между тем визиты дона Фаустино участились, и если он почему-либо пропускал званые вечера и обеды, маркиз разыскивал его и подтверждал приглашения.

Тем временем неутомимый генерал Перес, образцовый любовник-вонтель наших дней, несмотря на то, что все его вылазки, атаки и набеги отбивались, продолжал непрерывно и методично сжимать кольцо осады. Поскольку генерал был важной и уважаемой персоной, никто не решался даже приблизиться к Констансии. Подобное предприятие всем казалось не только бессмысленным, но и опасным. Генерал Перес своими многозначительными взглядами и поведением совершенно блокировал маркизу. Другие кавалеры не думали, конечно, и не боялись, что генерал Перес съест их живьем. Совсем нет. Но видя, что удачливый завоеватель открыл решительные боевые действия, поступая при этом смело и напористо, они могли подумать, что он

добился успеха, а при таком состоянии дел никто не хотел соперничать с ним, чтобы не испытать горечи поражения.

Констансии все это порядком надоело. Понимая, что кольцо осады сжимается и план изоляции успешно осуществляется генералом, она буквально выходила из себя.

Из-за скромности и робости, развившейся вследствие жизненных неудач, дон Фаустино не мог даже думать о том, что кузина полюбила генерала и была с ним в каких-то отношениях, но и он допускал, что настойчивое ухаживание такого важного лица могло доставить ей развлечение и льстить ее самолюбию. Поэтому всякий раз когда дон Фаустино видел генерала Переса подле маркизы, он почитал за лучшее ретироваться, чтобы не мешать им. Констансия гневалась от этого еще больше и едва скрывала свое отчаяние. Она проявляла к кузену самое нежное внимание: ласково смотрела на него, с чувством пожимала ему руку и хвалила на каждом шагу. Однако доктор объяснял это добрым отношением к нему, участливым состраданием, желанием вызволить его из состояния подавленности. Какую-то роль, полагал он, сыграли и легкие угрызения совести за жестокий отказ в прошлом.

Инертность доктора задевала Констансию не меньше, чем напористость генерала. Маркиза стала выказывать дону Фаустино еще большие милости. Доктор продолжал думать, что милости сыплются из сострадания к нему, но иногда он приходил к мысли — и она все чаще посещала его, — что кузина хотела сделать из него ширму, чтобы прикрыть свои отношения с генералом.

Пассивность доктора была следствием того угнетенного состояния, в котором он постоянно пребывал, но если бы он был опытным соблазнителем и хотел завоевать сердце Констансии, то более хитрый и действенный прием трудно было придумать.

Тысячи знаков внимания, которыми Констансия продолжала одаривать кузена, были полны туманных намеков, они создавали какую-то особую, неопределенно поэтическую атмосферу. Так поступают даже глупые женщины, если ими движет стремление завоевать чью-нибудь любовь. В данном же случае так поступала маркиза де Гуадальбарбо, женщина умная, изящная, артистичная. Это началось у нее прелестно. Доктор не смел, конечно, думать, что кузина любит его, но вспоминая любовные свидания у садовой решетки во всех подробностях, он понял, что



продолжает любить Констансию, несмотря на любовь к Марии.

Это новое душевное состояние дон-а Фаустино не прошло незамеченным: маркиза видела, с какой нежностью кузен смотрит на нее, как благодарно выслушивает ее похвалы. Ощущая на каждом шагу ее заботливое отношение, доктор преисполнялся чувством признательности и сам старался оказывать ей всяческие мелкие услуги. Для человека рассеянного, каким был доктор, такое его поведение было равносильно признанию в любви.

Прокорпнев часов пять-шесть над бумагами в присутствии и еще столько же в своей гостиничной комнатенке над завершением поэмы и сочинением новой философской системы и попадая после этого в роскошный, эlegantный салон маркизы, доктор чувствовал себя там как в раю: слуги относились к нему почтительно, чего он не видел с момента отъезда из Вильябермехи, его окружали красивые вещи, здесь все благоухало, и, самое главное, он видел прекрасную даму, которая интересовалась им, участливо спрашивая о его здоровье, хотела слушать его стихи, философские рассуждения, и все это делала так умно, так тонко, что доктор при всей своей мнительности не замечал ни наигранности, ни фальши, ни обидной снисходительности.

Дон Фаустино испытывал такое блаженное чувство, ему было так хорошо и спокойно, что он боялся потерять это ощущение и был похож на больного, который нашел удобное положение и боится сдвинуться, чтобы не нарушить его, или на человека, который видит прекрасный сон, и даже проснувшись, старается удобней устроиться, чтобы увидеть его продолжение. Словом, доктор блаженствовал и готов был даже не дышать, чтобы не потерять этого чувства.

В один из приемных вечеров — это было в мае — генерал Перес вел себя особенно назойливо и дерзко. Он сетовал на то, что маркиза допускает его к себе только в дни общих приемов и не хочет встретиться с ним наедине.

— Я должен серьезно объясниться с вами, — сказал он маркизе, — это ужасно: вы вечно заняты гостями и под этим предлогом не утомляете меня своим вниманием. Вы даже не хотите выслушать меня. Всякий нахал прямо подходит к нам и обрывает меня на полуслове. Выслушайте меня и потом вынесете свой приговор. Это право каждого осужденного.

— Помилуйте, генерал, — отвечала Констансия, — я вас не осуждаю. Я слушаю вас, но не понимаю, на что вы жауетесь.

— Вы обращаетесь со мной жестоко и смеетесь надо мной.

— Я и не думала смеяться над вами.

— Почему же вы не принимаете меня днем?

— Днем я принимаю только по вторникам. Приходите в любой вторник, и я вас приму.

— Вот именно: вы примете меня как любого другого.

— Какое же у вас право требовать, чтобы я принимала вас иначе?

— Неблагодарная! Разве моя любовь, моя дружба, мое восхищение вами не дают мне на это права?

— Может быть, поэтому я и должна вам отказать. Вы опасный человек, — смеясь, сказала Констансия.

— Видите, я прав. Вы смеетесь надо мной.

— Я не смеюсь над вами, но и принять вас не могу. Вы так настойчиво ухаживаете за мной, что это может вызвать всякие пересуды.

— Никто не посмеет ничего сказать. Примите меня хотя бы один раз. Ваша репутация так прочна, что вам нечего бояться.

— Послушайте, — сухо сказала Констансия, несколько задетая тем, что генерал всерьез мог подумать, будто она боится за свою репутацию. — Я прекрасно знаю, что моя репутация не может поколебаться от какого-то пустяка. Вы хотите меня видеть завтра, когда я не принимаю простых смертных? Извольте. Приходите завтра. От трех до четырех. Я велю слугам, чтобы вас впустили.

— Только меня одного?

— Только вас одного.

Сказав это, маркиза покинула генерала. Тот был доволен, хотя должен был бы сообразить, что маркиза дала согласие на свидание с целью доказать, что ее репутация не зависит от того, встретится она с ним наедине или не встретится.

Однако генерал Перес все понял по-своему и был безмерно горд. Мысленно он представлял себе ту жестокую борьбу между любовью и долгом, которая происходит в душе маркизы. То, что он получил согласие на свидание, казалось ему важной любовной победой. Мысль о том, что Констансии он был совершенно безразличен, не приходила ему в голову, напротив, он был уверен, что она горит от

нетерпения встретиться с ним наедине и выслушать его признания.

И генерал пришел на свидание. Хотя с женщинами другого типа он не церемонился и вел себя как молодой Тарквиний с Лукрецией, в данном случае он понимал, с кем имеет дело, и, несмотря на свою заносчивость, вел себя с Констансией почтительно, скромно, искательно и покорно. Маркиза в изящных выражениях сказала все, что полагалось в таких случаях: что она высоко ценит генерала, испытывает к нему самые дружеские чувства, благодарит за оказанную честь, и тем не менее просит его ни на что не надеяться, так как не может его полюбить.

Отказ был сделан яснее ясного. Но тщеславие генерала не допускало этого. Он по-прежнему рисовал в своем воображении жестокие сражения между честью и долгом, любовью и целомудрием, развернувшиеся в душе Констансии. Он даже сострадал ей за тот переполох чувств, который царил в ее сердце, и в приступе благородства решил быть спокойным, осмотрительным, не кидаться очертя голову на штурм, не рубить сплеча, не предавать огню все и вся. Он принудил себя быть великодушным и милосердным, мягким, как глина, и нежным, как сироп, с тем, чтобы ежедневным деликатным нажимом одолеть Констансию.

В общем, маркизе не удалось отделаться от докучливых визитов генерала. Они раздражали ее. Гордость не позволяла ей прямо сказать генералу, чтобы он не компрометировал ее столь частыми посещениями, и не хватало духу дать понять, что они ей досаждают. С другой стороны, кузен все больше и больше завладевал ее сердцем.

Однажды после ужина, когда маркиз был занят другими гостями, разговаривал с ними о политике, между Констансией и доктором произошел следующий разговор:

— Неужели ты считаешь меня такой легкомысленной и тщеславной и такого дурного мнения обо мне, что мог подумать, будто мне доставляют удовольствие ухаживания генерала? К чему мне эти ухаживания? Зачем мне нужен этот генерал? Тысячу раз я говорила тебе, что он мне надоел, что я не могу выносить его присутствия, а ты мне не веришь!

— Скажу тебе откровенно, кузина, — отвечал доктор, — хотя и знаю, что ты будешь сердиться: я не заметил, чтобы ты обходилась с ним сурово. Он бывает у тебя почти ежедневно, не отходит от тебя, выставляет напоказ свое обожание. Это называется дурно с ним обращаться?!

— Внешне это выглядит так. Но он сам принимает уклончивость за благосклонность, отказ — за поощрение, яд — за бальзам. Право, иногда я не вижу иного средства отказать его, как только выставить за дверь.

— Если бы хотела, то давно бы выставила, — возразил доктор.

— Очень хочу это сделать. Ты поможешь мне?

— С превеликим удовольствием. Буду счастлив оказать услугу моей прелестной кухне, которая так добра и так ласкова со мною.

— Договорились. Я очень благодарна тебе за дружеское участие, за бескорыстную дружбу. Как ты благороден, Фаустино! У тебя есть все основания сердиться на меня, но ты не помнишь зла.

— За что же мне сердиться? Когда я вспоминаю — вот уже в течение многих лет — наше расставание там, у решетки сада, я всегда думаю, что ты была тысячу раз права. Весь горький опыт моей жизни, моя незначительность, моя нищета, крушение моих планов полностью подтверждают благоразумие и прозорливость твоего отца. Действительно, было бы безумством соединить твою судьбу с моей. Я не жалею. Напротив, я благодарен тебе и храню в моем сердце сладкое воспоминание о тех слезах, которые ты пролила из-за меня, и о том тончайшем аромате, который ощутили мои губы, запечатлевшие первый и последний поцелуй на твоём чистом челе. Но хватит об этом. Вернемся к делу. Чем я могу быть полезен? Приказывай.

— Могу ли я приказывать? Я умоляю тебя завтра прийти ко мне.

— В котором часу?

— Приходи в половине третьего. Только непременно.

Констансия назначила доктору прийти за полчаса до визита генерала.

Автор или рассказчик настоящей истории — как угодно — знает, что в этом месте повествования, как и в других местах, читатель должен был почувствовать досаду против нашего главного героя и осудить его за крайнее непостоянство: то он любит Марию, то Констансию, то обеих сразу, а однажды любил даже Роситу (правда, всего несколько дней). Но пусть бросит в него камень тот, у кого в реальной жизни было меньше любовных перемен, тот, кто с большим основанием шел бы на эти перемены. Кроме того, уже с самого начала рассказа читатель должен был понять, что мы не старались сделать из доктора образец

добродетели и совершенства. Мы хотели на примере доктора Фаустино показать, как пагубно сказывается на уме и воле человека то, что обычно называют иллюзиями. Концепция эта сама по себе удобна, и состоит она в убеждении, что сами наши достоинства могут указать путь к достижению любой честолюбивой мечты, что в каждом из нас сидит в зародыше великий человек, а раз так, то без труда и усилий, без всяких волевых напряжений, только за счет природных свойств можно преодолеть все препятствия и покрыть себя славой.

Такого мнения придерживаются нынче многие, и доктор Фаустино не составлял исключения. Его честолюбие было разбужено и не покидало его, несмотря на горчайшие разочарования, которые ему довелось испытать. Кроме того, будучи наделен поэтическим воображением и не веря ни во что, кроме своей исключительности — что тоже чрезвычайно распространено, — доктор напоминал персонаж из известной сказки: ночью герой заблудился в дремучем лесу и, пытаясь выбраться из него, мечется между мерцающими вдали огоньками, попеременно принимая каждый из них за желанную путеводную звезду. Огонек, который манил теперь доктора и вселял в его душу спасительную надежду, были глаза его кузины. И он поспешил на свидание к маркизе, придя на несколько минут раньше назначенного часа.

Кузина приняла его в очаровательной маленькой гостиной — или в будуаре, если воспользоваться иностранным словом, — где обычно проводила время, когда оставалась одна, занимаясь чтением, предаваясь мечтам или принимая самых близких друзей. На ней было прелестное утреннее платье, по-весеннему легкое. Через открытые жалюзи в гостиную лился мягкий свет. Всюду стояли цветы и комнатные растения. Маркиза казалась свежее, красивее и очаровательнее всех цветов.

Доктор рассыпался в комплиментах. Она, в свою очередь, встретила его приветливой улыбкой и подарила ласковым взглядом.

Нет, они не говорили о любви, ни о прошлой ни о настоящей, речь шла только о нежнейшей дружбе.

И по праву дружбы доктор взял руку маркизы в свои руки, и маркиза не отняла ее. Фаустино поцелуями, и как раз в этот момент раздался звонок у входной двери. Констансия рассмеялась.

— Это он, — сказала Констансия. — Пожаловал мой ужасный генерал.

Доктор, сидевший слишком близко к Констансии, машинально отодвинул стул.

— Нет, нет, — сказала маркиза, рассмеявшись еще громче. — Не отодвигайся. Сядь поближе — пусть злится. И не вставай, пока он не увидит тебя рядышком со мною.

Дон Фаустино повиновался и снова придвинул свой стул.

Слуга доложил о приходе генерала Переса, который тут же вошел с сияющим, победным видом.

Констансита, хотя и была автором этой проделки, увидев генерала, густо покраснела. У нее не хватало опыта в такого рода делах. Доктор давно не участвовал в галантных приключениях, тем более в таком аристократическом салоне и в таком внушительном составе: он разволновался и тоже покраснел. Генерал заметил все это и, хотя был человеком опытным и бывалым, не мог скрыть своего недовольствия.

Разговор, который затем последовал, был натянутым и холодным. Лицо генерала выражало плохо скрываемый гнев. Кузина едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Она бросала на дону Фаустино нежные взгляды и не только не скрывала этого от генерала, но, наоборот, делала так, чтобы тот их заметил. Генерал понимал, что сердиться было смешно и глупо, поэтому старался казаться невозмутимым и даже веселым, но это плохо ему удавалось. Он завел разговор о всякой всячине: о театре, о литературе, даже о модах; наговорил кучу всякого вздора. Это забавляло Констансию, она была в восторге. Генерал был так самонадеян, что не испытывал ни к кому ревности, тем более к доктору. Он видел в нем только бедного родственника маркизы, которого из милости пускали в дом, и иногда из сострадания кормили. Генерал считал, что он тоже может проявить к нему и сострадание и милость.

— Ну и ну, — говорил он. — Не ожидал встретить здесь такую блестящую компанию.

— Для меня это большая честь, генерал, — скромно отвечал дон Фаустино.

— Кто бы мог подумать, — продолжал генерал, — вы не в присутствии?

— Да, генерал, я манкирую сегодня присутствием, чтобы составить компанию кузине и развлечь ее. Она немного хандрит.

Хотя доктор говорил простодушно, генерал уловил некоторый намек на себя: уж не ставят ли они оба ни в грош

его присутствие здесь? Они так поглощены друг другом. Он готов уже был взорваться, но сдержался.

— Я рад, дружок, очень рад. Не знал, что вы приятный и веселый собеседник.

— Именно, он мил и приятен! — воскликнула Констанция раньше, чем доктор собрался с ответом. — Вы плохо знаете моего кузена, мало с ним общались. Судьба была несправедлива к нему, поэтому у него такая незавидная служба и мизерное жалованье, но он человек ученый и очень умный.

— Генерал, — сказал доктор, — кузина слишком добра ко мне и видит во мне достоинства, которых у меня нет.

— Поверьте мне, генерал. Я сказала истинную правду. Фаустино — один из самых замечательных людей в Испании: вдохновенный и тонкий философ, ученый...

— Мне даже неловко, Констанция: ты предполагаешь во мне такие достоинства и свойства, которых за мной никто, кроме тебя, не признает. Это потому, что ты любишь меня, потому, что ты добра и снисходительна ко мне.

Доктор и маркиза еще долго расточали похвалы друг другу, рассыпались в комплиментах и приписывали это взаимному чувству приязни. В этих милых препирательствах они обращались к суду генерала, и тот едва не лопался от ярости. Он чувствовал, что теряет самообладание. С его языка уже готово было сорваться нечто нелестное по поводу кузины и кузена. Вот-вот должен был разразиться грандиозный скандал. Однако, чувствуя, что у него нет никаких видимых причин сердиться, и боясь, что любая несообразность в его поведении может выставить его человеком грубым, дурно воспитанным, смешным и неловким, он снова сдержался и с нескрываемой иронией произнес:

— Сожалею, маркиза, что пришел так некстати. Я профан в поэзии и в философии и, наверное, прервал урок, который давал вам ваш кузен.

— Генерал, — сказал доктор, — я слишком скромненький, чтобы давать уроки кому бы то ни было, тем более маркизе. Могу ли я учить ее поэзии, если она — сама поэзия?

— Я далеко не сама поэзия, и кузен не давал мне никаких уроков, но если бы он давал мне урок (и тут голос маркизы сделался сладким, в интонации появились мягкость и подкупающее чистосердечие: она хотела смягчить разящую силу удара), то вы, генерал, не могли бы нам помешать: вы могли бы с пользой для себя... послушать этот урок.

Тут генерал растерял все свое хладнокровие. Он понял, что оставаться дольше было невозможно, иначе он совершит какую-нибудь дерзкую выходку. В ярости генерал вскочил с места и, не скрывая раздражения, сказал на прощание:

— Я презираю поэзию. Я весь проза и не хочу слушать ваших взаимных поэтических уроков. Поэтому почту за лучшее ретироваться. Честь имею, маркиза.

Дон Фаустино встал и почтительно поклонился генералу.

— Был счастлив вас видеть, — сказал ему генерал.

— Помилуйте, это я был счастлив вас видеть, — отвечал ему дон Фаустино.

— Да хранит вас бог, — примиряющим голосом начала Констансия, чтобы избежать бури, которая готова была разразиться. — Сегодня вы немного нервны, и вам не до поэзии. Полагаю, что это скоро пройдет; желаю, чтобы вы — раз уж вы возненавидели поэзию — считали меня прозой и продолжали меня любить и жаловать.

Говоря это, маркиза томно и грациозно протянула свою красивую руку, и генералу ничего не оставалось, как пожать ее.

Не желая дольше оставаться, генерал ушел, явно сожалея, что прошли варварские времена, проклиная светские условности, которые не позволили ему сказать всего, что он думал о Констансии, не позволили ему разбить о голову доктора все стеклашки и побрякушки, которыми была уставлена гостиная, называемая нынче французским словом «будуар».

Констансия хорошо понимала, что как бы ни был одержим генерал жаждой мести, он не будет строить козни ничтожному чиновнику с жалованьем в четырнадцать тысяч реалов, а тем более не будет распространяться о случившемся, о том, как с ним обошлась Констансия, предпочтя ему какого-то писаришку.

Как только генерал ушел, Констансия дала волю своим чувствам, перестала сдерживаться и разразилась откровенным хохотом, забыв, что она гранд-дама, и превратившись в шаловливую, веселую девушку, которой и была когда-то там, у себя в Андалусии.

Доктор присоединился к ней: он тоже смеялся от души.

Потом они как-то вдруг затихли, сделались серьезными и пристально посмотрели друг на друга. В их взглядах



были немые, но весьма красноречивые вопросы. Ясно, о чем они спрашивали друг друга. Это было написано в их глазах.

О чем мог подумать генерал, и до какой степени это было справедливо?

Что было шуткой в их игре, и что было серьезно?

Может быть, это любовь? А если так, то какая она, эта любовь?

Отвечая на эти вопросы, оба опустили глаза и покраснели еще больше, чем тогда, когда вошел генерал.

Воцарилось молчание. Минуты казались часами. Очень опасное молчание.

Доктор по-прежнему находился совсем близко у софы, где сидела Констанция.

И тут доктор почти машинально взял ее руку, и кузина снова не отняла ее.

Доктор покрыл ее поцелуями, но теперь, после молчаливых вопросов, эти поцелуи имели другой смысл и значение.

Констанция резко отдернула руку и сказала с холодным достоинством и невозмутимой рассудительностью, без тени волнения и печали:

— Уходи, Фаустино, уходи. Останемся добрыми друзьями.

Этот призыв остаться только друзьями прозвучал в ушах доктора очень невнятно: что-то среднее между мольбой и приказанием. И все же по тону, которым произносилась эта фраза, можно было угадать ее скрытый смысл. Да, это был запрет. Да, это было ограничение. Но в ней не было протеста, она означала: «Увы, нам суждено быть только добрыми друзьями».

Доктор был достаточно умен и тонок, чтобы понять серьезность этих слов. Он встал, взял шляпу и сказал:

— Прощай, кузина.

Он уже повернулся к ней спиной, он уже был у самой двери, уже собирался переступить порог комнаты, но обернулся. Констанция молчала. Тогда он подошел к ней и смиренным, робким, обреченным тоном произнес:

— Останемся добрыми друзьями.

И протянул руку маркизе как бы в залог этой бескорыстной дружбы. Констанция подала ему свою красивую белую руку. Доктор снова поцеловал ее почтительно и благоговейно, но Констанция не могла не заметить в этом поцелуе едва сдерживаемую любовь и страсть.

Затем, как бы поборов в себе какую-то неодолимую силу, доктор поспешно оставил гостиную.

Генерал по-прежнему стал навещать маркизу только в приемные дни и вечера. Он снял осаду, никому не сказав ни слова о причинах своего решения. У него хватило сообразительности, чтобы не обнаружить своего огорчения, и он скоро утешился, вернувшись к Росите, которая легко простила ему временное заблуждение.

Доктор не манкировал больше своими обязанностями чиновника и не появлялся у маркизы днем, но продолжал посещать ее вечерние приемы и раз в неделю обедал у нее.

Возродившаяся после семнадцатилетнего перерыва любовь должна была, по мнению Констансии, да и по мнению доктора, воплотиться и вылиться в некое возвышенное платоническое чувство. Этого требовало уважение к благородному маркизу, который любил их обоих: дону Фаустино — как родственника и друга, и Констансию — как свою законную супругу. Не сговариваясь, оба думали абсолютно одинаково. Оба избегали опасных встреч наедине. Но встречаясь при маркизе, обмениваясь между собой словами и взглядами, они проникались друг к другу чувством взаимного уважения, и та благородная жертва, на которую они оба шли, и та завидная сдержанность, которую проявлял доктор, привели к тому, что расположение Констансии к кузену сменилось пылким и безрассудным обожанием.

Прошел месяц, и за все это время доктору не представилось ни малейшей возможности повидать кузину с глазу на глаз. Но в конце концов случилось то, что должно было случиться. И нельзя в этом никого винить — ни судьбу, ни дьявола. Ну что из того, если доктор, который запросто бывает в этом доме, оказался однажды вечером вдвоем с кузиной? В тот вечер у маркизы немного расхворались нервы, и она никого не принимала. Слуга, полагая, что распоряжение маркизы не распространялось на любимого кузена, провел дону Фаустино в знакомый нам будуар. Маркиза не было дома. Было всего одиннадцать часов, а в Мадриде, как известно, поздно ложатся спать и приемы сильно затягиваются.

Несмотря на жаркую погоду, двери балкона были закрыты. Ничто не нарушало уединения. Только из соседней комнаты тянуло ласковой прохладой: там балконная дверь была открыта.

Констансита сидела там же, где она сидела в памятный день генеральского визита. Чувствуя себя нездоровой, она не переодевалась к вечеру и была в простом, но элегантном утреннем туалете. Распущенные волосы делали ее особенно милой и очаровательной: было видно, что она только что поднялась с постели, чтобы встретить доктора.

Эти случайные обстоятельства способствовали тому, что разговор между доктором и кузиной сделался еще более дружеским и доверительным. Они болтали о всякой всячине и, сами того не желая, заговорили о самих себе. Как-то неожиданно для себя самой она спросила об успехах доктора по службе.

— Какие уж тут успехи! — сказал дон Фаустино. — Ко мне вполне подходит старая пословица: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Меня одолевали всякие честолюбивые мечты. Видно, поэтому ни одна из них не сбылась. Мой ум блуждал с предмета на предмет, не задерживаясь ни на одном: он не нацеливался на добычу, как орел, а порхал над нею, как жаворонок. Я слабоволен и ничего энергично не домогался. Неудивительно, что я так мало преуспел. У меня нет двух важных стимулов: любви и веры в то, что существует помимо меня.

— Неужели ты никого не любишь и ни во что не веришь? Боже, как это ужасно!

— Я говорю о вещном мире.

— Ну, это немного легче, но и это страшно. Неужели ты никого не любишь?

— Я хотел любить, я любил, но мною пренебрегли, и это убило любовь. И вот недавно я почувствовал, как любовь чудесным образом воскресла во мне. Но не будет ли она вновь убита?

— Если ты действительно любишь, — отвечала Констансия медленно, словно стыдясь того, что она произносит, и опасаясь, как бы не сказать лишнего, — если ты любишь по-настоящему, то кто же станет пренебрегать твоей любовью? Вспомни, что сказал поэт:

*Amor a nullo amato amar perdona*<sup>1</sup>.

Кроме того, если любит человек, обладающий твоими достоинствами, то любовь его должна быть сильной, сильнее смерти.

---

<sup>1</sup> Любовь любить велящая любимым (итал.; Данте, Божественная комедия, Ад, песнь V. Перевод М. Ловинского).

— Поэт сказал неправду, — отвечал дон Фаустино. — Если же слова его отражают общее правило, то я — исключение из этого правила. Я любил тебя когда-то, а ты меня не любила. Теперь я люблю тебя еще больше, но ты меня по-прежнему не любишь.

Констансия уже совсем было успокоилась, но, услышав последние слова кузена и видя, с каким жаром он их произносит, испугалась. Какая-то неведомая магнетическая сила тянула ее к дону Фаустино, но вместе с тем из глубин ее тревожной совести возникало другое чувство, которое говорило ей, что недостойно, преступно и подло обманывать маркиза.

— Фаустино, — печально и покорно сказала она. — Я поступила дурно, низко, но то, что я не полюбила тебя, — это мое несчастье. Однако не требуй, чтобы я стала еще несчастнее, полюбив тебя теперь.

— Я ничего не требую. Сердцу не прикажешь. Если ты можешь не любить меня, не люби, но я люблю тебя, безумно люблю.

Доктор опустился на колени перед маркизой.

— Встань, успокойся. Боже мой! Нас могут увидеть!

— Полюби меня!

— Сжался надо мной. Оставь меня. Беги отсюда. Что с нами будет! О боже!

— Люби меня, Констансия!

— Да... я люблю тебя.

Доктор пылко обнял маркизу. Она не отстранилась. Губы их слились в поцелуе.

Вдруг она вскрикнула и резко оттолкнула от себя доктора.

— Я погибла, — произнесла она шепотом, как бы выдохнув эти слова, и доктор скорее угадал их, чем расслышал.

Искреннее и пылкое чувство, возникшее столь неожиданно, отключило их обоих от внешнего мира, заставило забыть об осторожности. Они вели себя неосмотрительно, неблагоразумно, глупо.

Они не слышали, как вернулся маркиз де Гуадальбарбо, и не заметили, когда он вошел в гостиную.

Доктор и маркиза пытались сделать вид, что ничего не произошло. Но какой хаос чувств был в душе у каждого! Какая растерянность и какой стыд были написаны на их лицах!

Напротив, по лицу маркиза ничего нельзя было заметить. Оно, как всегда, выражало спокойствие и приветливость. Может быть, произошло чудо? Может быть, дьявол заслонил ему глаза черным облаком, и он ничего не заметил?

Надежда — последнее убежище страдающей души, и Констансия, увидев, что муж держится невозмутимо спокойно, хранила эту надежду.

— Здравствуй, детка, здравствуй, дорогая, — сказал маркиз, назвав маркизу как обычно, выражая этим и разницу лет и свою любовь к ней. — Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше? Я очень беспокоился и решил зайти домой до министерства. А, Фаустино, и ты здесь? Здравствуй, здравствуй.

Маркиз пожал доктору руку. Тот буквально сгорал от стыда и едва держался на ногах.

Маркиза почувствовала комок в горле и, заикаясь, пролепетала:

— Я чувствую себя немного лучше.

Дон Фаустино был так подавлен, что ничего не ответил.

Либо маркиз ничего не видел, либо делал вид, что ничего не видел, щадя несчастных, которые и без того испытывали унижительный страх и пребывали в мучительном состоянии полной растерянности.

Маркиз, сославшись на то, что его ждет министр, ушел из дому.

Дон Фаустино и Констансия снова остались одни. Оба они были жертвой вспыхнувшей страсти, но не порока. Поэтому страх, владевший ими, возник не от сознания только что пережитой опасности, а от ощущения совершенного греха. Объятия и поцелуи были низким воровством. Маркиза попрала честь, любовь, благородную доверчивость отца ее детей. Доктор предал верного друга, предал того, кто, в отличие от многих других, уважал и любил его. И в довершение всего он украл у него самое дорогое сокровище — Констансию. Не потому ли, когда их обоих застали врасплох, они почувствовали себя преступниками: это видно было по выражению их лиц, это сквозило в каждом их движении. Оба заметили это, и оба стыдились теперь того, что увидели. Чувство общей вины за стыдный поступок, унижительное чувство страха, которое охватило их в присутствии маркиза, подавило все остальное: они не видели уже способов и средств исправить зло.

Долгое время оба молчали.

— Уйди, уходи отсюда. Я погибла! — произнесла она наконец.

— Но, может быть, он ничего не видел, — осмелился возразить доктор. — Вероятно даже, что он ничего не видел. Небо помогло нам.

— Какое богохульство! Какое уж там небо! Скажи лучше — ад!

— Пусть ад. Только бы ты не пострадала от этого!

— Уйди, Фаустино, оставь меня. Ты терзаешь мою душу! — воскликнула маркиза с тоской и раздражением.

Доктор взял шляпу и, не произнеся ни слова, медленно, опустив голову, покинул дом маркизы.

Печальные мысли и тысячи глупейших предположений пронеслись в его голове, когда он возвращался домой, не замечая дороги.

«Допустим, маркиз все видел, что тогда? — спрашивал он себя. — Но, может быть, он ничего не видел? Зачем ему было скрывать? Взял и убил бы нас обоих! Может быть, он сделал вид, что ничего не заметил? Но зачем ему это делать? Если он задумал мстить Констансии, я должен вмешаться и защитить ее».

Устав от этих мыслей, он придал своему внутреннему монологу другое направление.

«Почему я такой несчастный? Несчастнее меня нет человека. Я не способен любить, у меня нет достаточной воли и энергии, чтобы быть добродетельным, чтобы с открытым забралом и с чистой совестью защищать богоугодное дело, но при всем моем слабоумии, малодушии и неуклюжести — эти качества у меня в избытке — я запросто совершаю преступление и оказываюсь смелым, трезвым, ловким в грехе. В этом свойстве моего характера и лежит причина моего несчастья, из-за этого я делал несчастными всех тех, кого я любил».

Рассуждая таким образом, доктор свернул за угол, и тут к нему подошел какой-то человек. Он тотчас признал в нем маркиза де Гуадальбарбо.

— Я ждал тебя. Следуй за мной, — сказал ему маркиз.

Доктор молча последовал за ним. Неподалеку стояла карета маркиза.

— Садись, — сказал он доктору. Тот повиновался.

— На виллу! — приказал маркиз кучеру, сев подле Фаустино.

Лошади взяли рысью, и карета покатилась. Оба седока всю дорогу молчали.

Теперь доктор понимал, что маркизу все известно, и считал своим долгом дать ему любое удовлетворение. У него мелькала даже мысль: не собирается ли маркиз просто убить его. Он вправе был это сделать, но, очевидно, имел другие намерения. Не мог же доктор спросить у маркиза: «Что ты собираешься со мной сделать?». Поэтому он молчал и позволил везти себя на загородную виллу.

Наконец они туда прибыли. Это было недалеко, в полулиге от города. Вошли в дом. Маркиз приказал слуге зажечь свет в нижней комнате, служившей ему кабинетом. Слуга удалился, оставив господ одних.

Маркиз открыл шкаф, извлек оттуда ящик, вынул из ящика два пистолета и положил их на стол. Тут он прервал молчание и спокойным тоном, словно желал доброй ночи, сказал:

— Ты негодяй, и я могу пристрелить тебя как собаку. Ты украл у меня самое дорогое, ты предал мою дружбу. Но я хочу убить тебя в честном бою и равным оружием. Я не хочу, однако, чтобы знали, что я тебя убил и за что я тебя убил. Это значило бы запятнать мое имя, бросить тень на мою жену и моих детей. Поэтому дуэль произойдет без свидетелей и без соблюдения некоторых формальностей. Пусть бог будет нам свидетелем. Прислуга нас не выдаст, даже если и узнает что-нибудь. Лакей и управляющий — англичане. Это люди надежные, верные, они давно у меня служат. Выбирай пистолет.

Доктор машинально взял пистолет. Маркиз тут же взял другой. Оба были теперь вооружены. Дон Фаустино не знал, что сказать, и поэтому молчал.

— Теперь, — продолжал маркиз, — следуй за мной, — и отворил дверь, ведущую в сад.

Там не было ни души. Светила полная луна. Перед выходом маркиз сказал:

— Я поведу тебя далеко отсюда — сад большой. Иначе слуги могут услышать выстрелы. Когда мы дойдем до места, мы встанем друг против друга на расстоянии тридцати шагов. Потом я скамандую «Пора!», и мы начнем сходитьсь. Каждый может выстрелить, когда ему угодно. Если ты хорошо стреляешь на ходу, можешь двигаться мне навстречу, если не доверяешь своей меткости, жди, пока я не упрусь грудью или лбом в дуло твоего пистолета.



Закончив краткую речь, маркиз пошел в сад, дон Фаустино — за ним. Они миновали красивую рошу и достигли ровной открытой площадки, упиравшейся в садовую ограду.

Дон Фаустино хотел что-то сказать, но оправдываться было бессмысленно, а хвастаться и бахвалиться перед оскорбленным маркизом неприлично. И он только произнес:

— Констанция невинна.

— Я это знаю, поэтому я мщу не ей, а тебе.

Маркиз отмерил тридцать шагов. И они встали друг против друга.

— Пора! — скомандовал маркиз, поднял свой пистолет и увидел, что доктор сделал то же самое.

Противники начали сходитьсь. Маркиз был отличным стрелком и верил в меткость своего выстрела. Поэтому, хотя он и чувствовал себя оскорбленным до глубины души, все же не хотел стрелять первым, чтобы не получить преимущества.

Они прошли уже половину пути. Только полтора десятка шагов отделяли их друг от друга. Доктор не стрелял и продолжал идти. В маркизе боролись два чувства: привычная сдержанность и боязнь, что отмщение не состоится. Он слышал, как сильно бьется его сердце, как пульсирует кровь, и чувствовал, как дрожит правая рука.



Больше нельзя было медлить. Маркиз выстрелил и увидел, как дон Фаустино покачнулся, но продолжал твердым шагом двигаться вперед, целясь в грудь противника.

Маркиз не понимал, как он мог промахнуться. Однако теперь он был почти уверен, что дон Фаустино остался невредим. От этой мысли душу его охватило отчаяние, и он почувствовал себя совершенно подавленным. Но он должен был идти навстречу человеку, в руках которого была его жизнь.

Доктор вплотную подошел к маркизу. Лицо доктора, освещенное луной, было прекрасно печальным, но маркизу оно показалось страшным, ужасным.

Дон Фаустино почти касался дулом пистолета груди противника и пристально смотрел на него. Прошло какое-то мгновение, показавшееся маркизу вечностью.

Даже в этот момент доктор оставался философом и не мог не анализировать происходящее. Он смиренно принял вызов и пошел на смертельный поединок потому, что не нашел приличного и естественного предлога отклонить его. И вот он принял то, что сам считал несуразным и тяжким обязательством, налагаемым светскими условностями. И все это из-за одного-единственного поцелуя, из-за одного-единственного, хотя и крепкого, объятия. Что же он выиграет от того, что убьет теперь несчастного старика, которого он сам оскорбил и сделал глубоко несчастным? Доктор допускал, что у маркиза не было к нему ни злобы, ни ненависти: вероятно, он хотел только исполнить свой долг, отомстив ему за бесчестье. Не будет ли бессмысленной жестокостью лишить его жизни теперь, когда долг исполнен и все уже совершилось? Хотя доктор часто слышал разговоры о том, как мало стоит человеческая жизнь, сам он благоговейно относился к жизни, и покушение на чью-либо жизнь казалось ему тяжким проступком, величайшим грехом, которому нет прощения. Вот какие мысли пронеслись в замутненном мозгу доктора.

Доктор швырнул пистолет далеко в сторону. Раздался выстрел, но, слава богу, никого не задел. Дон Фаустино вскрикнул и как подкошенный упал навзничь.

Маркиз бросился к нему, хотел поднять и увидел, что тот весь в крови.

— Моя пуля достигла цели. Он ранен. Может быть, смертельно. Рана в грудь. Проклятие!

Маркиз не знал, кому слать проклятия, кого винить во всем этом. Еще минуту назад он был в отчаянии, что

не попал в противника, не убил его, теперь отчаивался оттого, что тот ранен. Только что он был озабочен тем, чтобы сохранить дуэль в тайне, теперь, забыв об этом, стал звать на помощь слуг. Никто не отзывался, и он бросился к дому с криком:

— Педро! Томас! Скорее сюда!

Явились слуги.

Дон Фаустино был ранен в грудь навылет. С помощью слуг маркиз перевязал его, чтобы остановить кровотечение. Раненого перенесли в карету. Маркиз приказал гнать лошадей, чтобы быстрее доставить несчастного в гостиницу.

Маркиз вызвал к больному своего домашнего врача. Тот осмотрел рану и сказал, что, по-видимому, серьезной опасности нет: рана несмертельна. Пуля прошла навылет с правой стороны, очевидно, не задев легкого и важных сосудов. Раненый потерял много крови, что вызвало крайнюю слабость, но, может быть, вследствие этого удастся избежать воспаления и лихорадки.

Маркиз де Гуадальбарбо попросил врача и хозяйку гостиницы взять на себя заботы о больном и уехал домой в полной уверенности, что дон Фаустино скоро выздоровеет.

Читатель, вероятно, помнит о том, как маркиз сказал доктору, что считает Констансию невиновной. Но сказал он это из гордости, ибо не был слеп и прекрасно видел все, что там случилось. Когда он дрался с доктором на пистолетах, у него не было сомнения в том, что жена так же виновата, как и доктор. К несчастью, а может быть, и к счастью, в семье происходят невероятные вещи. У священного семейного очага совершаются события, сокрытые от постороннего глаза, происходят психологические коллизии, которые не могут объяснить ни ученый, ни поэт, как бы подробно и дотошно они ни анализировали и ни описывали их. Поэтому неудивительно, что после долгого разговора, который состоялся в тот злополучный вечер между маркизом и Констансией, муж пришел к убеждению, что маркиза была так же чиста, невинна и испорочна, как и прежде. Все впечатления маркиза о случившемся претерпели чудесную метаморфозу. Теперь он видел все иначе и все понимал по-другому. Объятия уже не казались ему столь пылкими, и вообще они были мало похожи на объятия влюбленных. По крайней мере со стороны дона Фаустино было проявлено больше почтительного благоговения, чем страстности, а маркиза все делала против воли

и даже сопротивлялась. И получалось так, что она была не соучастницей преступления, а жертвой. Губы доктора, как припоминал теперь маркиз, просто скользнули мимо губ Констансии и ткнулись в лоб, вследствие чего они вряд ли могли что-нибудь ощутить, кроме прикосновения к гладкой, бархатной коже, к тому же достаточно холодной, да и то через спадавшие на лоб завитки волос, которые плотно его прикрывали.

И самый факт, что он так просто увидел их, доказывал отсутствие злого умысла, убеждал в непреднамеренности совершенного поступка. Увы, другие мужья не так застают своих жен. Он мог бы поименно назвать великосветских прелестниц, коварно изменивших своим мужьям. Как непохожа его судьба на судьбу других мужей! Доктора тоже нельзя судить слишком строго. «Черт возьми! — говорил он себе. — Ведь она так хороша, так соблазнительна в своей неприступности. Бедняга мечтал когда-то жениться на ней. Несчастный малый!» Сведя до минимума значительность происшествия, он стал подыскивать ему объяснение. Все ясно: близкий родственник, поэтические воспоминания о юности, жестокий отказ, полученный семнадцать лет назад... Потом он подумал о том, что будет дальше. Доктор, конечно, выздоровеет — ему этого очень хотелось, — его отношение к кузине превратится в возвышенную любовь, в мистическое обожание а-ля Петрарка. Маркиз не переставал восхищаться стойкостью жены, ее несокрушимой добродетельностью. Перед мысленным взором проходила вереница воздыхателей, более дюжины завидных красавцев, умных и элегантных. Он едва не плакал от умиления и благодарности за то, что Констансия всем им предпочла его, маркиза, сделав его счастливейшим из смертных, предметом всеобщей зависти. Семнадцать лет верности — это ли не доказательство настоящей любви? Наконец маркиз вспомнил и о любимых детях и порадовался, что мог простить ту, которая выносила их в своем чреве и подарила ему. Несколько преувеличивая пылкость и хрупкость Констансии, он уже раскаивался в том, что так жестоко с ней обошелся: ужасно опасался, что она может заболеть от причиненных им огорчений. Он вспоминал теперь ту нежную заботу, которой она умела окружать его, которая всегда трогала его и восхищала. Разве можно порвать с такой женщиной? Нет, он бы умер от горя. А Констансия, такая гордая, благородная, совестливая, умерла бы от стыда. Но, может быть,

не только от стыда, а и от горя тоже. Ведь она любила его. Конечно, он теперь стар и немощен, но душа-то не стареет, а женщины вообще и Констанция в особенности умеют ценить духовное начало в любви. Во всяком случае, больше, чем мужчины.

Под воздействием этих рассуждений гнев маркиза сменился милостью и снисхождением. Он готов был простить все, и когда простил, то стал думать о маркизе с еще большей нежностью и любовью, и как-то постепенно и незаметно из человека, который простил, он превратился в человека, который должен был домогаться прощения. Констанция была великодушна и простила в конце концов маркизу то, что он усомнился в ней. В результате этого акта милости она снова взошла на золотой пьедестал и снова превратилась в богиню красоты, изящества и непорочности. Маркиз почувствовал себя счастливым, довольным и умиротворенным.

Дон Фаустино один должен был расплачиваться за драматическое представление; он один принес жертву богу Гименею, чтобы улажить его и обеспечить тем самым полноту счастья богатой, знатной, аристократической семьи.

### XXX

#### ПЕЧАЛЬНАЯ СВАДЬБА

Поскольку доктор не был ни известным политиком, ни знаменитым поэтом (великая эпопея еще не была завершена), ни модным философом (он только собирался придумать новую философскую систему), то его мало кто знал в Мадриде. О происшествии было мало кому известно, и даже «Ла Корреспонденсия» не написала об этом ни строчки. Те, кто знал о дуэли, были заинтересованы в сохранении тайны и помалкивали. Несколько полудрузей, полужнакомых по службе, которые с уважением относились к дону Фаустино и даже любили его, приходили справиться о его здоровье, но, узнав, что он серьезно болен и что его нельзя видеть, удовлетворялись этими сведениями и уходили.

Хозяйка гостиницы была стара, но из доброго отношения к своему вежливому и любезному постояльцу охотно взялась ухаживать за ним и делала это очень умело.

Врач тоже внимательно пользовал больного, ибо об этом его просил сиятельный клиент маркиз де Гуадалльбарбо.

Как только дон Фаустино был доставлен в гостиницу и уложен в постель, у него поднялась температура, но не столь высокая, чтобы внушить опасения.

В течение первых суток после дуэли дон Фаустино был в сознании и сохранял ясность мысли.

Маркиз дважды навещал его и, выслушав благоприятный прогноз, успокоился.

Вечером того же дня объявился странный посетитель. Хотя врач строго запретил всякие визиты, хозяйка не устояла против просьб, а может быть, и против щедрого вознаграждения незнакомой красивой дамы, пожелавшей видеть дона Фаустино и сообщить ему какие-то важные известия.

— Сеньор дон Фаустино, — сказала хозяйка, входя в комнату больного. — Тут вас хочет видеть одна сеньора. Как вы сейчас себя чувствуете? Можно ее впустить?

— Кто она? — с беспокойством спросил дон Фаустино, подумав, что это Констансия пришла его навестить.

— Похожа на француженку, — сказала хозяйка, и дон Фаустино уже не сомневался, что это была она.

— Она назвала себя? — спросил он.

— Да, ее зовут донья Этельвина, и еще как-то не нашему.

Такое романтическое имя, да в придачу фамилия, которую трудно выговорить, заставили его усомниться в своей догадке. Нет, конечно, это не Констансия. Но кто знает, может быть Констансия не хотела назвать свое настоящее имя? И снова возродилась надежда увидеть кузину.

— Просите ее войти.

Донья Этельвина не заставила себя долго ждать. Комната тотчас наполнилась тонким ароматом дорогих духов под названием «Оппопонакс», модная в то время и дорогая новинка, сотворенная в перегонных кубах лондонской «The Crown Perfumery Company». Платье, зонтик, жесты, поза — все говорило о претензии на последний крик моды: было похоже, что модель только что сошла со страницы иллюстрированного журнала мод. Модель, оживленная магией искусства, приняла человеческий облик и теперь наносила визит. Лицо доньи Этельвины было приятным и красивым, вопреки — или, напротив, благодаря — пудре

и румянам, искусно наложенным на него; разрез глаз, блестящих и красивых, был удлинен штрихами черной туши.

Доктор пристально смотрел на донью Этельвину, но не узнавал ее.

Донья Этельвина заметила это и, как только хозяйка оставила их одних, сказала:

— Скоро же вы забываете своих друзей, сеньор дон Фаустино. Не припоминаете меня?

— Извините, сеньора, но... откровенно говоря, я вас не помню.

— Я была горничной маркизы де Гуадальбарбо. Помните Манолилью?

— Ах, вот как!

— Теперь меня зовут Этельвина: Манолилья звучит слишком просто и вульгарно. Я много лет служила у маркизы, потом вышла замуж за мсье Мерсье, шеф-повара, великого мастера своего дела. Потом я овдовела и на сбережения мои собственные и моего мужа — пусть земля будет ему пухом — открыла модную лавку. Я понимаю, вы человек ученый и не интересуетесь галантерейностями, иначе вы бы знали знаменитую Этельвину Мерсье, или просто Этельвину. В наши дни едва ли найдешь такого аристократа, который не знал бы меня. Я произвожу на них на всех фурор. Я очень *recherchée*<sup>1</sup>.

— Я рад, сердечно рад. Какими судьбами вы здесь?

— Я пришла к вам по поручению моей госпожи. Сама она не может — боится, что это ее ославит, — шепотом проговорила Этельвина — Манолилья.

Дон Фаустино ничего не ответил и только тяжело вздохнул. Донья Этельвина продолжала:

— Тут у меня для вас письмо. Вы сможете сами прочитать?

— Да, — ответил доктор и прочел следующее:

«Фаустино, я знаю о твоём великодушном поступке. Как я тебе благодарна! Жизнь отца моих детей, моим положением в обществе, моей честью — всем этим я обязана тебе. Если бы не твоё великодушие, я была бы уже вдовой, потеряла бы честь, ибо само событие и причины, его вызвавшие, которые, слава богу, хранятся в тайне, непременно всплыли бы наружу и обесчестили бы мое имя

<sup>1</sup> Уточнена (франц.).

и имя моих детей. Я и прежде любила тебя, а теперь люблю еще больше. Хотя муж уверяет, что нет оснований беспокоиться, я решила послать Манолилью, единственного человека, которому я доверяю, чтобы подробно узнать о тебе. Сама я прийти не могу, чтобы не вызвать новых подозрений. Я кое-чего уже добилась, чтобы развеять их, но один неверный шаг — и все пропало. Я стараюсь рассеять эти подозрения только из чувства благодарности к мужу. За себя я не боюсь, но я так многим ему обязана, он так добр ко мне, так дорожит моей любовью, что я не могу сделать его несчастным. Из сострадания к нему я вынуждена лгать, да простит мне бог. Во имя этого и наша с тобой любовь — а мы ведь любим друг друга — должна быть скрытой, тайной, молчаливой. Мы должны впредь поступать так, чтобы нам не пришлось стыдиться этой любви перед судом нашей совести. Пусть это будет чистейшая, неземная любовь! Движимая этой любовью, я и пишу тебе, потому что знаю твое благородное сердце, знаю, что ты беспокоишься за меня, и я хочу тебя успокоить. Дай бог, чтобы мое письмо было бальзамом на твои раны. Бог видит чистоту моих помыслов, и да ниспошлет он тебе здоровья, о чем страстно молит любящая тебя кузина

*Констансия».*

И в самом деле, письмо успокоило доктора, который страдал не только от раны, но и от сознания, что он может явиться причиной развода. Ему было только неясно, каким чудом Констансии удалось рассеять то, что она называла подозрениями маркиза. «Какие уж там подозрения, если он все видел собственными глазами и за это продырявил меня пулей?»

Тут мы должны признать, что доктору пришла в голову еще одна горькая и эгоистичная мысль. Хотя он был человеком добрым, но состоял, как и все прочие смертные, из плоти и крови, и мысль эта заключалась в следующем: «Действительно, я самый несчастный из несчастных. Констансии удалось сделать мужа таким доверчивым, что он верит ей вопреки тому, что сам видел воочию. Но она добилась этого слишком поздно — когда я уже ранен. Если бы она могла сделать это раньше!». Так подумал доктор и печально вздохнул.

Но скоро и эта горькая мысль перестала его мучить. Доктор был слабым человеком, но он был добр. Он был

силен не верой, но милосердием. И то, что Констанция сумела все уладить с мужем, утешило его.

Что касается чистой, неземной любви, которую она ему предлагала, то и это ему понравилось. Для тяжело-раненого, обескровленного, страдающего от болей и жара в самую пору было любить и быть любимым не земной, а небесной, бескорыстной любовью.

Донья Этельвина была женщина практичная, мудрая и благоразумная. Как все простушки, которые переезжают из такой отсталой страны, как наша, в другую и проводят, скажем, в Париже или в Лондоне пару лет, донья Этельвина, побывав там, стала нетерпимой очернительницей своей родины, считая ее варварской страной, сделалась фанатичной поклонницей всяких французских и английских прелестей и тонкостей. Все, что она знала о наших обычаях, стало ей казаться грубым и shocking<sup>1</sup>. Язык наш, по ее мнению, не был пригоден, чтобы causer<sup>2</sup> и выражать esprit<sup>3</sup>. Даже объясняться в любви по-французски или по-английски было лучше, чем по-испански. Je vous aime или I love you<sup>4</sup> звучат очаровательно, тонко, тогда как te amo или la amo a Usted<sup>5</sup> — напыщенны и претенциозны. Вместе с тем Этельвина вывезла из-за границы безмерную любовь и уважение к материальному благополучию и научилась добывать материальные блага. Мсье Мерсье, например, который и до женитьбы был не промах, став мужем доньи Этельвины, сумел с помощью супруги учетверить свое состояние. Наконец, донья Этельвина, увидев, что она преуспевала и в fashion<sup>6</sup> и в dandysm<sup>7</sup>, так возгордилась, так ее занесло, что у нее родилась идея, не оставлявшая ее ни на минуту, что она может и должна выйти замуж за графа или на худой конец за какого-нибудь знатного дворянчика и что брак с поваром — это mésalliance<sup>8</sup>. Она кляла всех, кто уговаривал ее выйти за него замуж, уверяла, что они хотели ее погубить и сделали несчастной на всю жизнь. Только по наивности и неведению она могла заключить брак с человеком, который

<sup>1</sup> Скандальным, ужасным (англ.).

<sup>2</sup> Беседовать, разговаривать (франц.).

<sup>3</sup> Здесь — остроумие (франц.).

<sup>4</sup> Я вас люблю (франц. и англ.).

<sup>5</sup> Я тебя люблю; я вас люблю (исп.).

<sup>6</sup> В манерах (англ.).

<sup>7</sup> В дендизме (англ.).

<sup>8</sup> Неравный брак (франц.).



вдвое старше ее. Донья Этельвина ненавидела ложь — порок, свойственный только таким пропащим народам, как испанский, и, ненавидя ложь, прямо и откровенно говорила незадачливому мсье Мерсье, что презирает его, стыдится его и мечтает о дворянчике. Мсье Мерсье, чтобы не впасть в грех и не убить свою нежную подругу, взял да и умер сам, ушел в лучший мир. Освободившись от чудовища, донья Этельвина заделалась модисткой, и мечты о графе овладели ею с новой силой.

Несмотря на свою испорченность, донья Этельвина была способна на сильное чувство: она обожала Констанцию и понимала, что метод откровенных суждений, который был хорош с мсье Мерсье, не годился для маркиза де Гуадальбарбо: тут надо было хитрить. Она быстро сообразила, что письмо могло повредить ее госпоже: после смерти доктора его найдут, чего доброго, при разборе бумаг. Чтобы не потревожить доктора, она деликатно взяла у него из рук письмо и тут же разорвала его на мелкие кусочки. Потом, вежливо простившись, упорхнула из комнаты.

Когда к больному вошел врач, там еще витал аромат духов «Оппопонакс».

— Сеньора донья Канделярия, — обратился он к хозяйке, — чем здесь воняет? Что за чертовщина? Кто здесь был? Вы что, хотите уморить несчастного?

Донья Канделярия, встревоженная словами врача, призналась во всем и рассказала о посещении доньи Этельвины, хотя дон Фаустино делал ей знаки, чтобы она молчала.

Врач, которому были хорошо известны все светские сплетни, сразу понял и оценил важность и значение этого визита.

— Ну хорошо, — сказал он. — Только впредь никого не впускайте — ни с духами, ни без духов. Чтобы больной поскорей выздоровел, ему не следует принимать гостей и разговаривать.

Доктор Кальво — так звали медика — являлся противоположностью доктора Фаустино по весьма важным статьям: у него не было никаких иллюзий, он был практичен и прозаичен. Но зато доктор-медик походил на нашего доктора добротой, при том что тоже не обладал верой. Дон Фаустино внушал ему живую симпатию. Доктор Кальво легко разгадал и причину дуэли и происхождение раны, но хранил молчание. У него на этот счет

были свои соображения. Он сообразил, что маркизу, помиравшемуся с женой и свободному от мук ревности, было бы огорчительно или по крайней мере неприятно, если бы дон Фаустино умер. Это нарушило бы его спокойную, безмятежную жизнь. Не желая тревожить маркиза заранее, врач скрыл от него серьезность раны. Он прекрасно понимал, что ни чета маркизов, ни Этельвина и никто другой, как бы они ни интересовались больным, не будут за ним ухаживать. Хозяйке гостиницы все это тоже в конце концов надоеет; она займется другими постояльцами, и тогда дон Фаустино останется совсем один и умрет, как бездомный пес. Это заставило доктора Кальво выяснить у доньи Канделярии, есть ли у больного друзья?

— Для тех, с кем он водится, он слишком беден. Если бы он дружил с чиновниками — тогда другое дело. В общем, друзей у него нет. Что до родственников... Он из знатных, хотя у него нет ни гроша. Но, как я рассуждаю, от его родных мало толку. Получается, что он один-одинешенек; отца с матерью у него нет, братьев-сестер тоже нет. Он бедняк, а знаете, что поется о бедняке в одной коплае?

— Нет, сеньора, не знаю. А что там поется?

— А поется так:

С ветром лишь сравним бедняк.  
Все бегут оттуда,  
Где подует сей сквозняк,  
Словно от простуды.

Доктор Кальво согласился, что копла подходит как нельзя лучше к дону Фаустино, и спросил у хозяйки, не знает ли она кого-нибудь из земляков, которые могли бы им интересоваться. Та сказала, что часто слышала об управляющем — есть там в Вильябермехе небольшое имение, — которого зовут Уважай-Респетилья, и о священнике по имени Пиньон.

Врач решил, что посылать телеграмму на прозвище Уважай-Респетилья было неудобно. Другое имя не показалось ему таким странным и подозрительным, и в тот же вечер он отправил депешу в Вильябермеху на имя отца Пиньона, в которой сообщил, что дон Фаустино Лопес де Мендоса тяжело и опасно болен.

Доктор Кальво не преувеличивал. Вечером жар усилился, а когда утром температура спала, больной почувствовал крайнюю слабость, сознание его помутилось. Он

потерял ощущение времени, плохо видел окружающие предметы, не понимал, что с ним происходит, и часто впадал в забытие.

По вечерам жар усиливался.

— Что же это будет, доктор? — с беспокойством спрашивала донья Канделярия.

— Не буду скрывать от вас: положение серьезное.

— Он выживет?

— Трудно сказать.

— Сколько же будет так продолжаться?

— Недели три. Воспаление вызвало травматическую лихорадку ихватило плевру, которую, к счастью, пуля не задела. Повторяю: такое опасное положение может длиться три-четыре недели. Нужен покой, тишина, строжайшая диета, жаропонижающее, микстура по рецепту, — словом, все, что я прописал. Вы чудесная женщина, донья Канделярия, поухаживайте за ним. Кто знает, может быть удастся спасти беднягу.

Когда температура спадала, больного одолевала сонливость, а мозг продолжал лихорадочно работать, хотя мысли не подчинялись ему больше: теснились в беспорядке, мешали друг другу, путались.

Это были печальные мысли, а картины, сменявшиеся в его больном воображении, и того печальнее. Временами он видел подле себя самую смерть и тогда чувствовал, что скользит по краю обрыва и потом летит в темную бездну. При этом его охватывало сладостно-тоскливое чувство, и он предвкушал покой, мир, небытие. Ему казалось, что он растворяется в бескрайнем море, что узы любви прочно соединяют его с себе подобными существами, что война, борьба, эгоизм исчезают. В то же время он испытывал острую боль от того, что утрачивает свою индивидуальность и что даже имя его стирается из книги жизни. У него было такое ощущение, будто он погружается в океан небытия, тонет и после него ничего не остается: ни следа, ни отпечатка, ни воспоминания; весь поэтический строй его души рушится, все зерна, зароненные божественным промыслом, исчезают, так и не дотянувшись до света. На дне темной пропасти он видел Констанцию, она приветливо ему улыбалась, звала к себе, обещая чистейшую, неземную любовь, о которой говорила в письме. Дон Фаустино хотел взять ее за руку и удержать подле себя, но Констанция в испуге отпрянула, чтобы возлюбленный не увлек ее за собой в пропасть. Этельвина лихо

отплясывала какие-то танцы, пела веселые французские песенки и над всем смеялась. Появился маркиз де Гуадальбарбо, восклицая: «Как я счастлив! Констанция меня любит!» — и дон Фаустино завидовал этому счастью.

Образы Вильябермехи, Ла-Навы, Роситы, доньи Аны, кормилицы Висенты переплетались в самых причудливых, самых фантастических комбинациях и мutilи сознание. Реальное ощущение времени исчезло, но больной смутно понимал, что лежит он уже очень давно, и вдруг в какой-то момент почувствовал и увидел — и это был не бред, — что отец Пиньон и Респетилья стоят подле него, смотрят печальными глазами и произносят слова утешения.

Потом он снова впал в забытие и начал бредить.

Образы перуанской принцессы и Марии слились в единое существо. Женщина села у изголовья, поправила подушки, поцеловала его, провела ласковой рукой по его разгоряченному лбу.

Потом ему привиделось нечто сладостное и утешительное: он увидел собственную душу, самую суть своего естества. Очищенное страданием, оно приняло божественно прекрасный облик. Оно явилось ему в образе юной непорочной девы: синие, как два драгоценных сапфира, глаза; светлые, как золото, волосы; на губах — неземная улыбка; тонкая, гибкая, как у райского цветка, талия, и щеки как розы, распутившиеся под благодатным, чудодейственным теплом чужой весны. Все поэтические грезы, которые он не умел облечь в звучащее слово, воплотились в ней, все самое главное, что он желал созерцать разумом, очищенным от сомнений и противоречий, было сосредоточено в ней, все свойства своей воли, отрешенные от колебаний, неуверенности, эгоизма, сосредоточились в этом божественном видении. Прекрасная дева — видение то было или реальность, он не знал — смотрела на него с невыразимой нежностью, и дон Фаустино уже любил ее, как можно любить свою душу, любил ее больше, чем самого себя, и все его мысли были обращены к ней.

Когда дева входила к нему, казалось, что комната наполняется чудодейственным ароматом благостного покоя, умиротворяющей тишины, здоровья. Этот аромат совсем не был похож на «Оппонакс» доньи Этельвины.

Он видел в деве своего доброго гения, ангела-хранителя. Белая спитрахиль покрывала ее стройные плечи и девственную грудь; за спиной легкие светящиеся крылья, переливающиеся всеми цветами радуги, подобно опалу,

лазури, кармину и перламутру. Она не шла, а скользила по воздуху, легко отталкиваясь от земли. Его дух устремлялся за нею, настигал ее, и они вместе тянулись к небесам, где были райские кущи, звучала чарующая музыка, где были святые женщины, благочестивые мужчины, принесшие покаяние, ученые, обладающие глубокой верой, философы, никогда не отрицавшие бога, герои-мученики, блаженные, вдохновенные поэты, которые умели показать людям путь к достижению добродетели и вечной славы.

Ум дон-а Фаустино постепенно прояснялся, мешавшая видеть пелена спадала.

Сознание вернулось к нему, а вместе с сознанием — боль, ощущение слабости, тяжесть бытия. Ужасная тоска завладела его душой. Теперь он боялся, что навсегда потеряет способность видеть сладостные сны и останется один на один с жестокой действительностью. Хотя глаза были сухи, две крупные слезы медленно катились по исхудалым щекам — голова его покоилась на двух подушках и была слегка приподнята.

И тут он с великой радостью увидел подле себя, увидел четко и ясно, без пелены и тумана молодую девушку, ту самую, что только что снилась ему, как он думал, во сне.

Сделав над собой усилие, глухим и хриплым голосом он спросил:

— Кто ты?

— Ирене. Я Ирене, — ответила девушка, и ее голос отозвался в ушах страдальца небесной музыкой.

Едва она произнесла свое имя, как в комнату вошла другая женщина. Доктор четко ее видел. Ум его теперь совсем прояснился. Память вернулась к нему.

Женщина тоже была красива, но суровая жизнь, моральные и физические страдания, пламя великих страстей посеребрили ее волосы и покрыли лоб ранними морщинами. Это была Мария.

Доктор узнал ее.

— Сердце мое! — воскликнул он. — Мария! Жена моя!

Женщины склонились над постелью больного и обе поцеловали его в исхудалые щеки, умоляя не волноваться.

Вот уже две недели как заведение доньи Канделярии процветало. Старые постояльцы, платившие неисправно, были выставлены кто раньше, кто позже; вместо них хозяйка сдавала комнаты отцу Пиньону, Респетилье и, самое главное, богатому капиталисту Хуану Фернандесу из



Вильябермехи, его племяннице Марии, прелестной барышне Ирене и нескольким слугам. Так что гостиница была заселена полностью.

Дон Хуан Фернандес из Вильябермехи, которого земляки называют доном Хуаном Свежим, в свое время удочерил Марию. Некоторое время Мария и ее дочь жили с ним в Америке, потом вернулись в Европу. Путешествовали по Италии, Германии, Англии, Франции. Они были в Париже, когда получили от отца Пиньона депешу такого же содержания, что и он сам получил от доктора Кальво. Вся семья поездом приехала сюда, в столицу, и разместилась в этой невзрачной и неудобной гостинице, чтобы ухаживать за доном Фаустино и заботиться о нем.

Мария и Ирене в волнении поспешили к дяде Хуану и сообщили, что дон Фаустино пришел в сознание, что они узнали и что это добрый знак — явное улучшение. Дон Хуан Свежий сделал вид, что верит в улучшение, чтобы

не огорчать племянниц, но сам он понимал, что восстановление сознания и памяти — дурной симптом.

Пришел доктор Кальво и осматрел больного. Потом он имел беседу с доном Хуаном Свежим и сказал ему следующее:

— К сожалению, должен признать, сеньор дон Хуан, что вы правы: то, что бред прошел, — плохой симптом. Боюсь, что болезнь вступила в третью фазу, которую немногие переживают. Черты лица заметно изменились, он очень бледен, глаза широко раскрыты, взгляд испуганный; зрачки расширены, пульс частый и слабый, дыхание поверхностное, кашель сухой и надсадный. Я боюсь, что все это предвещает агонию. Словом, все признаки того, что врачи называют *mors regipneumonicozum*<sup>1</sup>.

Выслушав врача, дон Хуан Свежий крайне огорчился. Теперь он должен был подготовить Марию к самому худшему, открыв ей почти всю правду. Она выслушала его с глубокой болью, но и с благочестивым смирением, как и подобает христианской душе, к тому же закаленной тысячами бед и страданий.

Дочь разбойника давно уже стала богатой наследницей, она давно хотела узаконить рождение дочери и дать ей славное, честное имя, но не осмеливалась прежде даже мечтать о замужестве. Поэтому она не искала встреч со своим возлюбленным. Кроме того, она боялась, что, движимый честолюбием, подстрекаемый гордостью, обуреваемый другими страстями, Фаустино может почувствовать к ней отвращение сразу, как только станет законным супругом.

Все это заставляло Марию отбросить планы о замужестве.

Но теперь она могла смело предложить свою руку умирающему. Она позвала отца Пиньона и сказала ему о своем решении.

Отец Пиньон, воздав молитвы всевышнему, исповедал своего земляка и друга и отпустил ему грехи.

Через несколько часов дон Фаустино причастился, и в присутствии свидетелей — дона Хуана Свежего из Вильябермехи, доктора Кальво, Респетильи, доньи Канделярии и Ирене — отец Пиньон с разрешения епископа обвенчал дона Фаустино с Марией. Так, сопровождаемая всеобщим плачем, состоялась эта печальная свадьба.

---

<sup>1</sup> Смерть от сопутствующего воспаления легких (лат.).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Судьбе, или, вернее, небу, в своих неисчислимых делах милосердия было угодно, чтобы, против всяких ожиданий, против всех научных предсказаний, дон Фаустино выздоровел. Когда миновал кризис, вызванный воспалением плевры и части легкого, рана быстро закрылась и зарубцевалась как нельзя лучше. Выздоровление было быстрым и полным.

Через шестнадцать месяцев после печальной свадьбы, то есть в октябре следующего года, никто уже и не вспоминал о длительной и опасной болезни. Забылась и сама причина ранения.

Тем временем дон Фаустино из мелкого, безвестного чиновника превратился в человека весьма заметного. Его богатство, вернее — богатство его жены и дочери, служило ему роскошной оправой, в которой блистали его достоинства и таланты.

В свои сорок пять лет он выглядел совсем молодо: был строен, а благодаря светлым волосам седины не было видно. Одевался он элегантно и просто.

Когда он с прелестной своей дочерью совершал прогулку верхом на отличных английских лошадях — оба были прекрасные наездники, — то публика смотрела на них с нескрываемым восхищением.

Их роскошный дом был открыт для людей избранных и почитаемых, среди которых дон Фаустино пользовался славой большого поэта и даже ученого.

Росита, в душе которой жалость к униженному Фаустино приглушила было чувство ненависти, теперь переживала приступы зависти, увидев его счастливым и преуспевающим. Особенно трудно ей было примириться с триумфом своей ненавистной соперницы, дочери бандита, Марии Сухой.

Но у большинства людей симпатия и доброе расположение к семье капиталиста из Вильябермехи дона Хуана Фернандеса брали верх над завистью к ее богатству и благополучию ее членов. Постоянные разговоры Роситы о том, что Мария — дочь разбойника, не только не нанесли ей ущерба, но, напротив, окутывали ее образ романтической дымкой. Все восхищались ее умом, благородством, все поражались тому, как она, женщина низкого происхождения, сумела выбраться из грязи, которая ее окружала, и выйти из нее чистой, без единого пятнышка, если



не считать, конечно, опрометчивого поступка в молодости, когда она отдалась дону Фаустино, движимая неодолимой любовью к нему. Но люди благородные прощали ей и это, стоило им только увидеть Ирене, чья красота, чистота, ясный ум не могли не вызвать восхищения.

Причем девушку обожали не только мужчины, но даже женщины, которые особенно ценили ее за полное отсутствие кокетства: она не была для них опасной соперницей.

Мать ее сохранила красоту, но ее суровые моральные принципы, воспоминание о своем грехе, мысли о преступной жизни и трагической смерти отца лишали ее той мягкости, жизнерадостности, приятности в обращении, которые и составляют главное очарование женщины, с помощью которых она привлекает, пленяет и очаровывает мужа или возлюбленного. Ее любовь к дону Фаустино сделалась еще более возвышенной, сильной, истовой. Она не оставляла места веселью, ласке, забаве. Это была суровая, умозрительная, почти неземная, жертвенная, исступленная любовь — дар Афродиты Урании, а не Афродиты Пандемос.

Кроме того, здоровье Марины было сильно расстроено. В присутствии посторонних ей удавалось держаться спокойной и приветливой, не обнаруживая никаких странностей, но, оставаясь в кругу своих, она часто впадала в какое-то экстатическое состояние, и тогда всем казалось, что мысль ее витает где-то далеко-далеко и она никого не видит и не замечает. Даже мужу она не осмеливалась рассказывать о своем состоянии. Она часто воображала, что беседует с другими душами, видела себя в других обликах, словом — проявляла признаки того, что называют сомнамбулическим озарением. Печальные предчувствия тревожили ее сердце, часто она не могла подавить невольные вздохи, беспричинные слезы то и дело туманили ей глаза.

И все же доктор Фаустино продолжал нежно любить Марию. О его любви к Ирене и говорить не приходится. Но он не был счастлив. Все чаще у него мелькала мысль — почему он не умер в тот самый день, когда дал свое имя дочери.

У него было все: лошади, экипажи, роскошный дом, полный достаток, деньги. Всем этим он был обязан щедрости донна Хуана Свежего, а не своему уму и таланту. От этого он испытывал стыд и смущение. Ужасный вопрос: «На что я годеи?» — постоянно мучил его, а ответ: «Я ни на что не годеи» — убивал.

Его честолюбие, еще более расpalенное и еще менее удовлетворенное, чем всегда, непрерывно терзало его. Время еще не совсем упущено: можно было удовлетворить честолюбивые мечты. Он свободен теперь от денежных забот и может творить поэзию, философствовать, писать, принимать участие в политической жизни, сделаться депутатом. Но он боялся за что-либо браться: в случае неудачи оправданий не будет, зато разочарование будет жестоким и полным.

Вера в бога, осенившая дону Фаустино во время болезни, когда он был на пороге смерти, утешила его, но теперь снова покинула его душу. Прежние сомнения овладели им. Само обретение веры он объяснял теперь немощью, упадком физических сил, голодной диетой, высокой температурой.

Но между тем как его критический ум и диалектические рассуждения толкали его к сомнению и отрицанию, его эмоции и поэтические фантазии поставляли ему тысячи систем, доктрин и теорий, которые могли оказаться — он хотел и боялся этого — истинными. И тогда где-то в глубине своей души он различал бесконечное, божественное, абсолютное, то есть то, чего он жаждал, и ему казалось, что это божественное разлито во вселенной и дает ей жизнь и гармонию. Словом, доктор Фаустино был и мистиком и теософом, хотя не проявлял последовательности и решительности ни в том, ни в другом.

Будучи рационалистом, он не мог без сожаления и насмешки относиться к галлюцинациям своей жены. Души и прошлые существования не вызывали у него доверия. Но в то же время ее горячая вера во все это нарушала спокойствие его духа. Ведь и сам он иногда во сне, в полудреме, а то и наяву, когда нервы были напряжены и возбуждены, видел и жену и перуанскую принцессу слитыми в единое существо. В эти минуты он воображал себя перуанским воином, влюбленным в это существо. Тогда он видел, что Мария далеко опередила его по пути к духовному совершенству, а он отстал от нее, хотя она протягивает ему руку, хочет увлечь за собой, подбодрить, растормошить, заставить смелее двигаться в заоблачные выси, чтобы обрести там покой и благоденствие.

При свете дня, когда нервы были спокойны, а ум ясен, доктор посмеивался над всем этим бредом, полагая, что все безумства передаются ему от его полубезумной жены.

Жизнелюбие дона Хуана Свежего, его веселые шутки, сыпавшиеся особенно обильно после вкусного обеда и доброго вина, его ясный ум, который стремился все разложить по полочкам, твердость его принципов, сноровка и уверенность, с которыми он приумножал свои богатства и управлял имением, были неприятны дону Фаустино. Доктор несколько ему не завидовал, но часто его поругивал и вообще ставил не очень высоко.

Дон Хуан Свежий прекрасно понимал, что это добром не кончится, но выхода не видел, а только старался отсрочить беду и готовился встретить ее как неизбежность.

Давняя слабость дона Хуана к своим землякам бермехинцам побудила его пригласить Респетилью погостить месяц в Мадриде. В прошлый раз из-за болезни дона Фаустино он ничего не сумел посмотреть толком. Теперь дону Хуану доставляло большое удовольствие быть его чичероне. Он заказал ему платье у лучшего портного, купил цилиндр, который Респетилья называл то снопом, то корзинкой, то колодой, то ульем. Дона Хуана забавляло то изумление, с которым Респетилья узнавал новые для него вещи, и как он относился к этой новизне. Ему очень понравился, например, музей естественной истории, дворец показался ему слишком громоздким, а музей живописи не произвел ровно никакого впечатления. Больше всего ему полюбились бой быков и танцы в пьесе «Потомок Синей Бороды и Брахмы». Особенно его восхитили стройные девушки в совсем легких нарядах, бенгальские огни, Синий Борода со своей свитой, китайские зонтики и дракон. Но больше всего, конечно, девушки. Надо сказать, что Респетилья был давно женат на прежней горничной Роситы Хасинтике и прижил с нею девять детей-погодков. Он очень любил жену, побаивался ее и даже в мыслях боялся ей изменить. Вот и теперь, проявив повышенный интерес к этим самым девочкам, он сразу мысленно представлял себе разгневанную супругу, мечущую грома и молнии против балерин и облачающую их, словно Катон или знаменитый анахорет четвертого века, славившийся своей суровостью.

В доме своих господ Респетилья увидел прежнюю свою любовь Манолилью. Он немало удивился, что она звалась теперь Этельвиной, и испытывал некоторую гордость от того, что некогда знал с этой важной дамой. Наряды доньи Этельвины, белила и румяна, которыми пользовались Лаис, Таис и прочие гетеры Коринфа, Афин и Ми-

лета, духи, которыми она теперь душилась — это был уже не «Оппонакс», а более дорогой «Stephanotis» — поразили Респетилью, и он смотрел на свою прежнюю подругу, открыв рот от удивления.

Уважай-Респетилья уважительно и почтительно отнесся к донье Этельвине, но из еще большего уважения к незримо присутствующей Хасинтике, матери девяти его отпрысков, не осмелился переступить границы дозволенного и ограничился только тем, что отпустил несколько шуток по адресу шикарной модистки, которая в конце концов, поддавшись воспоминаниям о юных годах, взволнованная неожиданной встречей с бывшим своим кавалером, облаченным в сюртук и «корзинку», если не совсем размякла, то была близка к этому.

Справедливость требует признать, что дон Фаустино не проявил той стойкости по отношению к Констансии, которую его старый слуга проявил по отношению к Этельвине. Это его поведение можно назвать предосудительным и малопорядочным. Чистейшую, неземную любовь, на которую подбивала его Констансия, он приберег для жены и для своей благочестивой дочери. Маркиза де Гуадальбарбо разбудила в его сердце бурю страстей и привела чувства дона Фаустино в полное смятение. Новые препятствия, возникшие на пути Констансии, раздражали ее. Ревность и зависть к счастливой Марии подогревали ее любовь к кузену. Теперь она мечтала не о тихой идиллии, а о настоящей страстной, драматической любви. Констансия, как говорится, сорвалась с тормозов и, проявив много хитрости и изобретательности, сумела устроить свидание с доном Фаустино в таком месте, о котором, как она полагала, никто не мог знать.

Маркиз де Гуадальбарбо с завидным упрямством продолжал верить в добропорядочность своей жены — жил беспечно и забыл о всякой бдительности. Но Констансия, паученная уже горьким опытом, приняла теперь строгие меры предосторожности, с тем чтобы даже записные сплетники, падкие до скандальных происшествий, не могли ничего пронюхать.

С того самого времени, когда начались тайные свидания с Констансией, дон Фаустино стал тяготиться Марией и держался с ней крайне неуравновешенно. Он обвинял себя за непорядочность, стыдился двойной игры, считал себя низким и неблагодарным человеком. Теперь он еще больше страдал от своей бедности и бездарности и

еще больше тяготился щедростью и великодушием дона Хуана Свежего.

Сомнамбулическое озарение и повышенная чувствительность Марии не помогали ей в данном случае: она не открыла постыдной тайны своего мужа. Будучи влюбленной, она, как ей казалось, понимала самые сокровенные тайны его души, но в ней было так много этой любви, так много доверчивости, так сильно было ее уважение к мужу, что все представляло перед нею прекрасно преображенным, в розовом свете: она не замечала ни уродливого, ни безобразного. Все огорчения и печали мужа она приписывала его уязвленному самолюбию: ведь действительно он мог чувствовать себя униженным, сознавая, что беден и вынужден пользоваться чужим богатством. И она прибегала ко всяким ухищрениям, чтобы подбодрить его, деликатно внушить надежду на удачное завершение всех его начинаний, заставить поверить в собственные силы, в то, что он сам добьется могущества и славы, но, главное, убедить его в том, что в ее глазах он так славен, так велик, так преисполнен достоинства и совершенств, что не нуждается ни в победах, ни в триумфах, ни в чужих аплодисментах.

Благородство Марии еще больше угнетало дона Фаустино и вызывало угрызения совести. Однако дьявольские чары Констансии значили теперь для него больше, чем все остальное. Он любил, уважал, обожал Марию, как существо святое, доброе, ясное, чистое, но, захваченный вихрем любовных чувств, сатанинским тщеславием и гордостью, домогался Констансии. К тому же червячок ревности точил его: он боялся, что если оставит кузину, то она с досады может полюбить кого-нибудь другого.

Так могло продолжаться бесконечно долго, отношения доктора с Констансией никогда бы не открылись, если бы не Росита. Это был хитрый, коварный враг, смертельно ненавидевший дона Фаустино и его жену.

Росита полностью заарканила бесстрашного генерала Переса и безраздельно им командовала. Она поработила славного завоевателя и превратила его из льва в ягненка. Росита иногда советовалась с ним по поводу платьев, нарядов и украшений, зато генерал Перес непременно советовался с нею по политическим делам. От Роситы зависели теперь судьбы министерства; она решала, состоится ли очередной военный переворот, изменится ли конституция или даже форма правления. В Испании армия могла сделать все, генерал Перес все мог сделать с армией, а Ро-

сита — с генералом Пересом. Усвоив эту словесную параболу, Росита не без оснований считала, что все в конечном счете зависело от нее. Аспазия легко управляла деятельностью своего Перикла.

Всесильная Росита уже много лет не могла забыть оскорбление, которое нанес ей доктор Фаустино; оно развело ей душу, как проказа. Мысль о счастливой сопернице тоже не давала ей покоя.

Генерал не имел секретов от Роситы и поведал ей однажды о том конфузе и афронте, который вынужден был пережить от Констансии и от доктора, хотя он не собирався ни унижать маркизу, ни смеяться над ней.

Проведав о любовных отношениях Констансии и дона Фаустино и полагая, что они зашли слишком далеко, — что не соответствовало действительности, — Росита приняла слежку и делала это настойчиво, изобретательно и осторожно. Она узнала, что донья Этельвина когда-то служила у Констансии, и решила, что наперсницей и посредницей в такого рода делах могла быть именно она. Росита сообразила также, что хотя донья Этельвина была продувной бестией, все же вряд ли удастся подбить ее на измену своей госпоже. Она и не стала так делать, а выбрала для этой цели ее главную помощницу и подругу сеньориту Аделу, которая часто приходила к ней с готовыми заказами, когда сама донья Этельвина была занята.

Расположив к себе сеньориту Аделу подарками и поощрениями, донья Росита стала получать сведения обо всем, что происходило в доме Этельвины. Минуло более года, но Росита не могла выяснить самое существенное. В конце концов дьявол оценил и вознаградил ее труды.

Сеньорите Аделе все же удалось сделать важное открытие: маркиза де Гуадальбарбо приходила в дом Этельвины либо очень рано утром, либо вечером, но не поздно, и там встречалась с доктором.

Не считаясь с расходами, Росита подкупила сеньориту Аделу, попросив устроить так, чтобы некое лицо попало в дом Этельвины и из тайного убежища могло наблюдать встречу любовников.

Затем дочь ростовщика-нотариуса отправила Марии анонимное письмо, в котором сообщала об измене мужа и великодушно предлагала способ убедиться в этом лично.

Пришел день, час и самый момент свидания, о чем сеньорита Адела заранее сообщала.

Констансия жаловалась, что доктор мало ее любит, холоден с нею, ревновала его к Марии, утверждала, что он любит ее меньше, чем Марию.

Опьянев от многообещающих нежных взглядов, будучи ослеплен и заворожен изяществом, кокетливостью, светскостью, неуязвимой молодостью кузины, дон Фаустино стал уверять, что он уважает свою жену, но совсем ее не любит и почти ненавидит.

Сделав это ужасное признание, он заключил кузину в объятия.

И тут ему почудилось, будто он слышит чей-то приглушенный безутешный плач, который острой болью отозвался в его сердце.

В испуге он отпрянул от Констансии, обыскал комнату, но никого не обнаружил; открыл входную дверь — никого; быстро прошел в соседнюю комнату, откуда был выход в коридор, но и там было пусто, а дверь в коридор заперта на ключ; расспросил донью Этельвину, кто был еще в доме; та отвечала, что кроме Аделы — никого, остальные девушки уже давно ушли, и прибавила, что сеньорита Адела — человек верный, надежный и не из тех, что плачут и вздыхают по пустякам. Донья Этельвина позвала сеньориту Аделу, и та сказала, что в дом никто не входил, что она сама следила за этим и что все слуги отправлены на кухню, чтобы ни о чем не пронюхали.

Констансия никакого плача не слышала и отнесла это за счет расстроенного воображения доктора. Тот в конце концов успокоился.

С того самого дня печаль Марии стала еще более глубокой и неизбывной. Хотя доктор не слышал от нее ни единого упрека, он понимал, что ей все известно. Несмотря на свой скептицизм, он не мог подыскать этому естественного объяснения и вынужден был признать, что духовная прозорливость Марии, очевидно, не пустяк: надо полагать, что действительно дух Марии, отделившись от тела, витает, где ему вздумается: так он может проникнуть сквозь любые стены и забраться в любое место. Приглушенный плач, который слышал доктор и не слышала Констансия, был криком раненой души, вырвавшимся у Марии как раз в тот момент, когда он произносил чудовищную фразу о том, что почти ненавидит ее.

Она знала теперь ужасную правду, и он не мог ни утешить ее, ни оправдаться перед нею.

Чтобы как-то загладить свою вину, доктор стал более ласков с женой, более внимателен к ней, но избегал всяких объяснений. Мария делала вид, что ничего не знает об измене.

Кончилось тем, что Мария тяжело заболела и слегла в постель. Она чувствовала боли в сердце, крайнюю слабость и усталость. Грудь теснило, появилось головокружение, внутри все сжималось, мучили непрерывные кошмары, пульс был слабый, неровный, учащенный, дыхание затрудненное, прерывистое. Во время болезни красота ее стала еще более одухотворенной. Хотя в волосах появились седые пряди, глаза сделались более живыми и блестящими, а на щеках появился лихорадочный румянец.

Сердце порой колотилось так сильно, что казалось, будто вся грудь сотрясается от его мощных, гулких, неровных ударов; иногда оно почти останавливалось, и тогда больная впадала в обморочное состояние. При этом разум ее оставался ясным, словно какое-то чудодейственное пламя озаряло его.

Доктор Кальво прописал покой, укрепляющее питье, горчичники к ногам. Из гомеопатических средств он назначил *ignatia*, *pulsatila* и фосфорную кислоту. Слабое состояние больной делало, по его мнению, противопоказанными кровопускание и пиявки. В конце концов он должен был сказать дону Хуану, что болезнь неизлечима и остается только уповать на волю божью.

Мрачные предсказания доктора сбывались, и Мария как добрая христианка исповедалась, причастилась и ждала своего часа. Дочь и дядя, стоявшие подле нее, едва сдерживали рыдания.

Дон Фаустино стоял на коленях у ее изголовья, мрачный, печальный, молчаливый, с сухими глазами. Он не решался взять руку умирающей и не осмеливался смотреть на нее. Охваченный стыдом и ужасом, он не поднимал на нее глаз.

Мария сделала последнее усилие и одарила мужа такой ангельской улыбкой, таким добрым и нежным взглядом, что и он посмотрел на нее глазами, полными благодарности и раскаяния. Сделав еще одно усилие, Мария протянула ему руку, он взял ее и благоговейно поцеловал. И слезы, которые кололи его внутри, как острые ледышки, растаяли, потекли из глаз и оросили руку Марии.

Слабым и тихим голосом, так, что только он один и мог ее слышать, Мария сказала:



— Я все знаю. Все видела. Все слышала. Я слышала, как ты сказал, что ненавидишь меня, но не могла и не могу этому поверить. Ты сказал это в припадке безумия. Я прощаю тебя. Я люблю тебя. Благословляю тебя. Люби меня. Не терзай себя, не вини. Живи для нашей дочери. Она чиста и благородна — ангельская душа. Это нить, которая связывает наши души. Живя для нее, ты будешь жить и для меня. Она соединила нас прочно, как никогда. Наши брачные узы вечны, и они не должны порваться. Я жду тебя там...

И не было больше ни вздохов, ни судорог, ни конвульсий: дух Марии тихо и покойно, не причиняя ей ни боли, ни страдания, словно покидая плен и обретая свободу, покинул ее прекрасное тело и отлетел в лучший мир.

Усталое сердце не выдержало. Сначала оно ровно расширилось, движимое прощением, но у него не хватило сил сжаться и послать кровь по артериям. Бег крови остановился навсегда.

Дон Фаустино еще слышал чарующий любимый голос, который его прощал и благославлял, вселяя в его душу новые надежды, и тогда он подумал о боге, который простит его, ибо он сам добьется прощения, потому что уже видит путь к совершенству, и у него появилась уверенность, что он мужественно одолеет все препятствия и вступит на утерянную было дорогу истины.

Но Мария умерла, голос ее угас, потух факел, который мог осветить ему путь, и прежние сомнения стали одолевать доктора Фаустино.

«Если я совершил низкий поступок, если я низкий человек, то я буду винить и корить себя вечно, если жизнь вечна. Это будет сущий ад, от которого нет спасения. Если я буду существовать как личность, как индивидуум, то вместе со мной пребудет и эгоизм, который есть сущность моей личности. Нет, это невозможно! Все дурное, эгоистичное, нечистое непременно должно умереть. И пусть останется на веки вечные только то, что составляет лучшую часть нас самих. Марии был чужд эгоизм, вся она — преданность и самопожертвование. Так же, как когда-то она стала моею, так она приняла и смерть: самозабвенно, всем существом. Какая часть ее души будет пребывать там? Вся, целиком. Такой принял ее бог в свое лоно. Она слилась с вечным, абсолютным, божественным».

Потом доктор сухими глазами пристально смотрел на труп Марии. Это была еще прекрасная женщина, и он

подумал о том, как будет распадаться, разлагаться ее красивое тело в вонючей, гнилой жиже. Внезапная нервная дрожь была ответом на эти жестокие мысли, не смягченные верой.

И доктор разразился ужасным смехом.

Дочь и дон Хуан бросились к нему. Но было уже поздно. Доктор устремился в спальню. На комод лежал револьвер. И раньше, чем кто-либо успел удержать его, он вставил дуло в рот, прижал к небу и спустил курок.

Дон Фаустино бездыханный упал на пол. Смерть наступила мгновенно.

Ирене, стоя на коленях и возведя глаза к небу, молилась за всех.

Дон Хуан Свежий был потрясен, ошеломлен и совершенно убит случившимся, несмотря на все свое жизненное.

Ирене, пораженная в самое сердце, пережив весь этот ужас, потеряв всякий интерес к мирской жизни, нашла утешение в молитвах. Душа ее была отдана теперь богу; от эфемерной, фальшивой жизни она ничего уже не ждала, кроме огорчений. Серафинито мало сказать любил Ирене — обожал ее. Он был теперь в Мадриде, где изучал право. Ирене любила его как брата.

Ни глубокая печаль славного юноши, ни просьбы и увещевания дон Хуана не могли отвратить девушку от принятого решения.

Через два месяца после смерти отца дон Хуан и Серафинито отвезли ее в Авила, где она стала монахиней монастыря святого Иосифа, основанного святой Тересой. После посвящения и пострига она вступила в орден босых кармелиток, без сожаления сменив блага и наслаждения мирской жизни на суровую епитимью.

Такова печальная история, которую поведал мне дон Хуан Свежий в отсутствие Серафинито — он не хотел расстраивать молодого человека.

Мораль, которую дон Хуан извлекал из этого рассказа, состояла в том, что нынешнее воспитание порождает множество людей тщеславных, заносчивых, честолюбивых, начиненных абсурдными планами — он и называл

их иллюзиями, — ни во что не верящих и ни на что не способных, ни на добро, ни на зло.

— В наше время, — часто говорил он, — полным-полно докторов Фаустино.

*Terra malos homines nunc educat atque pusillos*<sup>1</sup>.

Так сказал древний-поэт сатирик.

Однако, когда разговор заходил о доне Фаустино, дон Хуан всегда присовокуплял — то ли из любви к нему, то ли это было действительно так, — что доктор по природе своей был благороднейшим и добрейшим человеком, но воспитание и среда испортили его.

Однажды, когда мне довелось быть в Вильябермехе, дон Хуан повел меня в местную церковь. Отец Пиньон, живой-здоровый, радушно нас принял и показал мне все достопримечательности.

Мы немного постояли около серебрянной фигурки святого покровителя Вильябермехи, о котором говорят, что «сам он с огурец, а чудес творит на тысячу дьявольских сил». Среди даров, которыми уставлен алтарь, отец Пиньон показал мне восковую фигуру дона Фаустино. Это был дар по обету кормилицы Висенты, утверждавшей, что не кто иной, как святой покровитель, спас доктора от смерти после дуэли.

— Худое чудо сотворил святой, если он это сделал, — сказала мне дон Хуан. — Было бы лучше, если бы он умер тогда же!

— Сеньор дон Хуан, — возразил на это отец Пиньон, — не говорите глупостей. Если этого не сделал святой, то это сделал бог, и то, что им сделано, — сделано: ведь нам недоступны истинный смысл и намерения всех его деяний.

На другой день мы посетили родовой дом Лопесов де Мендоса.

Там я увидел портрет перуанской принцессы, которая, как утверждает дон Хуан, похожа на Марию.

Респетилья, Хасинтика и девять их отпрысков счастливо живут-поживают в первом этаже. Второй отдан воспоминаниям. Здесь все комнаты заперты, проникают туда разве что духи. Духам нравится бродить там, где они жили смертной жизнью, любили и умерли.

<sup>1</sup> Скверных и ничтожных людей порождает ныне земля (лат.).

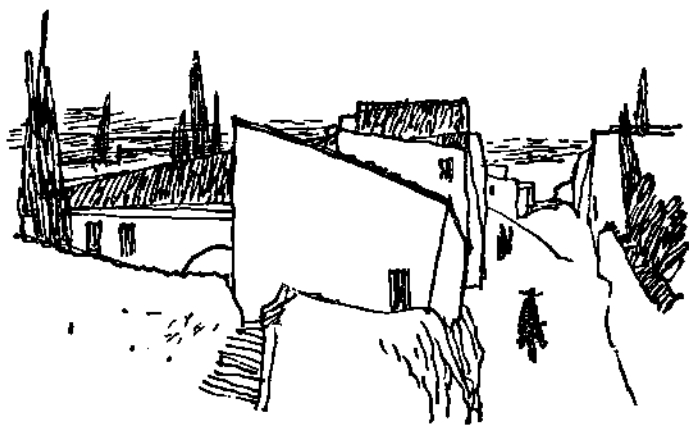
В одной из комнатшек нижнего этажа поселилась кормилица Висента. Она живет воспоминаниями о вскормленном ею дитяте, доне Фаустино. Только этим и живет.

Как дорогие реликвии нянька хранит в сундуке и докторскую мантию, и шапочку с кисточкой, и мундир капитана копейщиков, и костюм члена клуба верховой езды.

Я внимательно осмотрел эти доспехи. Кормилица Висента, уступив нашим просьбам, с гордостью показала их нам.

Дон Хуан Свежий, непримиримый враг иллюзий, вздохнул и затем без тени иронии сказал:

— Предметы эти, лежащие здесь, символизируют гибель моего двоюродного племянника. Докторское облачение символизирует тщеславие ученого, ученый педантизм и неверие во все то, что является здоровой и нормальной человеческой энергией; мундир национального гвардейца — символ той мешанины, которую мы делаем из подлинной свободы и произвола, мятежей, беспорядков и всяких коловращений; костюм кавалера Ронды символизирует манию величия, которая рождает леность, расточительство, неспособность к труду и свидетельствует о непонимании того, что приносит нации богатство и процветание.



## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я колебался, писать или не писать мне это послесловие к настоящему изданию. Как видите, я решился его написать после того, как первое разошлось, несмотря на то, что суровые критики называли книгу плохой, сочли, что я не романист и никогда им не стану. Не буду с ними спорить. Больше того — скажу, что мне все это неважно, как неважно и то, читают мою книгу или не читают, хорошо ли она расходуется или нет.

Цель моей приписки в другом.

Хотя в «Иллюзиях доктора Фаустино», кажется, все ясно, находятся умы столь изощренно тонкие, что наводят тень на ясный день, и поневоле приходится прибегать к объяснениям и пояснениям, если не хочешь, чтобы тебе приписывали то, чего у тебя и в мыслях не было.

Сочиняя повести, рассказы и прочее — если уж нельзя назвать их романами, — я не стремился ничего доказывать. Если бы я захотел что-то доказывать, я написал бы, очевидно, ученый трактат. Моим намерением было нарисовать картину нравов и страстей нашей эпохи, дать достоверное художественное изображение человеческой жизни. Если это полотно или изображение мне удалось сделать хорошо, то, я надеюсь, читатель может извлечь из него не одно, а целый ряд полезных поучений. Но все же главная цель художника состоит в создании картины, а не в поучении. Никто не станет отрицать, что для создания художественного полотна необходимо найти и изучить прототипы. Однако задача художника не заключается в слепом их копировании. Ни в коей мере.

Весь сюжет, плохо ли, хорошо ли он придуман, — целиком мое изобретение. В нем нет ничего документально подлинного или исторически достоверного. Персонажи тоже выдуманы мною.

Вильябермеха — это утопия, то есть место, которого нет, и для придания ей подлинного колорита, черт реального местечка я собрал характеристические приметы и признаки разных реальных местечек, которые я знаю и в которых я жил. По моему скудоумию я полагаю, что художник должен поступать именно так. В противном случае его творение окажется пустым, никчемным и неинтересным. К реальным чертам и черточкам я прибавил от себя все то, что считал нужным для развития сюжета романа.

Прозвища не имеют никакой прелести и звучат фальшиво, если они не народные. Нужно, чтобы их изобрел или по крайней мере принял сам народ. Признаюсь поэтому, что Уважай-Респета, Уважай-Респетилья, Жандарм-девицы, дон Хуан Свежий — не мое изобретение: у меня не хватило бы на это выдумки. Подчеркну, что действующие лица моего повествования, наделенные этими прозвищами, ни по поведению, ни по поступкам, ни по превратностям судьбы не имеют ничего общего с реальными лицами, которые могут носить сходные прозвища.

Точно так же в моих романах я поступаю с именами и фамилиями. Все из-за того же стремления следовать правде в мельчайших деталях. Например, Пепе Гуэто и дон Асискло — очень распространенные имена у нас на родине; сделав мать дона Фаустино знатной дамой из Ронды, я дал ей фамилию одного из самых знатных семейств этого города — Эскаланте; по тем же соображениям дон Карлос в романе «Командор Мендоса», будучи уроженцем Ронды, носит звучную и известную в городе фамилию Атиенса. Поскольку ни дон Карлос, ни донья Ана не совершают у меня ничего предосудительного, то, полагая, никаких недоразумений произойти не может оттого, что я наделил их этими фамилиями.

Подобным же образом я распорядился титулами: я не величаю моих героев ни графом де Прадо-Амено, ни маркизом де Монте-Альто, а подыскиваю имена по хорошо знакомым у нас в провинции названиям местностей вроде Фахалауса, Хенасаар и Гуадальбарбо.

Не отрицаю: мои романы насыщены всякого рода анекдотами и подлинными житейскими случаями. Я полагаю, что чередование истинных происшествий с выдумкой делает художественную выдумку правдоподобной. Несколько грубая шутка, которую священник Фернандес проделал с епископом в Пенья-де-лос-Энаморадос, — чистая правда, хотя в действительности ее творцом был другой священ-

ник, которого я хорошо знал; обстоятельства смерти Хоселито Сухого — точно те же, что и обстоятельства смерти знаменитого разбойника Капаррота, которые в Андалусии всем хорошо известны; месть, которую Хоселито учинил алькальду, как и месть сына алькальда, учиненная разбойнику Хоселито, с некоторыми измененными подробностями, которые я счел нужным ввести, — это история, неоднократно слышанная мною у нас в семье: мои родные сами видели, как сын алькальда входил в Карратаку с горсткой оставшихся в живых бандитов, и утверждали, что все они заросли бородами, так как поклялись не бриться до осуществления акта мести.

Хочу сказать несколько слов о женских персонажах моих романов. Некоторые критики считают, что большинство женщин, выведенных мною, — это синие чулки, которых нет в наших деревнях, другие, хотя и не спорят со мною, что таковые имеются, утверждают, что написал я их портреты без должного уважения и выставил на всеобщее обозрение без согласия прототипов. Ни то, ни другое неверно. Разумеется, в наших андалусийских городках и селениях могут быть, да и есть женщины, которые являют собой образец ума и женского обаяния. Чтобы обладать этими достоинствами, не обязательно родиться в Мадриде. Так, например, из маленького городка, названия которого я не буду упоминать, — именно из того, где воспитывалась Констансия и любезничала у садовой решетки с доном Фаустино, — в столицу приехали по меньшей мере три женщины из числа нашей местной аристократии, которые блистали и блещут там и красотой, и умом, и вообще всем. Конечно, Констансия, кроме того, что она тоже умна и красива, кроме того, что она подтверждает мое суждение о том, что провинция тоже рождает элегантных и знатных дам, ничем не похожа на тех милых, очаровательных своих компатриоток: ни характером, ни поведением. Об этих трех дамах я упомянул лишь затем, чтобы лишний раз показать верность моим художественным принципам. Я не поступаю так, как делают иные писатели: берут важную даму из Мадрида, везут ее в деревню и помещают в непривычную для нее среду. Так делали когда-то греческие и французские поэты: переодевали в пастушек знатных дам Александрии, Парижа или Версаля.

И, наконец, о главном герое моего романа, о докторе Фаустино. Мне кажется, что среди моих персонажей этот образ наделен высшей эстетической правдой, и в то же

время у меня нет другого героя, который был бы так на-  
чисто лишен исторической подлинности.

Хотя я не большой поклонник всяких символов и алле-  
горий, должен все же признать, что доктор Фаустино —  
персонаж, имеющий некий символический и аллегорический  
смысл. Как личность он представляет все современное  
поколение: это доктор Фауст в миниатюре, но без магии,  
без дьявола, без прочих сверхъестественных сил, к помощи  
которых прибегал гётевский Фауст. Он представляет со-  
бой сплав из пороков, честолюбия, фантазий, скептицизма,  
безверия, похоти и т. д., которыми заражена молодежь  
моего времени. В нем одном я соединяю три типа, или три  
ипостаси, в которых является человек нынешнего поколе-  
ния и определенного класса, если можно назвать классами  
группы людей по признаку, носят ли эти люди сюртук или  
пиджак. Его душой владеют тщеславие ученого, честолю-  
бие политика и кичливость аристократа. Теперь я знаю,  
что есть люди лучше его, но я не стремился к описанию  
жизни святого. Я знаю также, что есть люди еще более  
смешные, чем он, но я не собирався писать ни комический  
роман, ни фарс. Я знаю, что есть люди в тысячу раз по-  
рочнее его, но если бы я сделал его таким, он лишился  
бы тех черт комичности, восторженности и привлекатель-  
ности, которыми он должен обладать по моему замыслу,  
и совершенно необходимых для развития сюжета моего  
романа (в моем понимании этого жанра литературы —  
замечу для критиков). Дон Фаустино замыслен мною  
таким, каков он есть, и не мог быть иным. Фауст велик,  
но он более эгоистичен, более порочен, более грешен.

В общем, независимо от того, что захотят думать о мо-  
ральной ценности моего героя (или, лучше сказать, что  
взбредет в голову тем, кто не видит самих себя и потому  
считает себя образцом добродетели), подчеркну: для того  
чтобы описать душевные переживания этого героя и со-  
средоточить внимание на его внутренней жизни, я должен  
был заглянуть в глубины души моих друзей и моей собст-  
венной и проанализировать любовь, разочарования, стра-  
сти и иллюзии.

Думаю, что этот анализ — извините за нескромность —  
сделан трезво, спокойно, разумно, хладнокровно, что де-  
лает его достойным самого дона Хуана Свежего. В этом  
состоят не только литературные достоинства, но и мораль-  
ная ценность, отличающая, как я полагаю, мой роман.



Физические болезни и уродства не избываются вследствие того, что их видят и распознают, но для болезней души видеть и распознать — значит найти и средство для их лечения. Если к тому же это распознавание силой поэтического воображения преподносится в художественной форме, то можно считать, что болезни почти излечены. Может быть, людям высокомерным, тем, кто не находит в себе ни одного порока, свойственного доктору Фаустино, его история покажется отвратительной как в литературном, так и в моральном смысле, но, несмотря на это, я снова осмеливаюсь обратиться к снисходительному суду просвещенной и беспристрастной публики.

## **ПРИМЕЧАНИЯ**

Стр. 13. *Графиня Трифальди* — персонаж из романа Сервантеса «Дон Кихот» (т. II, гл. XXXIX).

*Освобожденная Святая* — святая Инес (Агнесса). Хуан Валера пересказывает здесь известную христианскую легенду; когда сын римского претора Симфрония пытался совершить насилие над христианкой Агнессой, на ее теле выросли волосы, которые покрыли ее как платьем. Эта легенда послужила также темой для картины испанского художника Хусепе Риберы (1591—1652) «Святая Инес».

*Мартинес де ла Роса* Франсиско (1789—1862) — испанский писатель и политический деятель; дважды занимал пост председателя совета министров и был послом в Париже и в Риме.

*Цинциннат* Луций Квинций (род. около 519 г. до н. э.) — римский политический деятель, большую часть своей жизни провел в деревне. У древних римлян считался образцом доблести и скромности.

Стр. 15. *Луис де Варгас и Пепита Хименес* — герои романа Хуана Валеры «Пепита Хименес» (1874).

Стр. 19. *Касик* — здесь: человек, пользующийся неограниченным влиянием в испанской деревне.

Стр. 20. *Война за независимость* — борьба против французского нашествия, которую Испания вела с 1808 по 1813 г.

*Фердинанд VII* — испанский король (1814—1833). Годы его правления вошли в историю Испании как одна из самых реакционных эпох.

*...сложил оружие и полномочия предводителя отряда патриотов.* — Во времена войны за независимость патриотами называли участников партизанского движения, боровшихся против французов.

*Канья* — андалусийская народная песня.

**Фанданго** — андалусийский народный танец, а также слова, которые поются на его мелодию.

Стр. 21. **Вириат** — вождь лузитан, народа, жившего на территории Пиренейского полуострова. В 150 г. до н. э. возглавил восстание лузитан против власти Рима.

**Фома Аквинский** (1226—1274) — средневековый философ-схоласт.

**Кондильяк Этьен-Бонно де** (1715—1780) — французский философ-сенсуалист.

**Сенсуалисты** — последователи сенсуализма, философского учения, которое считает ощущения единственным источником познания.

Стр. 22. **Синдбад-мореход** — персонаж из книги арабских сказок «Тысяча и одна ночь» (ночи 536—566).

Стр. 27. **Рама и Кришна** — божества индуистского пантеона. Подвиги Рамы описаны в древнеиндийской эпической поэме «Рамаяна».

**Эней** (ант. миф.) — сын троянского царя Приама. О странствиях Энея после Троянской войны рассказано в поэме Вергилия «Энеида».

**Улисс** (рим. миф.; в греческой мифологии — Одиссей) — царь острова Итаки, участник Троянской войны, герой эпических поэм «Илиада» и «Одиссея».

Стр. 29. «**Мечты невоплощенные...**» — стихи из поэмы «Саламанкский студент» испанского поэта-романтика Хосе Эспронседы (1808—1842).

Стр. 32. **Филемон и Бавкида** — персонажи из «Метаморфоз» Овидия; олицетворение счастливого супружества.

Стр. 33. **Лукреция** (VI в. до н. э.) — знатная римлянка; как рассказывает римский историк Тит Ливий, была обесчещена сыном царя Тарквиния Гордого и покончила жизнь самоубийством. По Титу Ливию, смерть Лукреции послужила поводом для восстания плебеев (510 г. до н. э.) и установления республики в Риме.

Стр. 36. ...**потомственных комендантов крепости со времен Аламаров и короля дона Фердинанда Святого**. — **Аламары** — династия арабских халифов, правившая в Гранаде с 1237 по 1492 г.; **король дон Фердинанд Святой** — король Фердинанд III (1217—1252).

Стр. 38. **Стиль чурригереско** — архитектурный стиль эпохи расцвета испанского барокко, названный по имени испанского архитектора Хосе Чурригеры (1665—1725); сочетает строгость архитектурных форм с усложненностью орнамента и изобилием<sup>11</sup> деталей.

**Мэйорат** — система наследования недвижимого имущества, при которой это имущество целиком переходит старшему сыну.

Стр. 40. ...со времени императора Карла V. — Имеется в виду испанский король Карл I (1517—1556), который с 1519 г. был одновременно императором Священной Римской Империи под именем Карла V. Стремился к созданию всемирной католической монархии.

*Восстание коммунеросов* — восстание городских коммун разных городов Испании против королевской власти (1520—1522).

...подвергался гонениям с 1823 года... — В 1823 г. по решению Веронского конгресса Священного Союза в Испанию вторглась французская армия. Иностранное вторжение привело к разгрому революционного движения в стране и репрессиям.

Стр. 45. *Общество верховой езды* — аристократический клуб, членами которого были родовитые дворяне.

*Война за наследство* — т. е. война за испанское наследство (1701—1714); Испания вела ее в союзе с Францией против Англии за право наследования испанского престола, в результате Испания потеряла многочисленные территории.

*Оборона Гибралтара*... — Имеется в виду оборона крепости Гибралтар во время войны Испании с Англией (1704), закончившейся поражением Испании и переходом Гибралтара в руки англичан.

*Сражения за Росельон*. — Росельон — область на границе Испании и Франции, которая раньше принадлежала Арагону, а в 1659 г. была завоевана Францией.

Стр. 46. *Кальдероновский Тетрарка* — герой драмы Кальдерона (1600—1681) «Тетрарка из Иерусалима, или Ревность — самое страшное чудовище».

Стр. 47. ...испанские поэты-концептисты. — Концептизм — направление в испанской литературе XVII в., отличавшееся усложненностью стиля.

*Гонгора-и-Арготе Луис де* (1561—1627) — испанский поэт.

*Лобо Еухеньо Херардо* (1679—1750) — испанский лирический поэт.

...«История Испании» Марианы. Мариана Хуан де (1536—1623) — испанский богослов и историк. «Всеобщая история Испании» Марианы была опубликована в 1601 г.

*Палафокс-и-Мендоса Хуан де* (1600—1659) — испанский священник и писатель, автор многочисленных исторических и религиозных сочинений.

*Фейхоо Бенито Херонимо* (1675—1764) — испанский писатель-просветитель.

...по испанскому переводу книги мосье Роллена. — Хуан Валера имеет в виду «Историю древнего Рима», написанную французским историком Шарлем Ролленом (1661—1741).

Стр. 48. *...воображала себя Корнелией.* — Корнелия — римлянка, мать народных трибунов Тиберия и Гая Гракхов.

*...жизнеописание Корнелия Непота.* — Корнелий Непот (род. в конце II в. — ум. после 32 г. до н. э.) — римский историк. Его книга «О знаменитых мужах», написанная легко и занимательно, долгое время считалась в школах Европы самым популярным сочинением для первоначального латинского чтения.

*...в связи с разразившейся карлистской войной.* — Карлистские войны — гражданские войны, которые продолжались в Испании почти непрерывно с середины 30-х до середины 70-х гг. XIX в. Своё название получили по имени инфанта дона Карлоса Марии Исидоро де Бурбона (1788—1855), брата короля Фердинанда VII, который после смерти Фердинанда выступил в качестве претендента на престол против дочери Фердинанда Изабеллы и объединил вокруг себя сторонников феодальной реакции. В данном случае Хуан Валера имеет в виду первую карлистскую войну (1833—1839).

Стр. 50. *Альфьери Витторнио (1749—1803)* — итальянский поэт и драматург.

Стр. 52. *Когда готовилась экспедиция Гомеса в Гранаду...* — Гомес Мигель (1796—?) — испанский генерал, один из руководителей армии карлистов. В 1836 г. совершил несколько военных экспедиций в разные города Испании, распространяя карлистские идеи и вербуя в армию дона Карлоса.

Стр. 53. *...простека из Афин Демосфена.* — Знаменитый афинский оратор Демосфен (384—332 г. до н. э.) был дальновидным политическим деятелем. Это позволило ему раньше других предвидеть угрозу Афинам со стороны Македонии. Доктор Фаустино называет его простаком иронически.

Стр. 55. *...педантичный классицист вроде Моратина Младшего...* — Моратин Младший Леандро Фернандес де (1760—1828) — испанский писатель, представитель неоклассического направления в поэзии и драматургии.

Стр. 59. *...несчастнее самого принца Сихисмундо.* — Принц Сихисмундо — главный герой трагедии Кальдерона «Жизнь есть сон».

*Децима* — в испанской поэзии десятистишие, написанное восьмисложным размером.

*«Хочу испытать, о небо...»* — начало монолога принца Сихисмундо из первого акта трагедии Кальдерона. Монолог этот написан децимами.

Стр. 60. *Бержье Никола-Спльвестр (1718—1790)* — французский теолог, автор сочинений, защищающих католическую доктрину от критики просветителей.

**Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мот (1651—1715)** — французский писатель.

**Массильон Жан-Батист (1663—1743)** — французский проповедник, автор сборника проповедей, в котором излагаются обязанности государя.

**Боссюэ Жак-Бенинь (1627—1704)** — французский католический писатель, сторонник теории о божественном происхождении королевской власти.

...*«Посланий»* епископа из Мондоньедо. — Имется в виду испанский писатель-гуманист Антонио Гевара (1480—1545), епископ Гуадисский и Мондоньедский, автор дидактических «Семейных посланий».

...*стихов священника Фруимского*... — Под именем священника Фруимского известен популярный галисийский поэт Дьего Антонио Сернадос-и-Кастро (вторая половина XVIII в.), который несколько лет был приходским священником в местечке Фруиме.

**Соррилья Хосе (1817—1893)** и **Аролас Хуан (1805—1849)** — испанские поэты-романтики.

Стр. 73. *Табор* — город в Чехии. Во время гуситских войн (первая половина XV в.) — центр крестьянских мятежей. С 1412 по 1414 г. в Таборе жил изгнанный из Праги Ян Гус.

Стр. 74. ...*любовь, которую испытывал пророк Илья к ворону*. — По библейской легенде, ворон приносил пророку Илье хлеб и мясо, когда тот был вынужден скрываться на берегах Хорафа.

Стр. 76. *«Кошковахия»* — героико-комическая поэма Лопе де Веги, опубликованная им в 1634 г. под псевдонимом лиценциата Томе де Бургильоса.

Стр. 90. *Геликон и Парнас* — горы в Греции, на которых, по представлениям древних греков, жили музы.

*Гиппокрена и Касталия* — источники на вершинах Геликона и Парнаса, посвященные Апполону и музам. Здесь — символ поэтического вдохновения.

Стр. 91. ...*разбойником вроде Хосе Марии*. — Хосе Мария, по прозвищу Король Сьерры Морены, — знаменитый испанский разбойник; жил в Андалусии в начале XIX века, прославился храбростью и благородством.

Стр. 105. ...*в сказочных садах Армиды*. — Волшебница Армида — персонаж из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1581); сады Армиды — место забвения и любовных радостей.

Стр. 108. *Самору тоже не в час завоевал* — испанская пословица исторического происхождения. Во времена Реконкисты (осво-

бождения Испании от мавров) за город Самору шли длительные сражения.

Стр. 116. *Пантоха де ла Крус* Хуан (1549—1609) — испанский художник-портретист.

Стр. 129. *Сид Руй Диас* (1043—1099) — испанский национальный герой времен Реконкисты, подвиги которого воспеты в эпической поэме «Песнь о моем Сиде» и в романах.

Стр. 130. *Боги Кабуры* (Кабиры). — В греческой мифологии низшие божества, ведавшие плодородием и богатством земных недр. Культ Кабуров был распространен главным образом на Крите и других островах Греческого архипелага.

Стр. 133. *...разбогатев при Карле III.* — *Карл III* (1759—1788) — король Испании, во время правления которого был осуществлен ряд реформ в духе «просвещенного абсолютизма», что привело к экономическому и культурному подъему страны.

*...развлекать королеву Марию Луизу...* — *Мария Луиза* Пармская (1751—1819) — королева Испании, жена Карла IV (1788—1808).

Стр. 147. *Гартман Эдуард* (1842—1906) — немецкий философ-идеалист. В этике Гартмана свойственная человеку вера в возможность счастья объявляется иллюзией и главным источником страдания.

Стр. 148. «— Ничто не мило мне» — стихи из комедии Лопе де Веги «Мадридские воды» (д. II, явл. 2).

*Пирр* (319—272 гг. до н. э.) — царь Эпира, знаменитый полководец древности.

Стр. 157. *Дон Карлос VII* (1848—1909) — карлистский претендент на престол.

Стр. 170. *...книгу римского оратора, называвшуюся «De natura deorum»...* — Философский трактат «О природе богов» принадлежит Марку Туллию Цицерону (106—43 гг. до н. э.).

*Алкей* (VII—VI в. до н. э.) — древнегреческий лирический поэт.

Стр. 173. *Копла* — короткая лирическая песня.

Стр. 177. *...о шутках, которые разыгрывала королева Мария Луиза над другими лицами.* *...Только Кеведо превосходил ее в подобных проделках.* — *Кеведо-и-Вильегас* Франсиско де (1580—1645) — знаменитый испанский писатель-сатирик. В драме, поставленной Респетальей, он действует вместе с королевой Марией Луизой, жившей значительно позже. Такое смешение времен — черта, характерная для фольклорного театра.

Стр. 181. *Годой* Мануэль (1767—1851) — фаворит королевы Марии Луизы, фактический правитель Испании при Карле IV.



Стр. 185. *Возврата к временам Павлов, Антониев и Илларионов...* — Святой Павел, святой Антоний и святой Илларион — христианские аскеты и отшельники (IV в.).

Стр. 203. *...знаменитый отец Бонета...* — Имеется в виду испанский священник Хосе Бонета-и-Лаплана (1638—1714), автор очень популярных в свое время сочинений на религиозно-этические темы.

Стр. 205. *Рисго-и-Нуньес Рафаэль* (1784—1823) — испанский офицер-республиканец. В 1820 г. поднял восстание в армии против короля Фердинанда VII и в 1823 г. был казнен.

Стр. 219. *Кабе Этьен* (1788—1865) — французский утопист.

Стр. 231. *Теургия* — вид магического искусства, с помощью которого считалось возможным воздействовать на богов и духов, а через них — на природу.

Стр. 232. *«Атенео»* — научный и литературный клуб в Мадриде.

Стр. 233. *...ставило в положение героя одной из повестей Вольтера.* — Хуан Валера пересказывает здесь эпизод из повести Вольтера «История путешествий Скарментадо».

Стр. 234. *...не стал ни традиционалистом, ни приверженцем Фомы Аквинского.* — Традиционалистами в Испании считались приверженцы доктрины святого Августина. Разногласия между традиционалистами и последователями учения Фомы Аквинского касались вопроса о постижении божьей благодати. В противоположность традиционалистам, последователи Фомы Аквинского утверждали, что постичь бога можно не только верой, но и разумом.

*Кузен Виктор* (1792—1867) — французский философ-эклектик.

*Краузе Карл Христиан Фридрих* (1781—1832) — немецкий философ-идеалист, автор мистического учения о бытии как о боге. Учение Краузе было особенно популярно не в самой Германии, а за ее пределами, в частности в Испании.

Стр. 235. *Анжелика* — героиня поэмы Лодовико Ариосто «Неистовый Роланд» (1516).

Стр. 241. *Долора* — вид поэтической строфы, созданный испанским поэтом Рамоном де Кампоамором (1817—1901).

Стр. 256. *Бекер Густаво Адольфо* (1836—1870) — испанский поэт-романтик.

Стр. 258. *Пеньялоса-и-Мандрагон Бенито* (XVII в.) — ученый испанский монах.

Стр. 292. *Афродита Урапия* — в греческой мифологии олицетворение чистой, возвышенной любви; *Афродита Пандемос* — символ любви чувственной.

Стр. 294. Катон (234—149 гг. до н. в.) — римский сенатор, человек строгой морали, боровшийся против падения нравственности в Риме.

...знаменитый анакорет четвертого века, славившийся своей суровостью. — Имеется в виду святой Пахомий.

Стр. 297. Перикл (490—429 гг. до н. в.) — вождь афинской демократии; Аспазия — жена Перикла.

Стр. 301. Святая Тереса — т. е. Тереса де Хесус (1515—1582) — испанская монахиня и писательница.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Зюкова. Хуан Валера и его роман «Иллюзии доктора Фау- стино» . . . . .</i>	<b>3</b>
<i>ИЛЛЮЗИИ ДОКТОРА ФАУСТИНО Перевод Г. Степанова . . .</i>	<b>11</b>
<i>Примечания . . . . .</i>	<b>309</b>

68 коп.